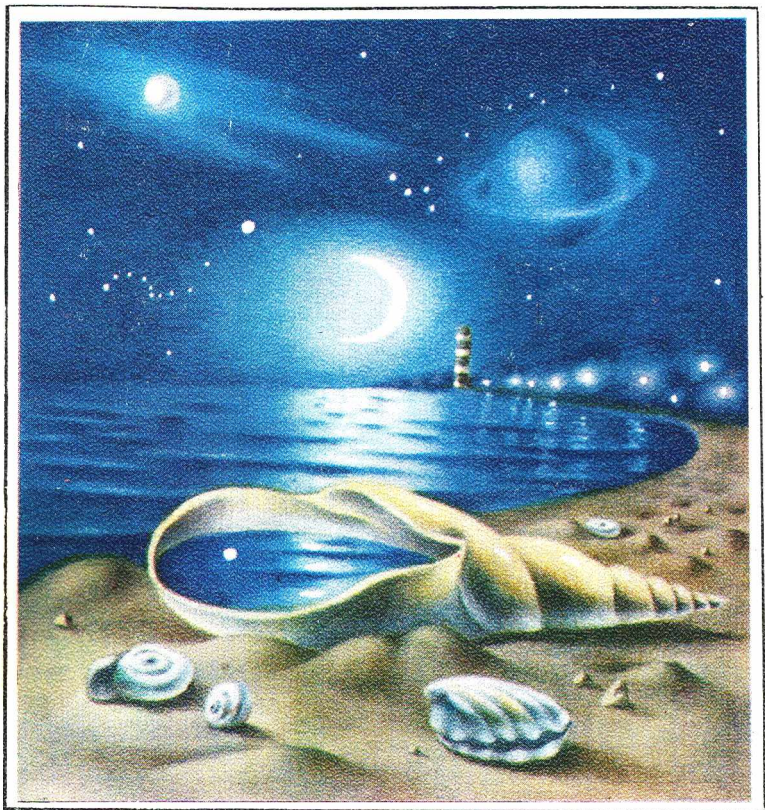
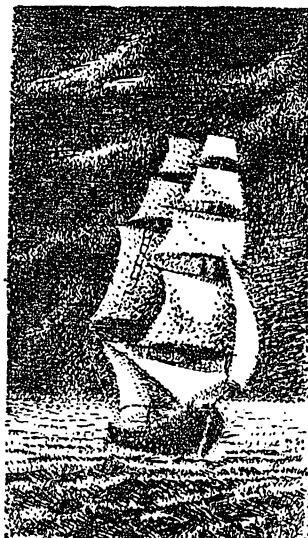


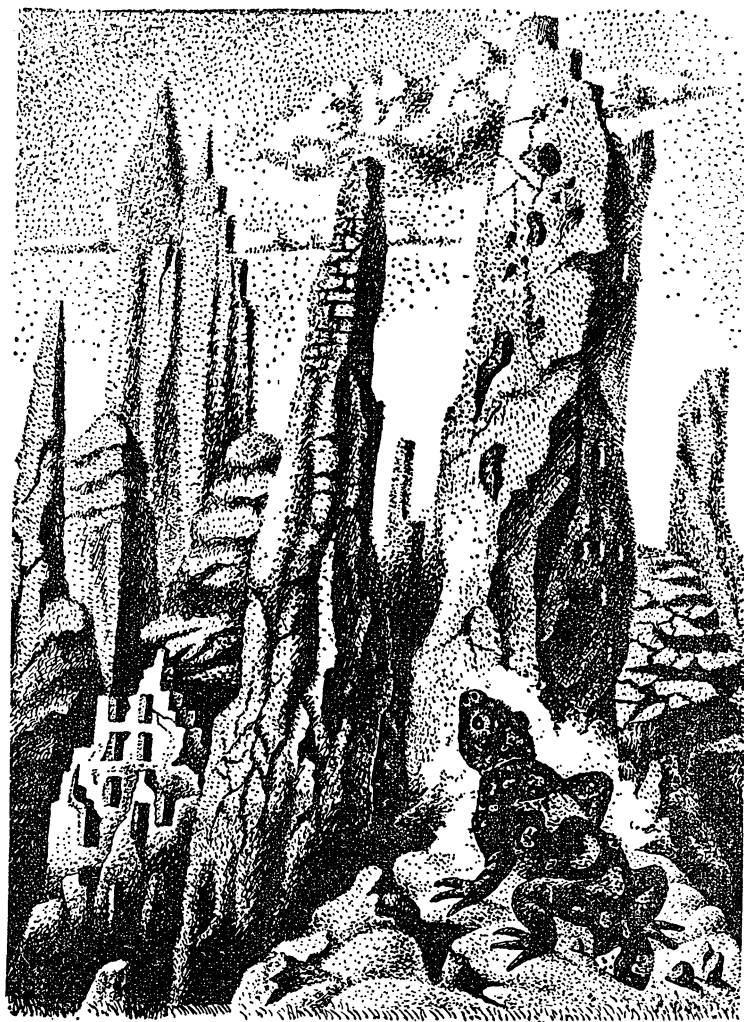
БИБЛИОТЕКА СОВЕТСКОЙ ФАНТАСТИКИ

С. ГАНСОВСКИЙ  
ИНСТИНКТ  
?





БИБЛИОТЕКА  
СОВЕТСКОЙ  
ФАНТАСТИКИ



БИБЛИОТЕКА СОВЕТСКОЙ ФАНТАСТИКИ

С. ГАНСОВСКИЙ  
ИНСТИНКТ  
?



---

МОСКВА  
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ.“  
1988



ББК 84Р7  
Г 19

Г  $\frac{4702010200-241}{078(02)-88}$  145—88

ISBN 5-235-00307-1

© Издательство  
«Молодая  
гвардия»,  
1988 г.

---

## ИНСТИНКТ?

В гостиной собрались мужчины.

Путешественник по Вселенной — он был рослый, худой и мускулистый, с загорелым, как бы литым лицом — продолжал рассказ. Он говорил о планете Аква, представляющей собой безграничный океан, на дне которого развилась специфическая цивилизация существ, не умеющих плавать; о странном мире в созвездии Единорога, где все жило невероятно убыстренной жизнью и за один его, Путешественника, внутренний день человек успевал родиться, вырасти и состариться, а за месяц менялась общественная формация; о перенаселенной планете Урби, чье население разделено на две равные части — каждая бодрствует только половину местных суток, трудясь, обучаясь, отдыхая вне дома, а затем идет в квартиры, которые в этот момент освобождаются другой половиной, торопящейся занять опустевшие места у станков, в конторах, на стадионах.

— Белье хоть меняют на постелях? — спросил председатель недалекого колхоза, плотный, весьма реалистичный мужчина, которому почему-то было не жарко в пиджаке и туго повязанном галстуке.

— Да. В квартирах отдельные шкафы для двух смен.

— Интересное решение, — сказал социолог. —

Во всяком случае, у них не так тесно, как могло бы быть, а производственные и прочие пространства, то есть улицы, школы, библиотеки... кровати используются без простоев. Однако эти половины должны менять время бодрствования. Чтобы каждой доставались и день и ночь.

— Скользящий график, — пояснил Путешественник. — Ежедневно они на час сдвигают момент перемены. При этом, чтобы два потока нигде не сталкивались, устроено так, что вход — везде, где он необходим и существует, — сделан отдельно от выхода. Когда человек появляется, допустим, в цехе, он как раз видит спину сменщика, уходящего в противоположном направлении. Поэтому одна половина населения никогда не встречается с другой, и люди, принадлежащие к разным, — пусть даже живут в одной квартире — друг о друге знают только понаслышке.

Затем он стал рассказывать об удивительной планете Силанс, где немногочисленные жители, не имеющие звуковой речи, объясняются пантомимой, и один жест мудреца, особым образом взмахнувшего рукой, несет целые сонмы прекрасных мыслей.

После этого Путешественник перешел к своим приключениям на Иакате, о чем коротко было в газетах и ради чего у профессора собрались его знакомые.

— Иаката, — начал он, — вращается вокруг одной из звезд главной последовательности со спектральным классом G2. Там никто не высаживался, но восемь лет назад модуль РМ несколько раз облетел ее и снял звуковую панораму. О ней, как водится, забыли, но однажды в НИИОПБК — я тогда там работал — кто-то от нечего делать прослушал запись и обнаружил множество отрывков живой разумной речи, зарегистрированных, правда, только в одном месте. По количеству слов язык богатый — в пору нашим наиболее развитым, но с грамматикой сравнительно несложной, без падежей и родов — аналитический, а не флективный. Расшифро-

вали на ЭВМ и шутки ради выучились разговаривать. Особенно наша лаборатория привыкла трепаться на иакатском очень бойко. РМ, кстати, если кто не знает, — совсем простая штука. В теннисный мяч величиной. Ни телекамер, ни измеряющих устройств. Только встроенная антенна и записывающий прибор. Его обычно забрасывают наобум — сгорит, не жаль. Теперь, в полете оказываюсь в той части Галактики, и как раз разладился восстановитель пищи. Голод, прихожу к выводу, что надо как-то подкормиться. До базы в созвездии Лепестка далеко, а тут кстати она, планета. Поскольку почти шесть недель ничего не ел, не стал особенно задумываться, поворачиваю.

Как выглядит приземление на планету, все знают по кино и дальневидению. Тут интересны ощущения. Дважды чувствуешь себя ничтожной мошкой и один раз — властелином времени и пространства. В общем, сначала перед тобой небесное тело целиком, и оно издали сравнительно небольшое. При нынешних скоростях тело приближается стремительно, вскоре почти целиком заполняет поле зрения. При этом впечатление огромности возникает как раз из-за такого «почти», когда впереди заваливающийся, скошенный, слегка размытый атмосферой светящийся край гигантского шара на границе с черным космосом. Тут ощущение грозного неодолимого величия, против которого ты ничто и всегда пребудешь ничем. Хотя в кабине полная тишина, все равно уши бьет немая грандиозная музыка могучего поворотного движения планеты. Психологический эффект — ясно понимаешь свою и вообще человеческую малость. Даже жалеешь тех микробов-людей, которые, невидимые отсюда, кое-где пятнышками тончайшей пленки своих строений покрывают округлый склон. Затем начинается спуск. Как правило, первому посещению чужого мира предшествует его облет. Это я и сделал. Один раз по экватору и два — через оба полюса. Внизу вода и твердь примерно поровну, причем вся суша — пусты-

ня, желтая, серая, местами черная. В ходе невысокого облета чувства противоположны тем, что испытываешь до спуска. Внутри ликует ощущение своего могущества, осознаешь себя великаном, перешагивающим небольшие моря и части материков. Что меня всего больше поразило, так это чернильное облако в тысячи километров размером, которое я раньше углядел в северной части планеты около лимба.

Теперь подлетел, решил снизиться, вошел под черный полог. Включил свет и внешний звук. Непробиваемая тьма, шелест воды — ливень обвалом падает каплями величиной с арбуз. Этот же шум летящих и соударяющихся капель записан разведывательным модулем восемь лет назад. Значит, ливень здесь непрерывен, как те дожди, что во время последнего ледникового периода десятками тысяч лет подряд падали у нас в нулевых широтах.

Короче говоря, негостеприимно.

Но хватит обследований, надо опускаться. Повернул к экватору и с ночной стороны зашел на место, где РМ зафиксировал человеческое обиталище. Пробил негустую хмарь, сажусь.

Этот момент посадки — тоже психологический шок. Только что ты был гигантом, а теперь трапезиевидный материк, над которым проскакивал, превратился в необозримость, бесконечность. Его не измеришь своими маленькими, всего лишь в восемьдесят сантиметров шагами. И главное — конкретность любой ямы, холмика, бугра, даже кочки. Та конкретность, что будет определять все твои действия и, возможно, судьбу, жизнь.

Огляделся. В голове еще картина целого полушария Иакаты, грохот ее вращения, бегущие внизу моря с коренным берегом, дугообразные дельты высохших рек, эрозионные и первичные песчаные равнины, а теперь кругом все зримо в подробностях.

Денек в этом месте стоит серенький — что-то до полудня. Поле, где опустился звездолет, — унылый пус-

тырь весь в кочках. За пустырем шоссейная дорога, а дальше пашня или ряды грядок, где я вижу первых иакатцев. Собственно, это просто люди, чего и по записанному языку можно было ожидать. Двое мужчин тяпками обрубали растущие одним кустом высокие растения, похожие на нашу кукурузу, а со стороны приближалась женщина. К моменту высадки я уже совершенно осатанел от голода и сразу побежал к ним. Помню, меня озадачило, что трое совсем не были удивлены моим неожиданным появлением с неба. Иакатцы спокойно продолжали свое дело...

Тут Путешественник по Вселенной запнулся на миг и обратился к профессору:

— Правильно ли, кстати, я их называю — «иакатцы»? Имя планеты Иаката.

Все в гостинной на мгновение задумались.

— Правильно, — сказал профессор, седоватый, большой, полнеющий. — Хотя, минутку... Может быть, вернее «иакатийцы».

Все еще раз подумали и внутренне согласились с профессором, что «иакатийцы» лучше. Только вихрастый студент, тощий, как первый поэтический сборник начинающего стихотворца, подался вперед и робко спросил:

— А что, если просто — иакаты?

Профессор бросил на него взгляд и просиял:

— Конечно. Иакаты, и все тут... Продолжайте, пожалуйста.

— Да... Так о чем мы говорили? О первой встрече с иакатами. Словом, подбежав к этим людям, я тотчас попросил у них что-нибудь поесть. Фраза была приготовлена заранее и получилась неплохо. Более пожилой мужчина выпрямился у куста и стал медлительно объяснять мне, что, во-первых, они сами еще не ели, а во-вторых...

Тут я увидел, что женщина расстелила кусок дерюги

на земле и вынула из оранжевого пакета три круглых, хорошо пропеченных хлебца. Не рассуждая, бросился к ней, схватил один и принялся поспешно его поедать. Мужчины подошли и стали за спиной. Молодой икат попытался, довольно вяло правда, отнять у меня еще остающуюся часть. Я решительно отвел его руку.

Разжевывая и глотая вязкую, приятную на вкус и очень сытную массу, я сбил самый жестокий голод, через несколько минут почувствовал себя лучше.

Местность вокруг была ровной и низменной. Солнце как раз пробило мутную пелену в небе, сделалось тепло. С одной стороны расстилалось море, с другой поля. Там и здесь копошились в земле фигурки земледельцев. Все, за исключением, естественно, моря, было культивировано — обработано либо уже покрыто порослью посевов, напоминая в этом смысле голландские польдеры, где не пропадает ни единый клочок почвы.

И только кочковатый пустырь, на котором я приземлился, каким-то неухоженным, диким, забвенным клином врезывался в этот весьма цивилизованный ландшафт. Обращаю ваше внимание на это обстоятельство, потому что оно сыграло в моей судьбе решающую роль.

Насытившись и вытерев рот платком, я сказал икатам, что иностранец здесь, житель другой планеты по имени Земля и что наша встреча представляет собой событие историческое. При этом показал на упершийся причальной треногой в почву корабль.

Реакция моих собеседников была самой неожиданной. Едва закончилась моя тирада, как пожилой мужчина схватил меня за горло. Я вывернулся, но второй, молодой, поднял тяпку с таким выражением лица, что не позволяло сомневаться в серьезности его намерений.

В экспедициях, знаете, привыкаешь ко всему. Не раздумывая, бросился бежать, и двое кинулись за мной. По земным понятиям, я неплохой спринтер, но месяцы в невесомости, голод и неудобство бежать по возделанному... Так или иначе я сначала оторвался от



преследователей метров на тридцать, но потом расстояние между нами стало сокращаться.

Да и куда бежать? Сначала я почему-то взял направление к морю, потом, сообразив, что мне там делать нечего, начал, описывая широкую дугу, поворачивать к звездолету. На шоссе — я выскочил на песчаное шоссе — разрыв между мной и иакатами несколько увеличился. Подумал, что успею добежать до корабля и, проворно справившись с системой гидрозапора, затвориться внутри. Как-никак я был больше этих крестьян ростом и гармоничнее сложен для бега. Но двое мужчин, хоть и приземистые, были жилисты, с широкой грудью и очень быстро перебирали кривоватыми ногами. А на заброшенном клину, в дальнем конце которого стоял корабль, я и вовсе потерял скорость. Потому что поросшие длинной травой кочки. Споткнулся об одну, поскользнулся на другой. Упал раз, еще раз, подумал, что придется принимать бой. Но, вскакивая, вдруг сообразил, что уже секунд десять не слышу за собой топота.

Обернулся. Пожилой мужчина и женщина стоят на дороге, растерянно озираются. Молодой идет по пустырю, но не ко мне, а куда-то в сторону. Именно не бежит, а идет, медленно, неуверенно, протянув вперед руки.

Как если бы, попав на клин, он потерял зрение.

Женщина приложила ко рту ладони и крикнула:

— Е-а-а... еа-а-а!

Молодой слышал этот призыв, но ясно было, что он не понимает, откуда его зовут. Опустился на корточки и, бросив тятку, стал шарить по земле, вытянув шею и приоткрыв рот, как слепой. Но, коснувшись, острого кончика травы, в испуге отдернул руку.

Я подошел ближе, окликнул его. Он вздрогнул и завертел стриженной головой. Делать было нечего, взял его под руку и, обходя кочки, повел к шоссе. Он дрожал всем телом. Но едва мы сошли с необработанного клина на дорогу, он сразу прозрел и попытался схватить

меня за куртку. И второй мужчина с женщиной тоже кинулись ко мне.

Шагнул с шоссе назад на пустырь и сразу как бы перестал существовать для иакатов. Удивительно было. Видели меня на дороге и на пашне, но тотчас теряли из виду на пустыре.

— Он исчез, — сказал молодой мужчина.

— Да, — согласился второй. — Но, может быть, появится.

А я стоял тут же рядом и слушал.

Женщина огляделась.

— Вон там работает Рхр. Давайте позовем его.

Трое посмотрели через пустырь на другое поле. Именно через пустырь, поскольку они ясно видели то, что делалось за, но не замечали происходящего на нем самом.

Женщина пошла налево, обходя острый угол целины, и прямо пашней направилась к маленькой фигурке земледельца неподалеку.

Пожилой вздохнул.

— Он съел твой хлеб.

— Да, — согласился молодой иакат, но тут же обеспокоенно посмотрел на собеседника. — А может быть...

— Нет-нет, — тот, что был старше, покачал головой. — Это был твой, который он схватил. Я так сразу и подумал... И он взял твою тяпку.

— Да, где же она?

Тяпка лежала у кочки метрах в пятнадцати от них, и какое-то табу не позволяло иакатам ее увидеть.

Женщина вернулась: вместе с крепким суховатым стариком. Судя по уважительным, даже подобострастным улыбкам, которые сразу появились на физиономиях двух первых мужчин, Рхр был здесь каким-то маленьким местным руководителем, может быть, старостой. Широкие покатые плечи, руки почти до колен говорили о недюжинной силе. Он держался с нарочитой, знающей себе цену униженностью.

Выслушав краткий отчет о случившемся, сказал:

— Если я еще не совсем потерял память от старости, на этом месте Кмн бросил палку двадцать лет назад. И та палка исчезла.

Пожилой иакат подтвердил:

— Да-да, на этом месте.

И молодой поспешил вставить:

— Так было. Так рассказывают.

Старик присел на корточки как бы для отдыха, с неожиданным проворством схватил камень и с силой метнул его.

И, могу поклясться, в этот момент он видел меня. Но почему-то счел необходимым скрыть это от своих соплеменников.

Черт возьми! Я вскрикнул от боли и отскочил. Дело было в том, что, глупо зазевавшись, я близко подошел к маленькой группе, и камень ударил мне в предплечье, в мускул. Если бы в ребро или ключицу — перелом.

Четверо услышали мой крик, но трое, во всяком случае, не поняли, откуда он донесся.

Проклятье!

Схватившись за ушибленное место, я пробежался по пустырю. Не на кого было злиться. В таких путешествиях придержишься принципа, что если существа, к которым ты попал, ведут себя нелогично, это означает, что у них другая логика.

Успокоившись, подобрал тяпку, бросил ее через шоссе на пашню, пошел вдоль дороги на самый конец клина. Тут между кочками стояла большая площадка, наполненная ягодами либо плодами, по форме и цвету напоминающими нашу клубнику, и валялся заржавленный лом. Глянул на иакатов — заняты разговором. Пригнувшись все же, чтобы возвышение местности скрыло меня от них, вышел на дорогу и скорым шагом двинул по ней.

Температура все повышалась, взял куртку на руку. Идти, в общем, было приятно. Порой шоссе прибли-

жалось к морю, тогда становилось прохладнее, и слева я видел белую полосу прибоя.

Посевы «кукурузы» кончились. Их заменили грядки с ягодами, что я видел в плошке. Позже узнал, что первое растение, называющееся здесь анла х, принадлежит к совсем другому порядку царства флоры, чем наша в основном фуражная культура, — многолетник, который высаживается чуть ли не раз в столетье. Что касается «клубники», здесь ее особенность состояла в том, что на каждом стебле было по одной очень крупной, правда, ягоде — с помидор. Опять нестерпимо захотелось есть. Те, кому доводилось подолгу оставаться без пищи, знают это свойство организма. Если приказал себе не чувствовать голода, можно без всяких переживаний не есть месяц и больше. Но когда начал, тут уж деваться некуда — желудок требует все новых и новых приношений. Короче говоря, забрался в грядки, основательно почистил одну.

Когда от звездолета меня отделяло уже километров пять, увидел вдали предмет, который потом оказался механическим экипажем. Двигался он немного медленнее меня, я догонял его в течение часа и потом минут пять шагал рядом, постепенно перегоняя. То был примитивный трактор. Позже выяснилось, что эта техника используется здесь только для перевозки грузов. Трактор тащил за собой высокий бортовой прицеп. Двигатель на солярке нещадно дымил, разболтанный прицеп ходил ходуном, и вообще вся штука производила впечатление не то чтобы допотопности, а какого-то упадка.

В ответ на мой приветственный жест водитель лишь мельком глянул на меня.

На полях теперь уже никого не осталось, но у морского берега было полно народу. Подумал, что ловля рыбы или сбор каких-то съедобных раковин. Но когда дорога подошла ближе к морю, убедился, что просто загорают и купаются.

Рано опустевшие поля заставляли думать, что рабо-

та не берет у местных жителей слишком много времени и сил.

Я шагал себе и шагал. Солнце теперь жарило весьма ощутимо. Снова начались гряды анлаха. Невдалеке от дороги, но уже за стеной посадок, протянувшихся параллельно моему пути, увидел на песке лежавшего навзничь человека. Подошел. То был старик, очень тощий, с обострившимся носом, запавшими щеками. Глаза невидяще смотрят в небо, разинутый рот обметан по краям солью высохшего пота.

Умирает или умер?.. Расстегнул на его груди куртку, послушал сердце. Биение такое слабое, что не понять, есть оно или чудится. Но тут же заметил, что пальцы раскинутых рук то сжимаются слегка, то распрямляются.

Решил поднести его к дороге — нагонит меня трактор, хотя бы узнаю, куда доставить старика, чтобы оказали помощь. Поднял — высохшее тело было почти невесомым, — понес, положил возле шоссе в тени анлаха. Побежал метров за триста к морю, у кромки берега выкопал маленькую яму, когда наполнилась водой, попробовал — несоленая. Намочил носовой платок, поспешил обратно.

Старика на месте нет — ползет туда, откуда я его взял. Спрашиваю, что с ним. Молчит. Перевернул на спину, обтер ему лицо, попытался накапать воды в рот. Он, сжав губы, вертя головой, отказывается пить. С великим трудом перевернулся на живот, пополз прочь от дороги.

Умереть, что ли, хочет?

Донесся треск тракторного двигателя. Подождал, пока машина приблизилась, вскочил на подножку кабины, объяснил водителю положение. Молодой парень за рулем молчал так долго, что подумалось, не слышит. Потом, не отрывая взгляда от шоссе, сказал:

— Ну и что?

— Так отвезти бы куда-нибудь, где люди.

Долгое молчание, затем одно слово:

— Зачем?

В течение тех минут, пока шел этот разговор, мы отъехали от старика на четверть километра. Спрыгнул на землю, побежал к нему. Вижу, старик уже умудрился доползти до своего прежнего места, где и лежит в своей прежней позе. Остановился я, посмотрел-посмотрел, повернулся, пошагал своей дорогой. В стороне череп, наполовину занесенный песком, через сотню шагов еще одно распростертое тело. Издали определил, что женщина и что мертва — лежит лицом в землю.

Понятно стало, что едущие, идущие по шоссе иакаты привыкли к такому, не обращают внимания на умирающих. А те и не ждут внимания.

Дорога теперь вела через холмы. Поднялся. Впереди город — окраинные дома и крыши, крыши до горизонта. Что-то зловещее в раскинувшейся передо мной панораме.

Сел на бугорок. Каков же первый итог знакомства с Иакатой?.. Почти безжизненная планета, где единственное большое поселение таково, что люди уходят оттуда, предпочитая существованию в этом городе смерть в пустыне.

Но раз уж высадился, надо как-то отъестся, окрепнуть. Идти в столицу Иакаты, разведать насколько возможно новый для нас мир. Это обязанность.

Однако ничего жуткого на окраине не было. Город как город. Старый, довольно запущенный и некомфортный. Среди трехэтажных кирпичных зданий иногда попадались четырехэтажные с украшенными карнизами и подъездом, но тоже обветшалые. Удивляло, правда, отсутствие заводов и фабрик, складов и мастерских — вообще каких-то свидетельств производственной деятельности горожан. Двигаясь бодрым шагом, я оставлял за собой перекресток за перекрестком, но нигде не попадалось ни одного магазина. Немногочисленные прохожие шли праздно — в том смысле, что ни у

мужчин, ни у женщин не было в руках сумок, в которых им бы нести приобретенные по дороге домой продукты или другие покупки. И никакой жестокости в лицах. Пожалуй, только вялость и равнодушие.

Там и здесь на стенах были укреплены доски с текстами, но поскольку я знал лишь устный язык Иакаты, они мне ничего не говорили. Впрочем, судя по несложным и часто повторяющимся символам, на планете было принято не слоговое или иероглифическое письмо, а буквенное, которое нетрудно изучить.

Миновал обнесенный решеткой скверик. В центре возвышалась статуя — мужчина в рост, сложивший на груди руки. Вокруг на скамейках с десяток горожан. Сказал себе, что позже, когда сквер опустеет, смогу, если не найдется лучшего, здесь переночевать. Правда, мне представлялось, что я все еще на какой-то старой окраине, что вот-вот откроются новостройки, административные и торговые здания, кишашие народом, гостиницы, театры и, главное, предприятия, где люди работают, производят. Однако все тянулись по бокам жилые дома со следами обвалившейся штукатурки, а под ноги стелилась все та же выбитая мостовая, где участки разрушенного покрытия перемежались с плотно утрамбованной землей. Прохожих не прибавлялось, их лица были неживыми, и не исчезало разлитое кругом ощущение безразличия и потерянности.

Один только пункт я отметил как заслуживающий в дальнейшем подробного знакомства. То было украшенное колоннами и фризом здание с двумя очень длинными одноэтажными флигелями. Окна центрального массива все были заложены кирпичом, но флигели смотрели живыми глазницами. У входа в левый стояла, чего-то ожидая, группа местных жителей. Подошел, спросил. Оказалось, музей. Поскольку под фризом по архитраву шла рельефная надпись в одно слово, я, надеясь, что иакаты так и пишут, как произносят, запомнил последовательность восьми составлявших ее символов.



А еще минут через тридцать город кончился. Как обрубленный.

Справа улица обрывалась последним домом, слева тоже, и ничего переходного вроде строений полудеревенского типа, сараев, заборов, садов. Я стоял посредине, и мостовой, вернее, того, что от нее осталось, дальше не было. К югу полого лежало неподвижное штилевое море, которое из-за ровности, из-за покоя казалось чем-то вроде безграничной мелкой лужи, а впереди и справа к северу сразу от моих ног начиналась и уходила вдаль пустыня. До самого горизонта.

Конец. Я пронзил этот город насквозь.

Солнце уже чуть-чуть перешло полдень, было жарко. Небо стало теперь совсем чистым и холодно-перламутровым, как у нас оно иногда светит в средних широтах не в середине дня, а ближе к вечеру, рождая у человека чувство отчуждения и одиночества. Тихо. Со стороны пустыни легкий, но устойчивый ветерок нес мелкие песчинки. Затем, осматриваясь, я увидел метрах в трехстах от себя темно-красную стену, а за ней здание без окон с очень толстой, расширяющейся книзу трубой — наподобие каупера. Если б туда от города вела дорога или хоть тропинка, можно было бы думать, что это наконец завод, производство.

Но даже ни следа единого. Только бархатные нетронутые поверхности песка.

Ладно, оставим на потом. Повернулся, пошел назад к центру, каким мне представлялся тот скверик. Но кружным путем, взяв на первом перекрестке правее. Опять хотелось есть — я искал взглядом магазин или ресторан, не зная, чем буду расплачиваться за еду, если она найдется. Попалась на глаза очередь у входа в трехэтажный дом. Время от времени дверь отворялась, оттуда выходило с десятков человек, а новая группа входила. При этом ожидавшие на тротуаре выглядели совсем унылыми, а те, кто выходил, пооживленнее и самодовольными. Стал в конец и, переждав две порции

впускаемых, вошел в просторное, с низким потолком помещение. Около дюжины столов, все занятые, за исключением одного, к которому мы и устремились. Вышло так, что я обогнал пожилого мужчину, за которым стоял. Тотчас появилась женщина, подала каждому по большой миске, наполненной густой серой массой. Несколько ложек убедили меня, что это тот же хлеб, что я ел у крестьян. Но не испеченный, а в виде каши.

Стучали и скребли ложки. Я вдруг увидел, что для того пожилого иаката не осталось места. Вероятно, входить полагалось десятками, а я оказался одиннадцатым в партии. Бедняга потолкался возле нашего стола и отошел в сторону.

Пища была опять-таки сытная, приятная на вкус. Вся наша группа опустошила миски одновременно. Платы или каких-либо талонов никто не спрашивал. Последний доел, мы встали, направились к двери. Пожилой субъект тоже вышел. Я ощущал перед ним неловкость и обрадовался, когда он, не глянув в мою сторону, побрел прочь.

Посмотрел на вывеску над дверью. Должно было быть слово «столовая» или, точнее, украинское «едаляня». Звучание его я на иакатском знал — «буконад». Это позволило мне понять еще семь букв местного алфавита.

А теперь куда?

Улица была обсажена невысокими деревцами, их кроны приветливо сияли в лучах солнца. Настроение после обеда улучшилось, город не казался таким мрачным.

Вблизи столовой на углу трое рабочих сгружали с тракторного прицепа «клубнику» — не только ягоду, мятую и раздавленную, а все растение со стеблем и листьями. Один подавал с прицепа, а двое заталкивали охапки в толстую желтую трубу, конец которой прямо из тротура торчал на полметра. Шествуя дальше, я убедился, что труб много, — почти на каждом пере-

крестке — и понял, что видел такие же на первой улице. Тогда не обратил внимания, а теперь вспомнил, поскольку отпечатались в сознании. Подошел к одной. В глубине, во мраке что-то журчало и перекачивалось. Присмотрелся. Внизу вращается глубоко нарезанный винт с широким шагом. Что-то вроде мясорубки. Но огромной.

Выходит, производство все-таки есть. Под землей. Но не стал раздумывать об этом. Хотелось найти какое-нибудь правительственное учреждение, представиться, получить статус гостя. Инцидент после посадки корабля все еще казался недоразумением, не верилось, что развитые городские жители набросятся на меня, узнав, что я нездешний.

Теперь, имея в распоряжении пятнадцать понятных мне букв, стал внимательнее приглядываться к вывескам и надписям. На стенах наиболее частым был призыв-лозунг «Ешьте еду!», который представлялся таким же несущественным, как «Летайте самолетами!». Нередко попадалась рекомендация носить то ли какую-то часть одежды, то ли определенную материю. Здесь я тоже не находил особого смысла, поскольку все прохожие выступали в одинаковых по фасону и материалу коричневых куртках, брюках и юбках. (Кстати, и мой костюм был светло-коричневым.)

На новом перекрестке тоже была труба. Мужчина впереди сорвал с дерева несколько небольших плодов, бросил их в торчащее из тротуара жерло и пошагал дальше. Я догнал его и спросил, где в городе помещается его административный центр.

Он задумался.

— А что это такое?

— Ну... городской Совет, что ли, группа людей, которая направляет работу по обслуживанию населения. Какие-то ответственные руководящие лица.

— Мною никто не руководит, — сказал он после

долгой паузы. — И вообще никем никто... Каждый делает, что ему хочется.

В ходе этого затянувшегося разговора я сорвал с дерева плод и попробовал.

Лицо моего собеседника выразило ужас.

— Что вы делаете?! Нельзя. Смерть! — Огляделся, как бы желая призвать кого-нибудь в свидетели моего поступка, отступил и поспешно ушел.

К следующему иакату я решил обратиться с более простым вопросом — от какой организации он работает. То был маляр или декоратор. Стоя на невысокой лесенке, он подновлял на деревянной доске знакомый призыв питаться пищей. Когда он повернулся, я узнал старика, которого лишил его порции в столовой. Но маляр, не связывая меня со случившимся, неторопливо сошел с лесенки и сказал, что не знает никакой организации.

— Но кто-то сказал вам, что это надо делать. — Я показал на доску.

— Сам хочу.

Станным образом и мне пришло в голову, что неплохо бы поработать здесь. Вернее, не так. Вдруг ощутил тоску, тяжесть, томленье, желание что-то делать. Не очень понимая, зачем мне это, выхватил из рук пожилого иаката орудия производства и прямо с тротуара, так как был выше старика, несколько раз мазнул кистью по выгоревшему фону надписи. Сразу стало легче, дурнота прошла. Удивленный своим деянием, я вручил старику кисть и банку.

— Спасибо.

Мимо шла женщина, остановилась, подала мне и маляру по листу сложенной бумаги. Я развернул свой. Газета.

Вот это дело! Теперь можно во всем разобраться.

Старик сразу же присел на нижнюю перекладину лестницы и принялся читать. Я же, пользуясь грязеотталкивающими свойствами своего костюма, устроился

прямо на тротуаре. Увы, запнулся сразу же на названии. По знакомым буквам получалось что-то вроде «Ни в коем случае...» или «Непрестанно только...». Но чего именно надо избегать или чем все время заниматься, было непонятно. И старик не помог. Он, по моему, читал, довольствуясь только самим процессом. На каждый мой вопрос он отвечал повторением того же вопроса. Так мы просидели около часа. В какой-то статье я разобрал фразу, что есть трудности с набором студентов. Но поскольку пока не видел учебных заведений, это мне мало что дало.

Когда старик поднялся, я тоже встал. Дошли до ближайшей трубы, в которой тоже что-то рокотало и хлюпало. Мой спутник сложил газетный лист по складкам, бросил его в жерло. Я пошел было дальше, намереваясь выжать еще что-нибудь из своего экземпляра. Но старик догнал меня и не то чтобы с укоризной, но с возмущением вырвал газету из моей руки, сунул ее туда же, в рокошующий мрак. Тут мы расстались. Он побрел к незаконченной работе, я повернул на юг — может быть, там у моря те институты и техникумы.

Опять сосало в желудке. Заглянул в столовую — не в ту прежнюю, в другую. Через раскрытую дверь увидел, что женщины-официантки сами за столом. Одна неохотно поднялась, принесла миску, наполненную, правда, до краев. Все выгреб — показалось, с неделю не захочу.

Новый проспект был поживленнее. У стен кое-где стояли скамейки, сидели, прогуливались горожане. Тут я заметил, что газет хватает не на всех, и они передаются от одного к другому. Некоторые читали медленно, усидчиво, но в подавляющем большинстве случаев человек окидывал лист с двух сторон небрежным взглядом и сразу передавал очередному читателю, который после столь же недолгой процедуры вручал газету соседу или соседке. Когда же таковых не оказывалось, обязательно

нес лист к ближайшей трубе. Никто не оставлял газету на скамье, не бросал на землю.

Шагал с полчаса. Снова попалась столовая, но решил, что после длительной голодовки хватит того, что сегодня наел.

Отсюда мостовая шла на спуск. Впереди открылся простор. Южной стороной город почти подступал к морю. Все узкое пространство между стенами крайних домов и линией берега было заполнено загорающими. Тут я впервые увидел большое множество лиц сразу. Ни одно не привлекало живостью, энергией. Разговаривали мало. Лишь изредка над пляжем зависал тихий слитный говор, как серое прозрачное облако в небе мегаполиса. Безмолвие поражало здесь так же, как тишина на городских улицах. Идут, стоят в очереди к музею, в столовую, и ни звука. Так, будто каждый глубоко задумался о своем. Однако, судя по выражению лиц, просто говорить не о чем.

Ни травинки, ни деревца на пляже, лишь перемешанный с галькой, многократно перевернутый и от этого грязный песок.

А метров за полтора в море длинный каменный остров. Невысокие, изрезанные ущельями обрывы с белыми пляжами внизу. Валуны, пологий склон на втором плане. Заливы, бухточки.

Нашел незанятый клочок пространства, сел. Жарко, душно от скопления людей. Вплотную рядом двое с ребенком.

— А что, туда нельзя?

— Куда? — Молодая женщина не смотрела на меня.

— На остров?

— Какой?

С другой стороны от меня приподнялся лежавший мужчина.

— Где остров? — повернулся к своему соседу. — Знаете где-нибудь тут остров?

Черт их бей, они не видели острова, как утренние

крестьяне — меня и моего корабля на клину! Сгрудились на полосе шириной в три метра и не замечают простора и свежести всего в двух сотнях шагах от них.

— Какой еще остров? Откуда вы взяли? — Это уже ко мне.

Несколько пар глаз уставились на меня с подозрением. Поднялся, побрел к западу, по возможности обходя распростертые тела или переступая через них. Дома на берегу ничем не отличались от тех, что в центре — та же поштукатуренная кирпичная кладка. Только здесь я понял, почему еще с полдня в меня въелось ощущение заброшенности этого города. Стекол не было — вот в чем штука! И рам тоже. Пустые проемы.

Во второй раз за какие-нибудь два часа почувствовал дурноту. Обессилели руки, ноги, закружилась голова. Опять страстно хотелось что-то делать.

Неожиданно словно ветер пронесся по пляжу. Лежащие быстро вскакивали, собирая одежду; кто купался, поспешно выходил из воды. Вся масса народа, обтекая меня, ринулась вперед и направо в боковую улицу. За несколько минут берег опустел, как выметенный.

Что это — опасность с моря?

Переждав последних, бегом заторопился за ними. Сразу стало веселее. Сзади добавилось еще людей, пошли узкой улицей, прижатые друг к другу. Открылась площадь. Будучи повыше ростом большинства окружающих, осмотрелся. Собралось тысяч двадцать пять. В центре площади каменная трибуна. Пустая. Стоим. Стихли разговоры, все напряженно застыли. Минута, другая... Откуда-то донесся вздох, короткий неуверенный смехок. Вокруг заговорили, зашевелились. Толпа стала рассеиваться.

Зачем сошлись, чего ожидали?

Вернулся на берег. Опять пошел на запад. Остров теперь остался позади. От полуразрушенной башни сте-



на домов повернула в пустыню. За песками увидел здание с трубой.

Посмотреть все-таки?

До темноты оставалось еще часа полтора. Очень незащищенным выглядел мой одинокий след на мелких шелковистых барханах. По мере приближения к зданию стена вокруг него становилась все выше. С северной стороны изъеденные ржавчиной полураскрытые ворота. Большой пустой двор, единственная дверь в кирпичном кубе, лестница вниз. Спустился — облицованный металлом широкий длинный коридор. У входа темно, но вдали свет — зал с белыми стенами. Что-то раздражало — будто насекомое возле уха. Отмахнулся. Но оказалось, звучит не в одном ухе, в обоих. Еще несколько шагов, писк усилился. Собственно, не писк уже, а свист, резкий, режущий. Заткнул пальцами уши, вступил в зал. По две двери в боковых стенах, одна прямо передо мной. Никаких ламп — плотным светом светил сам потолок. Шаг вперед, но звук теперь пробиывает пальцы. Не знаю, отчего был уверен, что за центральной белой дверью рубильник, которым можно выключить звук. Чуть приоткрыл одно ухо — словно молотком по голове. Едва на ногах устоял. Повернулся, отбежал назад в коридор. Черт возьми, неужели не осилю?! Отошел к лестнице, где совсем тихо, передохнул. Разорвал пополам носовой платок, затолкал, сколько поместилось в ушные раковины, прижал ладонями. Быстро миновал коридор, вступил в зал, и тут меня остановило. Шагах в пяти от заветной двери. Звук стоял невидимой стеной — в него лезть, словно головой в камень. Дверь почти рядом, только ручку повернуть. На миг оторвал руку от уха, свалился от страшного звукового взрыва в голове. Мутилось сознание, подумал, сейчас умру. Сбравшись с силами, перекатился, зажав уши, по кафелю, — в зале кафельный пол — потом по коридору. Перевел дыхание, бегом к лестнице и наверх.

Сел, обессиленный, в кучу песка. Уф-ф-ф... Тишина будто высасывала из тела звук, очищая меня.

Солнце наконец зашло. Здешний день — часов восемнадцать — тянулся больше среднего нашего, и поскольку солнце в зените стояло над головой, ночи полагось быть такой же. Небо было усеяно звездами. Высокие стены окружали двор темной полосой, но в решетке ворот я различал отдельные прутья. От усталости, что ли, ощутил себя каким-то покинутым, заброшенным. Хотелось на корабль, к Лепестку, на базу и оттуда на Землю. Какого мне, собственно, рожна тут надо, на Иакате? Поболтаюсь недельку от столовой до столовой, может быть, отыщу место, где пишу не кашей дают, а хлебцами, засушу сухарей и как-нибудь, с голодовкой, доберусь.

Потом вздохнул, покачал головой. Но, с другой стороны, тайна! Должно ведь быть здесь нечто, объясняющее свойство иакатов что-то видеть, а что-то нет, их потерянную унылую повадку, вот этот звуковой барьер. Похоже, что в городе никто не работает. Но откуда тогда берется в столовых пища?

Вышел за ворота. Было тепло — нагретая за долгий день пустыня отдавала жар. Чуть слышно шептало дальнее море, оттуда доносился запах соли и тлеющих водорослей. Под звездами склоны невысоких барханов светились голубым серебром, только на востоке темнела линеечка города. Ночь умиротворяла, звала понять, простить. Да, они скучны, вялы, те горожане, с кем я общался сегодня. Но это скорее всего беда, не вина их. Почему бы жалкому городу не оказаться реликтом некогда цветущей цивилизации, погибшей в результате стихийной катастрофы планетарного масштаба? Неподолимая засуха, например, вообще изменение климата... А может быть, внутренние причины. Скажем, старение разума. Естественное. Ведь подобно всякому явлению он должен расти по некой кривой, и, пройдя высшую точку, клониться книзу. Или к разуму эта за-

кономерность не относится? В принципе-то человеку свойственны любознательность, инициатива, энергия. Если бы понять, что здесь, на Иакате, произошло.

Теперь я шагал по собственной отчетливо видной дорожке шагов. Но, приблизившись к первым домам, вдруг осознал, что это не мой след. Потому что он вел не к башне у моря, откуда два часа назад я взял напрямик, а к середине западной окраины города.

Чужой след. Причем появившийся только что, недавно. Его не было, когда я входил в ворота.

Продолжая идти прежним шагом, повернул, сколько мог, голову назад.

Из-за песчаного холма поднялись две фигуры. Характерный силуэт одной подсказал, что это длиннорукый староста. Его спутник на две головы выше, узкоплечий.

Что эти двое хотят?

Я уже шел вдоль стены дома, вступил в тень — созвездие Лепестка, готовое вот-вот опрокинуться за горизонт, светило так ярко, что даже давало тень. Повернулся к двоим, следующим (или следящим) за мной. Двое посовещались в самом начале улицы, побежали налево, скрылись за стеной, обращенной к пескам. Видимо, их мысль была перехватить меня, когда обойду дом с другого бока. Я как раз туда и собирался, их догадка была неприятна.

Пошагал, остановился. Зачем встречаться с ними именно ночью, именно на краю города возле пустыни?

Окна первого этажа все темные, пустые, без рам. Подпрыгнул, ухватился за подоконник. Нежилая на первый взгляд комната. Второе окно как раз над тем углом, где двое должны бы меня ожидать. Выглянул.

Оба подо мной. В руке старосты толстая короткая палка.

Некоторое время они прислушивались — нет ли моих шагов. Высокий переступил и заглянул за угол.

— Наверное, пошел к морю.

— Бежим!

И в ту же минуту рядом раздался знакомый, чуть дребезжащий голос:

— А мой дед помнил, что его дед говорил, что все помнит.

В темном углу комнаты с низкого ложа приподнялась фигура. Опять это был старик, которого я подвел в столовой.

Что помнил дед его деда? Впечатление было, будто пожилой маляр пусть с опозданием пытается ответить на мои вопросы тогда за газетой. И тут же почувствовал — многовато, пожалуй, для одного дня. Спросил у старика, можно ли здесь переночевать. Лег, где стоял.

Проснулся через восемь часов. В комнате светло, но оказалось, это большая здешняя луна. За окном пустые улицы, тихо. Опять улегся, но подремать не пришлось. Старика мучила бессонница. С кряхтением вставал, делал несколько шагов по комнате, подбирал с полу едва видимую соринку, относил на подоконник и возвращался к своему ложу лишь затем, чтобы через минуту-две снова подняться. Крошки, соринки копились в маленькую кучку. Понятно было, что бросит в одну из труб.

Так мы с хозяином проволынили до настоящего восхода. Вставая, он сказал:

— Стихи.

— Какие стихи?

Промолчал и только часа через два, когда сходили на море, искупались, позавтракали в столовой, пояснил:

— Дед моего деда помнил.

— Дед вашего деда помнил стихи? Какие?

Но старик, не удостоив меня ответом, удалялся.

Я же еще раз в очередь и снова съел положенную порцию. Вкусная была каша. Даже с некоторой симпатией вспомнил призыв на стенах «БУКУ БУКУНА».

Где-то на заднем дворе сознания все же маячила

мысль проникнуть в охраняемое звуком подземелье. Но опять почувствовал тоску, томление, которые перешли в необоримое желание куда-то спешить, что-то делать. Пошел от столовой наобум скорым шагом, побежал. Одна улица, вторая. Меня ведет в ту часть города, которой не знаю. По сторонам полуразрушенные нежилые дома.

Дальше! Дальше!

Город кончился. Передо мной длинный песчаный вал — бархан, подступивший к крайним домам так, что его языки уже вползли в окна первых этажей. И по всему гребню несколько тысяч человек — женщины, мужчины, дети. Взрослые лопатами, а маленькие совками или просто горстями перебрасывают песок обратно в пустыню.

Из большой кучи выхватил лопату, поднялся на вал. Поплевал на ладони, взялся. Вот этого мне и надо было. Стоя в ряду, сделал десяток бросков, решил, что лопата мала, выбрал побольше, начал махать. А тот слабенький ветерок, коварства которого я вчера не оценил, дует себе и дует. Песчинки скрипят на зубах, скапливаются вокруг углов рта, у крыльев носа. Жарко стало, весь в поту, но не сбавляю усилий. Заметил, что уже опустился на гребне поглубже соседей. Поменялся местами с женщиной, отправив ее во впадину. Никакого общего руководства — бригадира или прораба. Все трудятся сами по себе, усердно, молча.

Часа через два такой работы бархан заметно понизился. Люди стали уходить — одиночками, группами. Затем оставшиеся все разом, без какого-то сигнала, пошли вниз.словно косяк сельди, целой сотней тысяч составляющих его особей, единодушно совершающий крутой поворот. В течение секунды на всем бархане никого.

Кроме меня!

Потому что еще не удовлетворил своей страсти пере-

кидывать песок. Немного спустился, чтобы оглядеть вал со стороны, принялся ровнять.

А потом сразу все надоело. Сошел вниз, кинул лопату в общую кучу. Мокрый, усталый, побрел через весь город к мюрю. После купанья ободрился.

Поскольку из иакатов ничего толкового о социальном строе города извлечь не удавалось, решил сходить в музей — может быть, там что-нибудь. Кроме того, хотел узнать, кто и как готовит так понравившуюся мне основную и, видимо, единственную пищу горожан — букун. Иду по главному проспекту, как раз окна столовой. Заглянул — вроде бы кухня, поскольку посетителей нет, только официантки толпятся. Однако ни плиты, ни котлов, ни повара. Возле подоконника из полу торчит изогнутая труба. Женщина с подносом, на котором пустые миски, отворачивает кран. Подставлена миска, вторая, третья. Из подвала, что ли, закачивается каша?.. Прогулялся вдоль одной стены дома, другой, зашел во двор.

Подвала-то нет. Ни окон на уровне мостовой, ни какого-нибудь хода вниз.

Еще одна столовая, опять смотрю в окна. В большом зале за столиками скребут ложками посетители, а в маленькой комнатке такая же изогнутая труба с краном. И опять без подвального помещения, хоть на улице, хоть со двора.

Может быть, под землей варят кашу из тех растений, что сбрасываются в трубы-люки на улице? Но кто?.. Единственный ход вниз, который мне попался, — железный коридор в пустыне, где страшный звук. Если бы туда сверху каким-то образом проникали, следы были бы на песке. Даже не следы — дорога. А сама пища, между прочим, не простая, а, так сказать, внушающая. Вчера после столовой захотелось красить вывеску, потом на площадь погнало «митинговать», а сегодня на песок. Причем другие около трех ча-

сов там грудились, а я, целых две миски букуна умявший, гораздо больше.

Одним словом, кругом загадки.

Выхожу со двора. По освещенной солнцем стороне улицы мимо подворотни проходит человек. Соображаю, что в течение получаса вижу его третий раз. На море, когда я из воды выходил, он как раз разделся, но, увидев меня одевающимся, поспешно взялся за свои брюки. Потом неподалеку стоял, когда я через окно в «кухню» заглядывал. И вот теперь опять.

Чем-то он мне знаком. Но не из тех двоих, которые прошлой ночью выслеживали.

Направился к музею.

На перекрестке кто-то меня сзади тихонечно за рукав:

— Извините.

Обернулся. Теперь узнаю — тот мужчина, которого я вчера напугал тем, что сорвал яблоко с дерева.

— Вы живы? — Это он спрашивает. — Здравствуйте.

Пожал плечами. Сам же видит, что жив.

— Возле вас что-то происходит. Около других ничего, а возле вас — да. Можно мне с вами? — Протянул руку. — Змтт.

— Сергей. — Пожал его руку. — Я в музей собрался.

— Замечательно.

Идем. Он молчит, я молчу.

Остановился.

— А может быть, не в музей? Лучше еще раз выкупаемся?

— С удовольствием.

Но пошли все-таки в музей.

В вестибюле правого флигеля народу немного. Порядок, как в столовой. Одна группа, получив свое, выходит (здесь из противоположного флигеля), дверь открывается для следующей. Пока ждали, осматривал



помещение. Зал небольшой, невысокий, но свидетельствующий о вкусе и такте архитектора. Три стены облицованы светло-желтыми изразцами, украшены светильниками из желтого металла. Паркетный пол, на потолке ненавязчивый орнамент. Приятно было, в общем, здесь быть. Только два обстоятельства портили ощущение уюта и соразмерности. Четвертая стена, та, за которой нас ожидала экспозиция, грубо, небрежно сложена из кирпича. И в углу напротив входа простая железная решетка огораживает квадратный люк. Заглянул — вниз уходят покрытые пылью ступени.

Шагнуть через решетку, посмотреть, что там?

Но как раз прозвучал звонок. Отворилась дверь в кирпичной стене, вышла женщина-экскурсовод. Холодно оглядела нас, пригласила входить.

В первом небольшом зальчике напротив единственного окна поясной живописный портрет мужчины.

И больше ничего.

На полотне я узнал того мужчину, которому в сквере водружен памятник. Тот же выпуклый лоб, такой же длинный нос. Понятно было, что человек надменный, самодовольный.

Табунком мы приблизились к портрету, экскурсовод откашлялась.

— Долгие годы еще при жизни самого попечителя в среде людей искусства господствовало мнение о неуловимости, невоплотимости его образа в живописи и скульптуре. Первым на творческий подвиг отважился, как вам известно...

Тут она произнесла имя, состоящее из множества согласных.

— Перед вами подлинник знаменитой картины «Рассвет». Вы видите попечителя в то мгновение, когда он вглядывается в даль. Не в географическом, конечно, смысле...

Так как нечем больше было заняться, я рассматривал портрет. С ремесленной точки зрения здорово. Но и

только. Стоял мужчина на фоне поля, покрытого зелеными всходами. Одет в общую для всех горожан коричневую куртку.

— ...Кажется, что это не портрет конкретного человека, а скорее символ, отражающий ту любовь, которую иракское общество...

На неоконченной фразе экскурсовод прервала себя:

— Пройдемте в следующий зал.

Прошли.

Тот же портрет. Абсолютно. Мазок в мазок, точка в точку. Не скажешь даже, которая вещь — копия, какая — оригинал. На миг мне показалось, что пока мы протискивались в двери, администрация музея каким-то чудодейственным способом ту первую работу сумела перекинуть сюда.

А десятка два посетителей, включая Змтта, устали на полотно так, будто впервые увидели. И без запинки продолжала экскурсовод:

— ...питает к своему лидеру. Но если мы взглядем, нас не смогут не поразить именно личностное начало, характер, который ощущаешь как нечто физически реальное.

Сумасшедшие они тут все, что ли?

Еще зал, еще — везде знакомое изображение и ничего кроме.

Там мы дошагали до узенького коридорчика с кирпичными стенами, миновали по нему ту часть здания, где окна были заложены кирпичом. Опять маленькие залы с неизменным попечителем, опять: «...господствовало мнение о невоплотимости... ..скорее символ, отражающий...» Однако членов нашей небольшой группы, за исключением меня, все это ничуть не озадачивало. С той же торопливостью они шагали от двери к очередному портрету, тесно, как и в первом зале, смыкались в полукруг возле полотна и внимательно выслушивали повторяющийся текст, то и дело переводя взгляд с на-

пыщенной физиономии попечителя на экскурсовода и обратно.

А у женщины, что нас вела, лицо умное, волевое, даже привлекательное, хоть и угрюмое.

Не окончив в который уже раз начатую фразу, она вдруг сказала:

— Признательна за внимание.

Отворила дверь.

Вышли сразу на улицу.

Вот и весь музей. Она отбарабанила, как бы выполняющая некий ритуал, мы, этот ритуал поддерживая, отсмотрели. Значит, искусство здесь — и не искусство вообще, а так... Без содержания. Пустой обычай.

Единственное историческое сведение, которое я получил, состояло в том, что в некое время иакатским обществом руководил человек столь авторитетный, что целиком заполнил собой музей.

— Интересная экспозиция, — сказал я.

— Конечно. — Змтт преданно смотрел мне в глаза. — Особенно... — Замолчал.

— Что — «особенно»?

Он заметно напрягся, раздумывая.

— Особенно всё.

— Но несколько однообразны выставленные работы. Не находите?

— Очень однообразны. Смотреть не на что.

Мне вдруг вспомнился люк в вестибюле и окружающая его железная решетка. Мелькнула мысль.

Мы уже дошли до угла улицы, ведущей к скверу, я остановился.

— А что, если пройти залы еще раз? Может быть, мы чего-то не поняли.

— Охотно. Вполне могли не понять.

Позже я заметил, что Змтту было свойственно соглашаться с любым последним высказыванием собеседника — даже, когда оно решительно противоречило

предпоследнему. И всегда он был готов делать то, что ему предлагают или о чем просят.

Вернулись к правому флигелю. Очередная группа только что ушла на осмотр, в вестибюле никого.

Подошел к решетке. Змтт не отставал ни на шаг. Без него я, пожалуй, сразу спустился бы в подвал.

Прогулялся по комнате, стал у окна. Рама здесь была застекленная, как и все остальные в музее. Будто бы вглядываясь в улицу, оперся на узорчатую ручку. Осторожно нажал. Она мягко, без звука подалась.

— Ладно. Пойдем.

Опять дошагали до улицы, на которой сквер. Вдруг почувствовал досаду. Часа два истратил на музей, хотя и двух минут хватило бы, потому что ничего о планете нового не понял. Наоборот, загадки множатся. Как могут, например, местные жители воспринимать всерьез одинаковые картины в залах? Может быть, у них не разум, что-то другое?.. Надо все обдумать, а вот прицепился чужак и не отстает.

Повернулся к Змтту.

— Вы куда сейчас?

— Я?.. С вами.

— Но, понимаете... Даже не знаю, как сказать... Бывают моменты, когда человеку нужно побыть одному. Согласны?

— Я?.. Да, согласен. — Он заметно опечалился. — Но не насовсем, а?.. Мы еще встретимся. Я вас здесь подожду.

— Здесь?.. Как вы будете ждать, когда я сам не знаю, когда меня сюда занесет?

— Ничего. Время у меня есть.

В скверике я сел на скамью. Ладно, пусть ждет, раз ему вовсе нечего делать.

Задумался. Как известно, в одной только нашей Галактике насчитывается миллиарды и миллиарды миров, в которых живут опять-таки миллионы и миллиарды разумных существ. К этому твердо установленному

факту в свое время разные люди отнеслись по-разному. Я, признаться, был после опубликования «Первого Документа» Галактической Лиги растерян и как-то смят. Еще в детстве, в восьмидесятые годы, мечтал, конечно, о том, чтобы обнаружились «братья по разуму». Но не в таком подавляющем количестве. Как хорошо было бы, думал я тогда, как уютно, если бы где-то поблизости две-три обитаемые планеты, пусть двадцать или в крайнем случае сто. И вдруг эта неисчислимость, вдруг сама бесконечность глянула нам прямо в глаза своим разверстым черным зевом, у которого и краев-то нет. Во-первых, удар по ощущению собственной исключительности и по самооценности, так как все, что бы ты ни делал, ни думал, совершенно незаметно пропадает в безграничной громаде того, что мыслится и происходит в сонмах других миров. В тех других, с которыми, со всеми поголовно, даже не познакомишься. Ведь если нашему земному человеку показывать по дальневидению чужие миры, зарегистрированные Лигой, показывать, отводя на каждый лишь по одной минуте, он, даже, допустим, без сна и отдыха смотрящий на экран, не успеет увидеть и ничтожной доли их общего количества, поскольку в нашем земном столетии всего лишь чуть больше пятидесяти миллиардов минут. То есть никому и никогда не перейти через стену, воздвигнутую временем и пространством. Для меня, честно говоря, это был кризис. Да и для многих — помните прокатившийся по Земле вздох разочарования, волну оргий, всплеск цинизма и отрицания. Но потом стала утешать мысль, что во всеобщей связи всего со всем значим и я. Что не только Вселенная, включая ее разнообразнейшие части, влияет на меня, но и я на нее влияю, что я весь в ней, но и она вся во мне. Что сама Вселенная, такая она есть, такова лишь потому, что имеюсь я, который, в свою очередь, таков, каким существую, только оттого, что имеется Вселенная, объединенная Законом Всемирной Симпатии. Что, наконец, понятие добра,

вернее, возникновение этого понятия у человека есть результат пусть не осознанной, но только интуитивной убежденности в том, что, делая хорошо чему-то и кому-то, мы одновременно делаем хорошо всему вообще.

Ну, и конечно, конкретность. То ближе, что мы знаем точно, видели, слышали, ценится нами больше, чем дальше, и по первому мы можем судить о последнем. Нас не удручает невозможность лично встретиться со всеми обитателями Земли, не угнетает, что в большом лесу мы не знаем каждого дерева, в степи — каждую травинку. Довольствуемся генерализацией — там, за горизонтом трава примерно такая же.

В странном мире Иакаты я только проездом. Но он уже конкретен для меня. Земля находится на окраине Галактики, и это открывает для нашей космонавтики возможности. С базы Лепестка я мчался к последней звездочке последнего звездного облака и высадился там на малой планетке, чтобы установить АПС, аппаратуру поиска и связи. Пока единственный человек, единственный представитель Галактической Лиги, я с ночной стороны планетки смог невооруженными глазами наблюдать неведомое. Самый край, с которого, кажется, можешь свалиться. Полностью беззвездное небо, темную бездну, отделяющую нас от близкой к нам Галактики Южного Ветра.

А на Иакате обратным путем, случайно. Но уже видел чернильное облако, серые и желтые пустыни, город, которого не могли создать его сегодняшние вялые обитатели. Конкретность. Такое, от чего не отвяжешься. Не попробовать узнать больше — предательство.

Так я сидел, слыша грозную музыку звезд и одновременно негромкие разговоры молодых мамаш в сквере, поглядывавших на своих детишек. Отдыхал, видя сразу разнообразно изломанную каменную поверхность последней планетки и чугунный памятник Попечителю — по круглому постаменту рельеф, изображающий различные моменты его государственной деятельности.

Затем неподалеку на скамью села девушка, и я забыл о галактиках.

Местный женский костюм, если в целом, довольно-таки нуден. Однако на ней он был не просто одеждой, чем-то другим. Пакетом, что ли... нет, изящной упаковкой того нежного, прелестного, манящего, что в ней (в упаковке) видно и что предполагается. Так же сделано, как у прочих, но в чем-то иное. Да и вообще она отличалась от тех представительниц прекрасного пола, каких я здесь пока видел, то есть крепких, здоровых, но малоподвижных и несколько неуклюжих. Выше среднего роста, прямая, с тонкой талией и стройными ногами. И притом какая-то сдержанная свобода в движениях — легко, скромно и совершенно естественно. Темные мягкие густые волосы, белые, почти не тронутые загаром руки. Но особенно лицо. Бывает, знаете, такой облик благородства, создаваемый семьями, где в длинном токе поколений не было катастроф и драматических перерывов, где пьянство, картеж, корысть, угодничество и другие пороки мужчин не калечили выражения детских лиц, и от прабабушек к правнучкам передавались спокойное достоинство и женственность. От макушки до кончиков туфель все было и красиво и мило в той, что села напротив и чуть в стороне от меня. Оказавшись рядом с такими девушками, женщинами, невольно подтягиваешься, хочешь быть лучше, чем был до сих пор. Смотрел на нее глазами человека, прошедшего полгода в одиночном полете. Чувствовал, что надо оторваться, и не мог.

Она, к счастью, не замечала моего упорного взгляда. Вынула из карманчика куртки маленькую тетрадку, карандашик, начала что-то писать, нахмурилась, зачеркнула. Закусила карандаш, посидела, глядя в небо. Так было довольно долго — записывала, перечеркивала.

Затем ее осенило. Быстрый ход карандашика, топорливо переворачиваемые странички. Перечла все, чуть

кивая в такт своему тексту, освобожденно вздохнула, откинувшись на спинку скамьи.

Я встал, подошел.

— Здравствуйте. Скажите, это у вас стихи?.. Вы не позволите посмотреть?

И снова дальнейшее пошло не как у других. Правильно было, что если обращаешься к иакату с вопросом, — пусть самым простым — он сначала удивляется чуть ли не до испуга, затем начинает мучительно рыться в глубинах своего сознания.

Девушка же сразу просто и открыто сказала:

— Конечно. Садитесь, пожалуйста.

Почерк был ясный. Я прочел то, что уместилось на трех маленьких страничках, и воззрился на девушку в крайнем изумлении. Даже ее очарование поблекло.

Потому что именно этот десяток строф видел вчера в газете.

Не то чтобы полностью разобрал, но кое-что понял и, во всяком случае, твердо удержал в памяти весь вид этого творения — неодинаковой длины строки были набраны в газете не так, как делается у нас, то есть ровной вертикальной линией слева и ломаной, как уж получится, с правой стороны, а образуя симметричную фигуру наподобие вазы. Начальную же строфу и две в середине я просто сумел перевести. Стихотворение открывалось чем-то вроде «Выходите по одному, подняв руки вверх!». Помнил, как удивился тогда, полагая, что это больше подходит не лирике мирного времени, а, скажем, как ультиматум осажденному гарнизону противника. Впоследствии, правда, выяснилось, что правильный перевод: «Выйдем все, как один, голосовать за...» Но это впоследствии, и вообще не в том была суть.

Глянул на девушку с чувством, какое может испытывать романтически настроенный юноша, минуту назад с робким обожанием смотревший на возникшую рядом красавицу, но разочаровавшийся, как только она открыла рот.



Однако все оказалось не так-то просто. Когда я, расстроенный, сказал девушке, что видел эти стихи вчера в газете, она посмотрела на меня с возмущением.

— Помилуйте! Я только что сочинила. При вас.

— Но я читал! Клянусь.

Девушка подумала мгновенье.

— Знаете что, давайте вместе сходим в редакцию. Тут рядом. — Встала со скамьи. — Можете ничего не спрашивать, просто посмотрите, как меня примут со стихами. Это вас скорее убедит, чем мои возражения.

Тут был резон. Мое поколебавшееся восхищение ею в какой-то мере восстановилось.

В редакции — заваленные гранками столы — на встречу нам поднялись темноволосый крепыш с резкими движениями и высокий блондин.

— Наконец-то, Вьюра! Принесла?.. А то мы уже зашиваемся.

Девушка подала крепышу листки. Вскользь глянув на меня, он погрузился в чтение.

— Так... Так... Ну что же, по-моему, очень хорошо. Даже править не надо. Посмотри, Втв, — он обратился к блондину. — И сразу понесем главному.

Блондин прочел стихотворение дважды и победно взмахнул листками в воздухе.

— Превосходно! Пошли.

Черт побери! И печать тут, оказывается, — ритуал.

— Но позвольте! Точно такое же было во вчерашнем номере. Слово в слово. У вас есть подшивка? Посмотрите.

— Какая подшивка?

— Вообще архив. Старые газеты. Разве вы не сохраняете?

— Их нельзя сохранять! Вы что? — Блондин смотрел на меня со страхом.

— Подождите! Я, кажется, понимаю. — Крепыш шагнул ко мне. — А вы не оттуда?.. Не с края?

На всякий случай я неопределенно пожал плечами.

— Извините наше любопытство, — вмешалась девушка. — Говорят, раньше с края приходили многие. По человеку в год или два. А в последние двадцать лет никого.

(Значит, кроме города, здесь еще какой-то «край».)

— Как вы устроились с жильем? — спросил блондин. — Хотя теперь свободных помещений много. — Повернулся к крепышу. — Крдж, пошли. Шеф подпишет и сразу в набор. Мы сейчас вернемся.

Девушка кивнула мне. Трое вышли и стали подниматься по лестнице.

...Я выглянул на улицу. Пусто. Для ускорения пути выпрыгнул в окно и в глубокой задумчивости побрел проспектом.

Полуденная жара загнала жителей в дома. Немногие прохожие стали представляться мне замаскированными муравьями. Гигантскими, которые под мягкой белой кожей скрывают трехчленное, покрытое твердым хитином тело, голову со жвалами-рогами, три пары растущих из груди тонких длинных ножек. И девушка тоже. (Содрогнулся, отгоняя фантастическое видение.) Но ведь правда! Все население города-муравейника, побуждаемое слепым инстинктом, ни для чего сбегается на площадь, в разных залах музея смотрит одну и ту же картину, перечитывает вечно одну и ту же газету, без выбора питается одинаковой пищей. Так же, как обитатели муравьиной кучи обязательно убивают попавшего к ним по ошибке чужака, так и крестьяне, едва услышав, что я не иакат, набросились на меня.

В энтомологии я слаб, даже не сумею с первого взгляда отличить ручейника от златоглазки. Но если о муравьях, то понятие трофаллаксиста мне знакомо, и для меня нет загадки, чем же объясняется ежедневная без выходных усердная деятельность каждого насекомого, направленная на обеспечение нужд муравейника. Если, спрашивал я себя, система поведения, передаваемая генами от одного поколения к другому, позволила нашим

крошечным земным мурашам овладеть такими изощренными формами активности, как, скажем, выращивание и даже выведение определенного сорта грибов, чем хуже здешние существа?.. Почему бы им, пользующимся преимуществом «человекоподобия», то есть высоким ростом (значит, хорошим обзором окружающего мира), ненужными им для передвижения (следовательно, освобожденными для работы) передними конечностями и всем прочим, что на Земле отличает внешний облик людей от животных, не дойти именно инстинктивно до выплавки и обработки металлов (отсюда тракторы), до издания газеты, и, наконец, сочинения стихов, всегда одинаковых, так как инстинкт — постоянно одни и те же реакции на неизменные требования?..

Между тем небо над городом постепенно делалось из зеленоватого голубым, поднялся легкий ветерок, воздух посвежел. Мысли мои приняли новое направление — вероятно, оттого, что хотелось как-то примирить себя с девушкой. С другой стороны, думал я, так уж ли много мы, человеки, отличаемся от муравьев? Поведение насекомого, у которого отсутствуют ум и заранее намеченная цель, есть лишь серия готовых ответов на бомбардировку раздражителями из внешней среды: светом, температурой, запахом, вкусом пищи и тому подобным. Ну а для людей среда разве является нейтральным пространством, где развивайся как хочешь? Неужели она не образует нас?.. Как и у животных, наше поведение создается и поддерживается его же (поведения) последствиями. Либо положительным, либо наоборот. Первые ободряют нас двигаться по избранному пути, вторые остерегают. Потому что важно не только то, какова была среда до нашей реакции, но и какой она стала после того, как мы что-то сделали. Богомол, напавший на жука-бомбардира, временно ослеплен горячей жидкостью, извергнутой из брюшка предполагаемой жертвы, и, по всей вероятности, научится другой

раз к бомбардиру не соваться. Когда балованный аспирант-позвоночник выступит на кафедре против испытанных практикой мнений заслуженно уважаемого ученого, реакция специалистов заставит его призадуматься. Если оба будут продолжать, как начали, первому вообще не жить, а второй в дальнейшей карьере столкнется с трудностями. То есть среда именно создает, избирает нас — человека и насекомое — для продолжения предпринятой деятельности, одних пропуская, других отсеивая.

Тут я почувствовал, что желание внутренне породиться с девушкой-«поэтессой», которую я и увидеть-то еще хоть раз не предполагал, заводит меня далеко, к мысли о полной несамостоятельности человека. Взялся с другого конца.

Да, муравьиное сообщество процветает на Земле, потому что маленькие слабые нервные системы сотен тысяч его членов складываются в одну большую мощную благодаря непрерывному обмену химическими сигналами через пищу. Муравьи постоянно облизывают друг друга, делятся содержимым своих желудков, образуя единый организм, способный на такое, что не по плечу ни муравью-одиночке, ни даже в миллион раз превышающему его размером и силами крупному животному. Однако не так ли у людей? Сравнение города с муравейником банально в литературном смысле, но истинно социологически. Каждый из нас, людей, обладает лишь ничтожной долей знаний, умений и сил, чтобы на современном уровне прокормить себя, одеть, построить, отопить и осветить жилище, вылечить в случае болезни, выучиться, развлечься, создать семью, вырастить детей, добраться за двадцать или миллиард километров до места своей работы и вернуться обратно. Всё, и великое и мельчайшее, создано тем же трофаллаксом, то есть обменом, осуществляемым через многочисленные инфраструктуры связи, транспорта, распространения и хранения информации (даже выращивания ее — компьютер)

банковского дела — государственного и частного, — которое только и способно аккумулировать необходимые средства для создания мощного агропромышленного комплекса. Причем речь идет не только о достижениях в сферах науки, производства, искусства, но также политики, дипломатии, осуществивших в конце последнего столетия переход к новому мышлению, что позволило человечеству, кроме всего прочего, выйти к звездам. Коротче говоря, человек значим лишь как частица человечества. А раз так, не грозит ли и нам судьба общественных насекомых, застывших после некоего рубежа на месте? Отдельный муравей (в отличие, скажем, от носорога или медведя) пожертвовал индивидуальностью ради нужд многочисленной семьи. Но постоянное усложнение общечеловеческой экономики может в конце концов привести к тому, что личность станет все меньше значить в сравнении с ролью человека как составной части общественного механизма. Тогда остановка, деградация. Станем похожи на иакатов, в свою очередь напоминающих муравьев, чья жизнь скучна и может разнообразиться лишь катастрофами — наводнение, пожар, нападение врагов.

Вообще долгие полеты в одиночестве приучают к размышлениям глобального масштаба. И тут парадокс. Заниматься большими проблемами означает брать на себя риск больших ошибок. Не размышлять — погрязать в невежестве...

Вдали я увидел море, сегодня не буро-зеленое, как обычно (собственно, как вчера), а синее. Оно утратило облик мелкой спокойной лужи, стало глубиной, простором, величием. На горизонте белела светлая полоса волнения, какую я тут впервые видел.

Прибавил шаг. Мысли опять возвратились к местным странностям.

А машина?! Та, что бормочет, хлюпает в трубах. Кем создана — не этими же вялыми посетителями столовой.

Вступил на пляж. Из-за ветра, может быть, он был

совсем пуст. Сел. Смотрю на морской горизонт, так напоминающий Землю.

Сзади быстрые шаги. Вскикиваю, оборачиваюсь.

Учащенно дыша, рядом стоит девушка. Одна.

— Что случилось?.. Мы вас обидели?

— Э-э-э... м-м-м... Нет, конечно.

— Но вы сразу ушли. Я с третьего этажа видела вас на улице. Ни минуты не подождали.

Я сказал:

— Давайте выкупаемся. Умеете плавать?

Она с готовностью кивнула.

— Тогда на остров. — Это вырвалось у меня как-то само собой.

— Куда?

— На остров. Этот.

— Какой? Где? — Она быстро оглядела горизонт, как-то при этом промахнув остров. — Вы шутите. Не знаю здесь никакого острова. И никто.

Бог ты мой! Значит, она тоже не видит, на миг даже сам засомневался — вдруг мой индивидуальный мираж.

— Ну просто поплаваем.

— С удовольствием.

Отойдя чуть в сторону и тем заставив меня отвернуться, девушка быстро скинула куртку, туфли, юбку. Когда я глянул на нее — в легком купальнике, — мои масштабные мысли моментально улетучились. Вообще все мысли.

— Поплывем прямо. Одежду возьмем с собой. А то как бы не унесло ветром.

Ремнем я связал в небольшой сверток ее костюм и свои пожитки.

Девушка сначала плыла со мной вровень, потом стала отставать, хотя, действуя одной рукой и ногами, я отнюдь не торопился. Подождал, чтобы нагнала, предложил положить руку мне на плечо. Помедлив, она послушалась. Мы были уже в последней трети пути. Впе-

реди на пляже я уже различал изогнутые параллельные полосы нанесенных морем и высохших водорослей.

Но девушка не видела острова.

Проплыли еще метров сорок. Она с тревогой оглянулась.

— Хватит у нас сил вернуться?

— Конечно. Вы не работайте ногами. Только едва-едва.

До суши было уже рукой подать. Вдвоем одновременно мы коснулись ногами дна. Девушка убрала руку с моего плеча.

— Отмель. Как замечательно. Давайте постоим. — Повернулась к линии города. — Как далеко отплыли. С такого расстояния никогда не смотрела на Иакату. Даже немножко страшно.

Постояли. Я предложил:

— Пойдемте вперед по отмели. Смерим, большая ли.

Сделали еще несколько шагов. Вода была теперь по грудь. Ближний большой валун едва не нависал над нами. Я взял одежду в другую руку, чтобы помочь девушке, если что.

Еще по шагу. Дно стало круто подниматься.

Вдруг побледнев, она остановилась, закрыла лицо руками и с отчаянным криком упала спиной в воду. Я был наготове, тотчас подхватил ее.

— Что со мной? Откуда это?

— Успокойтесь. — Легонько обнял ее за плечи. — Вы увидели остров. Я тоже его вижу. Всегда здесь был и есть. Это какой-то психологический феномен, что вы его не замечали.

— Только не уходите. Побудьте со мной. — Не отпуская рук от лица, прижалась ко мне. — Вдруг я с ума схожу.

— Я бы и подумал, что сошли с ума, если б решили, что я сейчас вас оставляю. Да ни за что! Успокойтесь. Перед вами остров. Вы же сами чувствуете дно под ногами, и оно идет наверх. Откройте глаза. Не надо

так дрожать. (Она действительно вся дрожала.) Ну, решайтесь.

Пальцами она скользнула по моей физиономии, по шее, груди.

— Да, вы здесь. Это не бред.

Повернулась к острову, постояла, опустил глаза. Потом длинные ресницы, не знавшие косметики, медленно поднялись. Сначала она смотрела на воду, потом на пляж. Сделала неуверенный шаг, еще два. Ступила на песок, огляделась.

— Как это может быть? Не снится?

Я бросил на берег узел с одеждой, нагнулся, брызнул на девушку водой.

Она отскочила, засмеялась.

— Слушайте, действительно правда. Вот камни, песок. — Подошла к валуну, погладила его шершавую изъеденную поверхность. — Как мы могли его не видеть?

Завертелась на месте, затанцевала, затем, сразу став серьезной, подошла ко мне.

— Это самое сильное переживание в моей жизни. Такого больше не будет.

Потом мы сидели на берегу напротив города. Ветер усилился, проливом пошла небольшая волна. Девушка все пересыпала и пересыпала песок из горсти в горсть — руки с длинными пальцами запомнились, словно кадр фильма. Пошли осматривать открытую нами территорию. Остров оказался больше того, каким представлялся мне с городского пляжа. Поднялись на небольшое плато, спустились в долину — все камни и камень. Вдали увидели зелень, заторопились. Перед нами рощица деревьев — таких же, что в городе на проспекте. Урожай яблок хоть куда. Между стволами все усыпано паданцами. Но ни одной травинки.

— Жуг, — удивилась девушка. — И какой сильный. Сорвал с дерева яблочко, откусил.

Она бросилась ко мне.



— Умоляю вас, выплюньте! Это же идет туда.

— Куда?

— Ну, туда. В трубу. Выплюньте. — Задумалась. — Правда, те, которые приходили с края, тоже ели. Но нам нельзя. Обязательно надо вниз. Мы едим только в столовых. Ничего такого, что само растет.

— Отчего так?

— Отчего вы, например, дышите? Оттого что без этого невозможно. Другого объяснения у меня нет.

— Бьюра...

Она перебила меня.

— Понимаю. Вам известно, что сырой жуг можно употреблять в пищу. А я ошибаюсь, как было с островом. Вы вообще обладаете более высоким знанием. Поэтому я должна вас слушать. Рядом с вами открываются возможности. И это важнее, чем опасность, которая может оказаться мнимой. Значит, мне нужно попробовать.

Здорово это было сформулировано. Ее способность четко мыслить и точно выражать то, что она думает, поразила меня с первых минут знакомства и потом все время подтверждалась. Сначала решил, что этому способствует обстановка редакции — в таких заведениях умеют разговаривать. Но, с другой стороны, что это за редакция — карикатура.

Девушка сорвала яблочко, откусила.

Миновали заросль жуга. И здесь на песке я увидел цепочку человеческих следов. Пальцем поманил к себе девушку.

— Удивительно, — прошептала она. — Никто же не видит острова.

Вернулись к яблонькам. Я завел ее в густо заросшее место.

— Будьте здесь и никуда не выходите. Я скоро вернусь. Если поблизости кто-нибудь появится, спрячьтесь получше. А сейчас прислушаемся.

Помолчали. Кругом полная тишина. Кивнул девушке,

стал осторожно обходить долину. След вел в ущелье, заваленное камнями. Оно расширилось, я остановился.

Передо мной место, нередко посещаемое. Под скалой куча сухих водорослей, тут же круг закопченного песка, холмик золы. У камня груды тряпья, немытая сковородка с остатками пищи, огрызки жуга. Попробовал золу рукой — теплая.

Ущелье открывалось на западный берег острова. Город теперь был слева.

Вдруг увидел мужчину. Метрах в тридцати от меня он рассматривал, держа за лямки, что-то вроде пояса. Один из тех двоих, что преследовали меня ночью. Не староста, а другой — длинный.

— Я его знаю.

Оглянулся. Рядом Вьюра.

— Окликнуть? — Она шагнула было вперед. Не совсем вежливо я ее удержал.

— Но это же Глгл! Почему не позвать?

— А почему он не рассказал про остров нам? И всему городу?

— Да, действительно. — Она понизила голос. — Он, между прочим, известный человек. Иногда на недели уходит в пустыню поститься. В столовых всегда ест очень мало. Чуть-чуть. Его уважают.

— За отсутствие аппетита?

Она посмотрела на меня.

— В городе все так похожи один на другого, а он выделяется. Всегда готов помочь. Бывает, у кого-то пропала вещь. Если обратиться к Глглу, он может сказать, где она. Даже — в какой срок потерявший ее найдет. Мне этого не понять.

Мужчина тем временем завязывал вокруг груди пояс. Спасательный.

— Очень полезная способность, — согласился я. — Не для того, конечно, кто потерял вещь. Для Глгла.

— Чем она ему полезна? За свои советы он ничего не просит. И не получает.

Глгл тем временем влез в воду и поплыл.

— Кроме уважения, — сказал я. И прибавил, что сам мог бы так «указывать», да и она сама могла бы. Объяснил, что поскольку двери тут не запираются, можно ночью войти в дом, унести, например, куртку и спрятать здесь, на острове. Потом, когда потерявший придет с просьбой помочь, надо принять особую позу, показать сосредоточенность мысли и пообещать, что вещь найдется, допустим, через три дня. После этого только и остается, что ее подкинуть в нужный момент.

Она выслушала меня с явным неудовольствием.

— Глгл не принимает поз.

— Значит, — сказал я, — он умнее, чем я думал.

Теперь мы уже шли от берега, и она вдруг остановилась.

— Вы еще более странный человек, чем Глгл. Скажите, вы не обидите меня? Не сделаете со мной что-нибудь страшное? Я вдруг испугалась.

— Меня? — Я отступил на шаг. Сам внезапно заметил, что впал в какой-то холодно-высокомерный тон. — Вьюра, клянусь вам, нет. И совсем я не странный. Просто, как и Глгл, вижу то, что не каждый видит. Но теперь и вы прозрели. Вас удивляет мое знание некоторых вещей, вам незнакомых. Но тем, что мне известно, я готов поделиться с вами и всеми горожанами.

Моя горячая речь ее успокоила. Пошагали обратно, остановились у «стоянки» Глгла.

— Тут грязно. — Она передернула плечами. — А это что? — Показала на кучу золы.

— Был костер. Мы тоже можем развести. Найдем подходящее место, посидим.

— Костер?.. Огонь?.. Что-то такое я слышала.

Ничего себе — и огонь им неизвестен! Хотя зачем, если они все получают готовым?

Огонь Вьюру поразил. Устроились на берегу в затиши между скал. Груды водорослей поджег зажигалкой — девушка и внимания на нее не обратила, погло-

щенная видом внезапно взвившегося пламени. А я-то насчет зажигалки задумался — газ на исходе.

И нож девушку заинтересовал. Он у меня большой — чуть ли не ятаган. Когда-то сам выточил лезвие из вакуумной стали, сделал широкую, на плотный обхват рукоять. Заточка «на клин», сам без усилий входит в дуб, черное дерево, алюминий. Выюра спросила, что это такое. Хотел объяснить, что оружие, но сообразил, что этого слова на иакатском не знаю, так как оно не попало в составленный в нашем НИИ словарь...

Пошел на берег за топливом.

...А государство? В городе — сам убедился — ни законодательной, ни исполнительной власти, вообще никаких руководящих органов. Этакие фанатичные работы — иакаты. То поле тяпкой рыхлить жаждут, то мусор убирать. Когда-то раньше захотели воздвигать дома, стелить мостовую. Загадочная картина. Один, видите ли, неудержимо стремится резать ленту заготовленной глины на отдельные куски, которые после обжига кирпичами станут. Другого хлебом не корми, дай только стену сложить, третьему вынь да положь возможность насладиться оштукатуриванием. Он, конечно, прекрасен, трудовой энтузиазм. Но ведь без того, чтобы у кого-то в голове был алгоритм строительства, — не город, только куча мусора.

И машина, перерабатывающая все, погружаемое в трубы. Тем более не создашь без осенившей кого-то общей идеи, конструкторских разработок, подготовленной технической документации, точного плана работ. Кто изготовил?.. Что связывает иакатов в единую систему?

Хлопнул себя по лбу. Как же раньше не догадался? Питание здесь только в столовых, абсолютный запрет есть на стороне. Даже крестьяне, у которых зерно под носом, едят привезенные хлебцы. Значит, тем или иным способом в кашеобразную массу вводятся особые вещества. Одному внушают желание окучивать анлах, другому — красить вывески. Я и сам, наедаясь в столовых,

уже приобщился. Вот она связь, направляющая усилия горожан куда надо. При этом некоторые, почему-то видящие все, как староста или Глгл, тайно добывают для себя запрещенную свежую пищу и, не пользуясь столовыми, избавлены от диктуемых букуном повинностей. Наконец кому-то еще в раннем детстве попадает редкий наверняка гормон, который делает его поэтом, редактором либо художником.

Опять пришел к идее муравейника.

...Вернулся под скалу. Девушка у костра. Как бы ласкает огонь, гладит его, водя руками над пламенем. Подкладывает тоненькие палочки, улыбается, глядя, как быстро они сгорают. Повернула толстую, еще сырую внутри плеть. Та крикнула, девушка испугалась, а потом смеется. Поворошила костер и, отскочив от полыхнувшего пламени, хлопает в ладоши. «Весела, как котенок у печки».

Увидела новую кучу водорослей, упрекнула взглядом — почему, мол, не позвал на помощь.

А пролив между городом и островом тем временем вспух, чуть ли не горбом встал — катят полутораметровые волны. Будь я один, и не заметил бы, как на том берегу очутился, а если вдвоем, то вдвоем и утонем.

Объяснил девушке положение.

— Ничего. — Беззаботно махнула рукой. — Переждем. Ночью статью сочиню, рано утром стихотво...

Вдруг замолчала, как-то отчужденно глядя на меня, отвернулась, подошла к скале, прижалась лбом.

— Что с вами?

— Ужасно. — Она говорила в камень. — Что-то сверкнуло. Длинный ряд моих стихотворений, и все одинаковые. Кто же мы такие — наша редакция и читатели? Вдруг все население города — больные. Открываются страшные вещи.

— Например, остров?

— Да, хотя бы! Жуток час, когда человек узнает такое. Мир должен быть тверд. А сейчас падают опоры.

Ни с того ни с сего явился остров. Что дальше будет?.. Перестая верить окружающему. Все зашаталось, как жить?

— Не мучайтесь насчет стихов, Вьюра. У нас и не такое бывало.

— Где?

— На краю. Человек может считать себя...

— Перестаньте! Даже слушать не хочу. Какой «край»? Там люди совсем одичали. Может быть, уже вообще вымерли. Вы обманываете меня. Или иначе толкуете слово «край», что все равно сводится ко лжи. Вам же известно, как я его понимаю.

— С края, с края, — заверил я. — Но с другого. Там жизнь лучше, интереснее. Но оттуда к вам трудно добраться. Поэтому у меня такой измученный вид.

— Не измученный. Вы худой, но все равно гораздо уверенней, энергичнее, чем все мы тут. — Она шагнула ко мне. — Откуда вы, признайтесь. Может быть, вылезли из-под земли, где машина? Может быть, мы здесь все — результат какого-то страшного опыта, социального эксперимента?.. И вообще это гнусно, когда один из собеседников что-то скрывает. Говорит, говорит, но оттаивается у черты. Будто он достоин знать нечто важное, а тому, кто рядом, не полагается. Первого это делает самовлюбленным эгоистом, второго унижает.

Опять я ею восхитился. Все-таки это редакция, которая ее образовала. Так ловко не каждый определит суть эзотерического, лишь для избранных оберегаемого знания.

— Хорошо, — сказал я. — Вы все узнаете. Но каким бы странным ни показалось вам услышанное, не забывайте, что с вами говорит друг. Я попал сюда случайно, почувствовал, здесь что-то не так. Злой цели у меня нет. То, что я вам расскажу, будет праздником. Узнаете много хорошего, сильного. А главное, люди здесь поймут, что они неизмеримо лучше того, что сами о себе думали.

— Правда? — Она вдруг улыбнулась. (Ей были свойственны быстрые переходы настроения.) — Тогда давайте у костра.

Начал рассказывать.

И, знаете, увлекся. Ее глаза... Да и вообще из такой дали родное всегда кажется красивее, чем на самом деле. Отец моего отца, ну, дед то есть, был участником боев под Ленинградом. Морская пехота. В феврале сорок первого он лежал в госпитале на Лесном. Получилось, что в большой палате дед — конечно, молодой тогда — оказался единственным ленинградцем. Остальные из других краев России и Союза мобилизованными или списанными с кораблей Балтийского флота сразу попали под Ораниенбаум, на Невскую Дубровку, оттуда с фронта блокадной зимой в госпиталь и не знали, даже просто не видели великого города на Неве, который защищали. За стенами никем не убираемый снег поднялся до первых этажей, на темных вечерних и ночных улицах пусто, только женщина — жена, влечет, шатаясь, на саночках умершего мужа — лишь бы подальше от дома, куда-нибудь в чужую подворотню, чтобы самой не увидеть, когда за пайкой хлеба, — да чей-то семилетний ребенок, последний в семье, еще имеющий силы, плетется с бидончиком воды, поднятой из проруби где-нибудь на Малой Невке. Только на заводах теплятся огни. Подвешенные на веревках, чтобы не упасть, рабочие у станков. В госпитале мороз, по коридорам, занесенным снегом, трупы упавших и умерших. В палате с инеем подернутыми стенами, освещенной крошечным огоньком коптилки, дед долгими ночными часами повествовал об одном из великолепнейших полисов мира. Из тьмы и холода другой Ленинград вставал перед слушателями. В гранитных набережных раскидывалась блестящим простором Нева, каменные сфинксы и львы смотрели на нее, ажурные мостики повисли над каналами, воздвиглись белоколонные дворцы, конными статуями полководцев стояла на площадях слава наших

веков, птицы щебетали в старинных парках, украшенных мраморными фигурами нимф, в переполненных театрах звучали монологи замечательных артистов, на сцену бывшей «Мариинки» Дудинская выпархивала летящим танцем, а на Невском проспекте, блистающем витринами бесчисленных магазинов, тротуары заполняла толпа, где каждая девушка — красавица. В палате слушали затаив дыхание. Особенно о девушках удивительной прелести — ведь раненым было по девятнадцать-двадцать.

Конечно, в довоенном Ленинграде не все было гладко. Но дед этим пренебрег. И я у костра на острове тоже не стал про войны, угнетение, голод. Полностью опустил современные внутрисоюзные, общечеловеческие, внеземные проблемы. Не информацию Вьюре дал — оду спел Земле и членам Галактической Лиги.

Стемнело. Стих ветер, успокаивалось волнение, догорел костер.

Девушка лежала теперь на спине, глядя в небо.

— Значит, там населенные планеты, огромные города, театры, стадионы, оркестры, библиотеки, да?.. Между звездами ваши станции, пути, по которым летят сигналы, движутся корабли. И все это над нами, под нами. Выходит, что мы окружены, не свободны, не можем поступать, как хотим?

— А не зная этого, вы были свободны?

— Не знаю... И вообще это ужас, что мы такие. — Помрачнела, затем вдруг улыбнулась. — Или, может быть, наоборот, прекрасно, что теперь мы узнаем, и будет чего хотеть. — Одним гибким движением она, не касаясь песка руками, встала. — Вот вопрос: почему у вас жизнь, а у нас тоска?

— Трудно ответить. — Я задумался. — Это еще надо понять.

— Ну все-таки?

Я помедлил, затем спросил, известны ли ей такие понятия, как «разум», «инстинкт» и различие между ни-



ми. Дело в том, что я-то знал звучание этих слов на иакатском, но не был уверен, что девушка настолько осведомлена в родном языке.

Материал, записанный модулем, резко делился на две части — пожалуй, мне надо было сказать об этом раньше. Во-первых, обычная речь иакатов. Простые и понятные разговоры о простых и понятных вещах: обедал — не обедал, общие знакомые, погода. Словарь чрезвычайно беден и вовсе лишен универсалий. Могут сказать «голубой», но слово «голубизна» отсутствует. Есть «справедливый», но понятия «справедливость» в этой части записей нет. Так же, как и «разум», «мысль». Причем универсалии отсутствуют не только в качестве обобщений жизненного опыта, но и как оценочные категории, показывающие различие между идеалом и данным явлением, говорящие о несовершенстве жизни. Иными словами, ограниченный, нищий язык людей, всем вокруг довольных, не только не ждущих перемен, но и не желающих.

Такова одна часть записей. Но РМ в течение полу-месяца облетал планету и зафиксировал второй языковый пласт, записанный с того же места на Иакате. Здесь текста было гораздо меньше, но расшифровать его оказалось нелегко. То не было общение двух или нескольких собеседников. Кто-то монотонно читал вслух короткие отрывки из книг или других записей, знакомя с ними второго иаката. Никакого обсуждения. Пауза — и новый отрывок, чаще всего не связанный с тем, что читалось раньше. Иногда то были отрывки одного какого-то труда, иногда разных. Целый ряд фраз и абзацев, имеющих, видимо, отношение к технике и точным наукам, как физика, биология, вообще не удалось расшифровать и понять. Легче справились с гуманитарными — с философией, историей, социологией. Но маленькие выдержки не давали общего представления ни о прошлом, ни о настоящем Иакаты. Лишь дважды модуль записал названия тех трудов, откуда читалось. Одно было «По-

следние цветы», и речь там шла об исчезающих цветах. Второе — «Бессилие математики», из которого я запомнил целый отрывок. «Мозг существует как материальный объект в физическом пространстве, а разум нет. Загадка, как они соединены, решается...» Нам тоже было бы интересно узнать, как она решается, но тут чтец отложил в сторону «Бессилие» и взялся за другой опус. Вообще читалось только по две-три фразы. Но язык здесь был бесконечно богаче уличного. Оттуда и попали в составленные в институте иакатско-русский и русско-иакатский словари абстрактные понятия.

Общаясь полсуток с Вьюрой, я убедился, что ей известен целый ряд терминов этой второй части записей. Некоторые она имела в активе и кстати пускала в ход.

Тогда ночью она не тотчас ответила на мой вопрос об инстинкте и разуме. Вообще стала грустна и невнимательна.

— Инстинкт?.. Что-то такое я слышала.

— Заложённая в генах система поведения, — пояснил я. — Животные, то есть не люди, в основном руководствуются инстинктом, не разумом. А человек наоборот. У меня впечатление, что какая-то часть деятельности иакатского человечества — причем более значительная, чем на Земле, — обеспечивается как раз требованиями инстинкта.

— А чем человек отличается?.. Нет, подождите, сама вспомню... Человек что-то изготовил и тем, что у него получилось, изготавливает следующее. А нелюдь не может.

Это последнее существительное получалось у нее с ударением на втором слогe. Не как у нас ругательное «нелюдь», а мягкое, даже ласковое «нелюдь», вызывающее в воображении маленького покрытого шерстью грациозного зверька.

— Да, — согласился я. — Человек изготавливает орудия труда и пользуется ими. Самые блистательные или, во всяком случае, наиболее удобные для обозрения на-

ши успехи — техника. Однако животные тоже находят в природе какие-то орудия и употребляют их для удовлетворения своих нужд. Но то, что более всего отличает человека от животного, лежит не в материальной, а в духовной сфере. Разум.

Далее я заговорил о том, что человеку свойственны свобода воли и свобода выбора, очень важная способность различать добро и зло, которая, хотя люди могут по-разному понимать и то и другое, все-таки присутствует в каждом нашем решении. О том, что человеку присуще желание увидеть смысл и логику в окружающей его действительности, объяснить себе мир в целом, ощутить его гармонию, понять самого себя и свое место во Вселенной. Прибавил к этому, что сама проблема смысла жизни, волнующая человека, говорит о его попытках проникнуть за пределы того опыта, какой дает нам наше сравнительно краткое существование, что наши духовные идеалы превосходят средний уровень наших же обычных переживаний, что порой мы осознаем себя участниками таких ситуаций, которые выше, шире познанного нами материального мира и не могут быть целиком различимы за время нашего индивидуального проживания на земле.

В идеале разум, закончил я, есть способность видеть связи между прошлым, настоящим и предполагаемым будущим, между самыми разнообразными, постоянно меняющимися феноменами бытия, видеть и оценивать все это применительно к нуждам близких, далеких, вообще незнакомых людей, к проблемам человечества и даже Галактической Лиги, предпринимая на основании этих оценок свои действия хоть в большом, хоть в малом масштабах.

Не могу сказать, чтобы Вьюра слушала эту вторую речь с той же заинтересованностью, что и первую. Часто отворачивалась от меня, глядя на море, на звездное небо или скалы. Что-то ее мучило.

Я замолчал. Серебряная дорожка на гладкой воде

успела сократиться, исчезнуть. Луна стояла теперь над нашими головами.

— Ну ладно, — сказала девушка. — Кажется, я все поняла. Вы живете лучше, чем мы... Пожалуй, пора отдыхать. Спасибо.

Несколько обескураженный ее внезапной холодностью, я помог ей устроить между камнями ложе из водорослей, а сам лег ближе к берегу на теплый песок.

Когда в НИИОПБК мы знакомились со второй частью переданных модулем записей, мнение было таково, что читаем тексты, принадлежащие не предкам современных иакатов, а другой цивилизации. Может быть, пришельцам из космоса. И Вьюра этой гипотезы не разрушила. Да, умеет хорошо формулировать мысли. Но скорее любопытна, чем любознательна — до тех отрывков из книг, что записал РМ, ей далеко. Когда я говорил о конкретном, слушала, как ребенок сказку. При обобщениях заскучала. Выводов никаких от нее не услышал.

Думая об этом, я заснул и через некоторое время был разбужен резким неприятным чувством.

Тишина. Темная поверхность моря, синеватые плоскости скал.

А надо мной девушка с занесенным ножом-ятаганом. Склонившаяся к горизонту луна светила ей в лицо — напряженный взгляд, закушенные губы.

Я приподнялся, посмотрел на нее в упор.

Она бросила нож и убежала.

Ночи на Иакате длинные, как, впрочем, и дни. Было когда поразмышлять. Может быть, вообще говоря, оно и лучше — покойное счастье незнания. Приникли здесь к кормящей машине эти бедолаги, скорее всего последние остатки вымирающего иакатского человечества, среди сплошной пустыни прижались, словно к материнской груди. Им в их положении хорошо, потому что знать не знают, ведать не ведают о Великой Вселенной, о кипящей культуре других миров. Можно ли их

тревожить? Нужно ли?.. Не говоря уж о строжайшем Запрете Вмешательства... Но, с другой стороны, какие тут внутренние дела? Город же ничего не производит, общественная жизнь с ежедневной газетой и сходками на площади — пародия. Никаких классов и борющихся групп — все едят одинаковую кашу. Скорее всего только Глгл один развлекается. Унесет чьи-нибудь кальсоны, а потом укажет, где найти... И что пока сделано? Показал остров — больше будет у них места, где загораать...

Проснулся. Еще не рассвело.

На груди водорослей никого, одежда девушки исчезла. Неужели одна через пролив?

Побежал на другой край острова, тот, что напротив города. Пляж чист, наши вчерашние следы смел ночной ветер. Но ей не обязательно спускаться в воду по песку. Могла камнями. И если поплыла одна — утонет, уже утонула. Весь вдруг ослабел, потом, справившись с волнением, пошагал берегом, решив обойти остров кругом.

Справа узкое ущелье между скал. Заглянул.

Следы!

Женские, небольшие. Как у Вьюры.

Бросился туда... Нет, не ее. Во всяком случае, не сегодняшние. Потому что слегка занесены песком, здесь, куда не достает ветер. Пробежал дальше. «Стоянка». Следов костра, правда, нет, но у каменной стены аккуратно выровненная груда водорослей, ровно застеленная чистой плотной материей. И вымытая жестяная кружка рядом. Выходит, еще и женщина бывает здесь. Не только Глгл. Может быть, сама Вьюра, а ее испуг, когда увидела остров — всего лишь представление. Но ведь своими глазами видел, как побледнела, как отхлынула кровь от лица.

Ладно. Лишь бы только жива.

Опять бегом у воды. Стена обрыва кончилась.

Отлегло от сердца — вдали на берегу фигурка.

Девушка услышала шаги, не обернулась. Потом в

ответ на вопрос, которого я и задавать не собирался:

— Но ведь разум — это так страшно.

Доплыли тем же порядком, как в предыдущий день. Еще стояла предутренняя темнота. На городском берегу Вьюра зашла мне за спину, переоделась. Села на песок, обхватив руками колени.

— Мне надо кое-что обдумать. Вы идите.

Побрел на другой конец города, где позавчера ночевал.

Шагал с ощущением неловкости... нет, вины. Может быть, неожиданная перемена в девушке — ответ на мое хвастовство Землей и Галактической Лигой? Бестактно ведь рассказывать несчастному о своих удачах, бедному о богатстве. Но странно было бы обманывать, утаивая, откуда я сюда явился. В конце концов мой рассказ — призыв к действию... И кто она сама? Если та, за кого себя выдает, если действительно не знала об острове, то скажет о нем всему городу. А если ей принадлежит скромное ложе в ущелье, что тогда? Как мне вести себя с ней?..

Хозяина комнаты застал за его помогающим коротать бессонницу занятием. Соринки собирал.

Увидел меня.

— Башня.

— Что — башня?

Но, как и ожидалось, почтенный маляр прочно замолчал.

Я растянулся на полу. Часа через два старик потряс меня за плечо, отошел к двери, поманил.

Подумал, что приглашает вместе выкупаться. Но оказалось другое. Пошагали внутренней улицей параллельно пустыне. Справа возникла башня. Не так уж она была и разрушена. Мощный фундамент из дикого камня — он же и первый этаж. Со стороны пустыни затворенная большая железная дверь. От камня вверх кирпичная стена с реденькими окнами-бойницами —

разрушений тут никаких. Но металлические листы ост-роконечной крыши проржавели, ветер частью сорвал их, частью изогнул — отсюда мое вчерашнее впечатление разрушенности.

Чего же хочет старик?

Попробовал открыть дверь. Не поддалась — в щель между нижней кромкой и каменным полом прочно забит клин. Но ясно было, что кто-то сюда заглядывает, отметаёт песок с выщербленных ступеней. Иначе короткую лесенку-крыльцо давно занесло бы.

Через два квартала старик сказал:

— Книга.

И еще через три.

— Искать.

В сравнение с его знакомой мне манерой разговаривать прогресс был удивителен. Если бы чуть побыстрее, три слова, произнесенные в это утро, следовало бы считать чудовишной скороговоркой.

Повернули. Перед нами море, и мы остановились.

Весь пролив между пляжем и островом усеян головами плывущих иакатов. Одни своими силами, другие, — держась за доски, бревна. У кромки берега десятка три народу. Не загорают, как обычно, а стоят, слушают объяснения высокого блондина из редакции.

Откуда-то вывернулся крепыш — насколько помнил, его имя Крдж.

— Ну как? — крепко встряхнул мне руку. — Разобрали пол в том вон пустом доме. Вечером сделаем большой плот.

— А где Вьюра?

— Водит людей по острову. Некоторые сначала боятся. Двое вообще не смогли выйти, вернулись. Но желающих много.

Выходит, началось. Молодец же Вьюра. Напрасно в ней разочаровывался... Хотя разочаровывался ли? Вру ведь себе. Только расстроился. И за нож нельзя ее упрекать. Разум по сравнению с ритуалами действительно

страшно — ответственность же, а не то что всякий раз «Выходите по одному».

Решил было плыть на остров и сразу же передумал. Правильнее не лезть на глаза, если так расстались. Сам-то уже знаю, что сегодня делать. Башня — старик только что намекнул!

— Днем займемся переправой, — сказал Крдж. — А вечером собирается Совет. Вас ждем обязательно. Совет Общественного Действия, СОД. — Кивнул, побежал куда-то.

На центральном проспекте тихо, как вчера. Видимо, до города еще не дошло насчет острова. Стали со стариком в очередь к столовой, и я задумался. Не пошлет ли букун снова на песок. Решил ограничиться половинной порцией каши, но рука, поспешно действуя ложкой, сама очистила миску до дна.

Пошел проводить старика с его ведерком и кистями. Задумался. С пищей понятно — она в столовых. А как насчет одежды, бумаги на газету, красок? Склады, что ли, какие-нибудь?

— Здравствуйте...

Бог ты мой, Змтт! Со всей историей на острове совсем забыл про чудака. А он на том же месте, где вчера расстались. Неужели торчал здесь почти сутки? Как вещь.

— Вы куда? Теперь можно с вами?

Я подумал.

— Скажите, Змтт, вы далеко отсюда живете? — Сообразил, что, кроме старика, ни у кого в доме не был. — Можно к вам заглянуть?

Он даже зарделся от удовольствия.

Старый маляр своим путем, а мы прошли улицей, другой. Подворотня, дверь, парадное. На лестнице после горячего солнца прохладно, сыровато. Очень чисто. Хотя откуда мусору взяться, если домашних животных нет и хозяйства иакаты не ведут?

Поднялись на четвертый этаж. Змтт, похоже, был



горд тем, что его посещают, и тем, что живет высоко. Толкнул дверь рукой, отступил на шаг.

— Прошу.

Истертый паркетный пол, голые стены, два окна без рам, потолок. Все! Пусто и просторно, как внутри большого чайника, из которого вода выкипела. У старика хоть дощатое приподнятое ложе.

Прошелся из угла в угол. Спросил, есть ли у Змтта постельное белье.

— Раньше, говорят, было в квартирах. А теперь... — Замялся, развел руки. — Вот вторая комната, пожалуйста.

Прошли во вторую. И тут ни стола, ни стульев, ни шкафа, ни полочки с книгами. Даже кружки на подоконнике нет. Личного имущества не больше, чем у рыбы. Вот уж кто действительно не заражен вещизмом, так это иакаты.

— Те два окна во двор, а эти на улицу. Вот, пожалуйста, площадь — видите, кусочек за красным домом. — Змтт вошел в роль гостеприимного и несколько хвастливого хозяина. На лице широкая улыбка. — Вон там одна столовая. А вот эта вторая.

Понятно было, что в квартире только спят. Не читают, не пишут, не рисуют, пища не приготавливается, друзей не принимают. Спросил у Змтта, есть ли у него какое-нибудь занятие, кроме купанья и посещения столовых.

— Занятие? — Подумал, посерьезнев. — Конечно. Когда захочется, на песок... Еще кое-что.

— А именно?

— Ничего. — Заулыбался. — А теперь идите сюда. Какой обзор, а? Станьте вот так.

— Подождите. А откуда в столовые поступает букун?

Молчание. Он смотрел на меня с вежливой улыбкой.

— Кто готовит букун?

Опять молчание. Как будто он не слышит вопроса

или вопрос задан на незнакомом ему языке. И та же вежливая ожидающая улыбка.

Переменив тему, я спросил, есть ли у него жена.

— Ушла.

— А дети?

— Был сын. Тоже ушел. — Теперь Змтт не улыбался.

— Совсем, да?.. У вас так бывает?

— У нас все бывает. — На его глазах вдруг выступили слезы, он вытер их внутренней стороной ладони. — Жена ушла по обязательству, а сын так.

— По обязательству?.. Что это значит? Что это вообще такое?

Змтт чуть побледнел. Огляделся. Поднес палец к губам, призывая меня к молчанию. На цыпочках подошел к двери в первую комнату, тихонько отворил ее, вошел туда. Прозвучали легкие шаги, скрипнула дверь на лестницу.

Вернулся, подошел ко мне вплотную. И тихим шепотом:

— Об этом нельзя. И вообще не надо. — Затем громко, другим тоном:

— Ну подойдите сюда! Станьте вот так. Прижмитесь к стене и смотрите в этом направлении. Увидите сквер.

Странная ситуация. Мы на четвертом этаже, в квартире никого, редкие пылинки плавают в солнечном луче. А хозяин чего-то боится. Или она есть в городе — власть? Но не в виде своих органов, учреждений. А как бы растворенная в воздухе система запретов. Давний страх. Въевшийся... И в пустоте квартиры что-то угрожающее. Голое. Какая-то последняя степень. Даже сам не могу определить, чего именно, но последняя. Со всех сторон человек так обеспечен общественными благами, что ничего индивидуального ему не надо и не осталось.

Прижался к стене, где он сказал, и в указанном на-

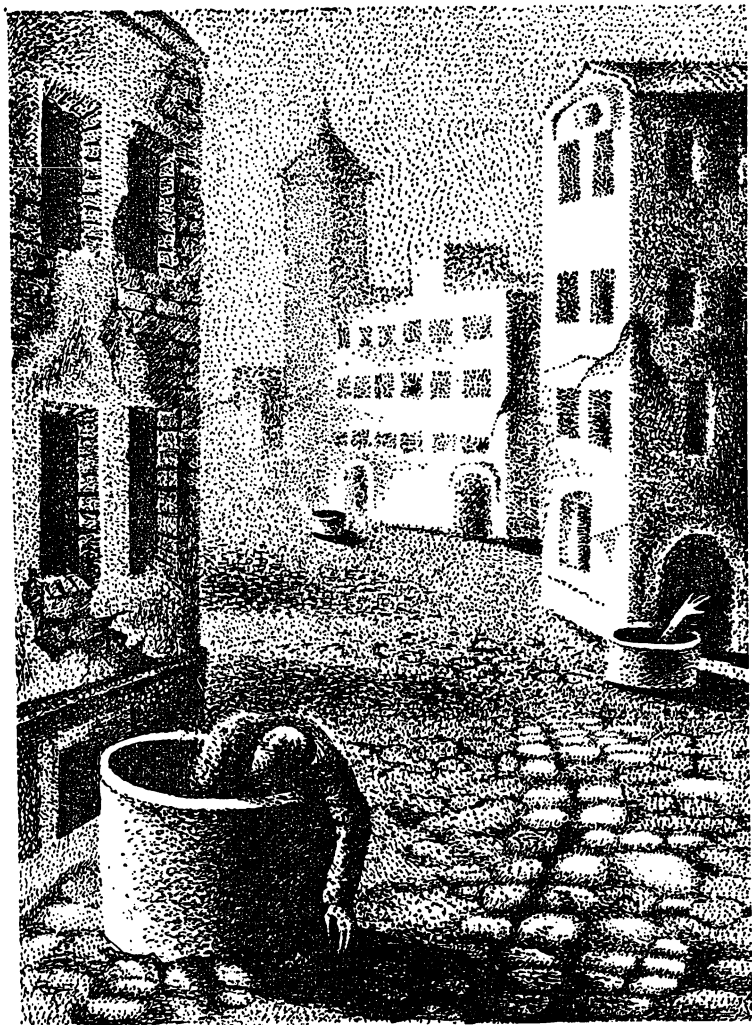
правлении в узкой щели между домами увидел часть решетки. Действительно сквер.

— Ну хорошо, Змтт, спасибо. Пойдемте прогуляемся.

На лестнице подумал, что наш со Змттом разговор неравноправен. Я постоянно требую ответов на разные вопросы, а он ни о чем меня не спрашивает — даже о том, почему я сам города не знаю и все время его, Змтта, расспрашиваю. Весьма возможно, что подозревает... нет, неправильно, не подозревает, а прозревает во мне нездешнего. Старый маляр тоже ведь каким-то образом прозрел. Ну а раз Змтт прозревает и никаких оргвыводов от него не последовало, буду задавать вопросы.

Пошагали проспектом, он от начала до конца пуст. Только возле столовой два старика греются на солнышке. Уселись с Змттом напротив них в тени. Сидим — молчим. Раздумываю, расспрашивать еще Змтта или нет.

Вообще ОКР, Отряд Космической Разведки, делится, кто не знает, на две группы. Первая неофициально называет себя «дипломатами», вторая — «дикарями». Как правило, посещение других разумных миров происходит после рекомендаций с третьей стороны, которая знает и нас и тех, к кому отправляется наша земная делегация. Кроме того, тут достаточно долгая связь через эфир, в ходе которой вырабатывается подробный протокол. «Дикари» же, или Первопроходческая Группа, заняты необитаемыми планетами либо теми, где разумная жизнь не предполагается. Высаживаемся впятером, втроем, иногда в одиночку. Задача — установление автоматической исследовательской аппаратуры, изучение ресурсов, вообще предварительное изучение. Моя профессия — «дикарь». В этом подразделении высоко ценится умение встречать неожиданности, скорость реакций; наш состав — рекордсмены по многоборью или, на крайний случай, финалисты мировых состязаний.



Не имея дипломатической сноровки, на Иакате я с островом уже успел наломать дров и теперь не видел возможности, кроме той, чтобы продолжать так, как начал. Спросил Змтта, есть ли на планете еще города, и услышал поспешное: «Нет!»

— Ну а про дождь вы знаете? — Имел в виду чернильное пятно.

— Какой дождь?

— Скажите, Змтт, кто делал машину, что букун подает?

Он молчал, будто этот вопрос не вошел в него. Опять молчал, глядя на меня с вежливой готовностью отвечать. Оба безмолвствуем и улыбаемся друг другу.

Жарко. По тротуару идет женщина-почтальон с полной сумкой. Дала старикам одну газету. Оба они в отличие от моего друга старика оказались невнимательными читателями. Тот, кому первому достался лист, разом оглядел его с одной стороны, со второй, протянул было соседу, как раз задремавшему. Но вдруг, будто с опозданием что-то осознав, вернулся к первой странице, начал читать. Умялся на скамье, как бы прочнее усаживаясь, продолжает. Поднял голову, задумался, глядя перед собой. Порывисто встал, опять сел, принялся за повторное чтение того же материала. Кончил, глубоко вздохнул, какими-то другими глазами огляделся. Растолкал заснувшего соседа, вручил ему газету, поспешно пошел, почти побежал вниз по проспекту.

И дальнейшее по тому же сценарию. Второй старик небрежно повертел лист в руках, встал, направился к нам, чтобы в согласии со здешними правилами передать. Уже протянул мне лист, начал поворачиваться к своей нагретой солнцем скамье. Что-то промелькнуло в лице, перехватил газету, взялся читать. Я пристроился было рядом, он оттолкнул — не мешайте, мол. Одолеl текст один раз, не отдал, только опустил руку, чтобы отдохнула. Прочел еще раз передовую, посмотрел на нас со Змттом, и мы посмотрели на него. Другой чело-

век перед нами, с новым, изменившимся лицом. Слезла маска ленивого, равнодушного благополучия, явились серьезность, достоинство.

Вручил мне лист. Чуть поклонился, пошел к морю. Да что же там такое?!

Придвинулись с Змттом друг к другу. Стали читать. Теперь я уже знал правильное название — «НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НАЗАД». Чуть пониже в разрядку «Экстренный выпуск».

И сразу отчет Вьюры о ее приключениях на острове.

Я был упомянут как «человек с края». Ни слова о Галактической Лиге. Затем подробно о заплыве, о Глгле, об устроивших автора, а позже вызвавших восторг впечатлениях.

Некоторые абзацы я запомнил.

«Сегодня мы еще не знаем, — писала Вьюра, — против кого и чего конкретно надо бороться ради достижения того идеала, содержание которого еще не отличилось для нас в зримую форму. Понятно лишь, что в силу неизвестных причин наш образ жизни не соответствует званию человеческого».

Ну, молодец! Откуда в ней такое при этой застылой, полумертвой жизни? Родители, что ли, или школа — я даже не знал, есть ли здесь школы.

Когда мы с Змттом миновали возвышенную часть проспекта, темная линия протянулась перед нами по берегу — жители города. Весь выхлынул!

Подошли. На пляже ни одного загорающего. Бегают, ходят, стоят, разговаривают, восклицают, зовут, откликаются. Кого-то придавили — вопль. У самой кромки берега кого-то затолкали на глубину — паника... Нет, вытащили! Дети, взрослые, старики, старушки — одни уже видят остров, другие нет и не верят. Шум, гам. А по всей километровой длине острова на солнце и в тени скал иакаты. Переправились, достигли. Рядом с нами над головами передают истрепанные листы газеты. Нашу сразу выхватили.

Лавина стронута.

И вдруг тишина, молчание.

Толпа заколыхалась, люди пошли, как прошлый раз, с пляжа. На острове народ тоже прыгает в воду, плывет.

Приказ букуна. Опять зовет на «митинг» или на песок.

Заныло сердце, обессилел. Значит, и мне такое же распоряжение.

Змтта уже нет. Сразу пошел со всеми.

А я? Неужели не устою против требований кашеобразной массы? Повернул в сторону, противоположную той, куда торопятся люди. Дурнота накатывает и отступает, на ногах словно гири, сердце колотится.

Остановился. Повернуть, что ли, для опыта в «рекомендуемом» направлении?.. Пять шагов назад — будто лечу по воздуху. Вдыхается свежий ветер, а голове легко. Вот ведь как устроено. Всего лишь капля некоего вещества, одна, может быть, молекула попала в меня и руководит. Какой же сложностью вещество должно обладать, чтобы не только ставить человеку цель, но в зависимости от того, стремится он к ней или нет, перестраивать работу всего организма.

Ну разве возможны перемены в городе, если букун может в любой момент оттаскивать людей от дела?

Опять побрел к башне. Осыпанные солнечными бликами катят мягкие волны, сверкают каменные откосы острова, а для меня местность становится то бледной почти до полного исчезновения, то красной. Нет тени — дома, песок пышат жаром.

До башни уже рукой подать. За толстенными стенами там темнота и прохлада. Отлежусь.

Упал. Пролежал минут пятнадцать, пришел в себя. По щеке сверху кровь. Ну и силища у этого букуна.

Дверь в башню приоткрыта. Кто-то внутри есть. Ладно. Все равно. Мне бы только отдохнуть. Полез на четвереньках по лестнице. В темноте вход в коридор.

Прополз еще немного, лег на каменный прохладный пол, провалился в небытие.

Откуда-то негромкий разговор:

— Читай вот это. — Как будто бы голос старосты.

— Астрономия.

— Ее нам и надо. Он же с неба откуда-то.

Выходит, очнулся, раз слышу.

Второй, показалось, что Глгл, монотонно начал:

— «Бесконечное число измерений не может не быть той сценой, на которой движется Вселенная. Никто не способен стать сам для себя сценой, так как для того, чтобы двигаться, нужно иметь арену бо́льшую, чем собственное тело...» Дальше читать?.. По-моему, все слишком общее. Про планеты не говорит.

Неподалеку слабенькая полосочка света. Где-то поблизости происходит разборка библиотеки. Давно началась — многие годы назад эти два голоса зафиксировал наш институтский работяга модуль РМ. Странно было, что сейчас вживе слышу тех, кого он записывал с высоты.

— А эту читать?

— Как называется?

— Суть и существование.

— Не понимаю. Открой на середине.

— «Богатая сильная культура оставляет много времени и пространства для искусства, для сложных человеческих отношений, в частности для возвышенной сублимированной любви, для игривости и приключений...» Еще читать или нет?.. «...новый установленный порядок, наоборот, требует от подчиненного большинства, от участников производственного процесса на всех его стадиях внутренней нивелировки, отказа от собственного Я. Личность теперь обусловлена задачами группы, касты, клана, торжествуют всеобщая похожесть и догматизм. Жизнь начинают рассматривать в качестве predetermined сверху, считают, что в ней ничего не зависит от индивидуальных усилий...» По-моему, ты не слу-



шаешь. Или читать дальше? «Человек со всех сторон окружен всевозможными запретами и ограничениями. Гаснут любознательность, активность. Наука, искусство, общественная деятельность превращаются в пустые ритуалы. Чувства лишены непосредственности при том, что любовь как раз снижена до уровня одного только сексуального удовлетворения, лишена какого-либо духовного начала...» Дальше читать?

— Не надо. Брось! Давно уже не слушаю.

— А эту?

— Что это?

— Журнал катастроф. Тут целая полка.

— Всё кидаем в трубу.

Шум, шаги, потом голос Рхра:

— Пошли.

— Куда?

— Здесь комплекта нет, а его все равно нужно найти. Может быть, в первой библиотеке он. Или там внизу... Чего ты расселся. Вставай!

Светлая полоска погасла. Ко мне приближаются шаги.

Не вставая, передвинулся на полу, поспешно привалился к самой стенке. Глгл и староста прошли совсем рядом — конечно, эти двое даже с закрытыми глазами могут тут ходить.

Внизу проскрежетала железная дверь, затем негромкие удары — клин забивают.

Меня подмывало зайти в библиотеку. Но что увидишь при свете зажигалки?

Не без труда выдавил клин. В небе трепетали звезды. Большинство домов на окраине были пусты, но при этом ночью казались мне живыми, — не людьми, а старыми стенами, которые продолжали держать, может быть, как-то обсуждать и осмысливать тех, кто когда-то рождался в них, проживал жизнь. Какую?

Ответ должен был дать музей, если в его подвалах то, о чем я думал.

У здания с фризом тишина. Подошел к последней двери правого флигеля — заперто. Поднявшись на цыпочки, тихонько толкнул раму окна.

Как раз взошла луна, в вестибюле все было видно — вот она, решетка. По сквозным металлическим ступеням спускался в темноте. Стал на пол. Тусклый умирающий огонек зажигалки осветил прислоненные одна к другой картины.

Так и есть — запасник.

Все тут было покрыто пылью. Смахнул ее с ближайшего полотна, с другого, третьего. Попечитель и попечитель.

Этажом ниже опять большое помещение. Пустое. Только в дальнем углу несколько холстов лежат свернутыми. Развернул один, увидел знакомый портрет, уже хотел бросить, но задержался. Мастерская работа. В позе натужность, какой она, вероятно, и была, когда стал перед художником. Лоб почти до уродливости выпуклый, подбородок острее, еще длиннее, чем на других портретах. Глаза горят, в них надменность, в них обида на то, что недостаточно ценят, не все в нем понимают. Скорее всего — нелюбимое, прижизненное изображение человека, тяжело страдающего и комплексом неполноценности, и манией величия.

Лестница вела глубже. Семь маршей вниз, на восьмом она кончилась. Если не здесь то, что ищу, значит, нигде.

Щелкнул зажигалкой. Безрезультатно.

Надо же, а!

Погрел ее в ладони, подышал на нее — все в крошечной темноте, еще держась за перила лестницы.

Зажглась погловым синим огнем.

Сюда в самый низ никто не спускался, может быть, век. В воздухе нет пыли. Она сцепилась, слиплась, легла на все мягким мохнатым ковром. Поднятый моим вторжением ветерок пробудил ее. От пола, от составленных рядами подрамников отделились легкие серые пыш-

ные ленты, заколебались, словно водоросли в тихой воде. Шагнул раз, два... Ленты отрывались, плыли.

Погасил зажигалку. Соскреб всей локтевой частью руки пыль с ближайшего холста. Опять погрел трубочку.

Зажглась последним большим пламенем, осветила всю картину.

Она была прекрасна.

На желтой комковатой земле среди редко стоящих растений девушка. Зеленая накидка, красная юбка густых ярких тонов, как на старинных итальянских полотнах. Синее небо. Растения — невысокие тонкие деревца — окаймляли девушку. Непринужденно она положила руку на ветку. Будто только секунду назад. На заднем плане за высоким горизонтом строения узорчатого контура.

Из глубины столетий девушка глянула на меня с независимой гордой усмешкой-улыбкой. Подрумяненное солнцем лицо, чуть приоткрытая белая грудь, слегка выставленное в разрезе юбки колено... Царица! Чего?.. Всего. Великие проблемы жизни склонялись у ее ног, как перед мерой сущего.

Меньше мгновенья я смотрел на нее. Пламя погасло, и девушка ушла назад во тьму прошлого. Явилась, чтоб усмехнуться над моими заблуждениями, сказать все главное о своей родине и исчезнуть.

Постоял еще немного. Шаркая по полу, на ощупь отыскал лестницу, начал подниматься. Стукнулся обо что-то головой — непонятно было, откуда это «что-то» взялось.

Выходит, все здесь было. Цивилизация не инстинкта, а разума. Кстати, дело и не в цивилизации. Глупо, что я все время о ней думал. Основные ее составляющие — способы получения энергии, производства продукта, его распределения и потребления — еще ничего не говорят о жизни духа. Даже вознесшимся к небу огромным корпусам мегаполиса и полетам в космос могут сопутствовать доминирующие в обществе озверение и отчаяние.

Культура — вот что на самом-то деле я имел в виду. И если могла быть такая девушка с ее лицом и поведением — пусть не быть, но хотя бы мыслиться художником — ясно, что у Иакаты прошлое, которым она может гордиться.

Подумал, что слишком долго поднимаюсь. Уже девять-десять эта...

Искры в глазах!.. Небосвод, усеянный звездами, который вдруг завертелся широким кругом все быстрее, быстрее. А рядом девушка с картины... нет, Вьюра. Мы убегаем, мчимся верхом по степи, догоняем отходящий со станции поезд. Успели. Все дальше от опасности. Вот уже заснеженные еловые леса Уральских гор. И все начинается сначала. Бешеный галоп коней, длинный состав вдаль, прокричал гудок отхода... Понимаю, что бред, пытаюсь прекратить. Но стучат колеса вагона.

Очнулся. Связан.

Неудобно лежать. Под спиной какие-то угловатые предметы.

Голоса:

— Сходи принеси воды. Вон там второе ведро. — Это староста.

— Может, просто так заложим? Вдруг кто-то встретит.

— Ночь. Кто встретится?

— Сейчас все может быть. Видел, что на пляже делалось? А меня и в темноте узнают.

(Я пока не открываю глаз.)

— Кругом пойдешь. За крайними домами. Вдоль песка.

Двое вышли.

Огляделся. Зал. Светящийся потолок, как в том помещении, где звук свирепствовал. По стенам книжные полки, между ними ниши — наверное, когда-то стояли статуи, а сейчас пусто. На полу навалом книги. Сооб-разил, что нахожусь в главном здании музея. Видимо,

когда в темноте поднимался из подвала, занесло на другую лестницу. Староста с Глглом услышали шаги, подстерегли, стукнули по голове.

Но они-то зачем здесь?.. Ага, какой-то комплект искали, книгу — возможно, ту, о которой старик маляр... Опять шаги. Закрыв глаза.

Что-то грохнуло рядом, сильно ударило по ноге. Что-то на что-то кладется — отдельные мягкие шлепки.

Посмотрел. Слева и чуть сзади староста, наклонившись, закладывает нижнюю часть ниши кирпичом. Три ряда стенки выложено на растворе. Стало понятно — засунут меня туда связанного, стенку заровняют, как будто ничего и не было.

Староста почувствовал мой взгляд, сказал, не обобщаясь:

— Не смотри. Не надо нервничать. Тебя уже нету. И корабля нет.

— Сомневаюсь, — сказал я. — Открыть возможно только моей рукой. Запор на меня настроен. Вот если бы меня туда доставили, мою ладонь прижали...

Он молча продолжал свое.

Что еще говорить?

Шорох за дверьми. Неужели Глгл так быстро вернулся с моря? Мы со старостой оба уставились на дверь.

В проеме выросла фигура.

Я первый нашелся. Староста был слишком удивлен.

— Привет, Змтт. Мы тут поспорили — сумею сам освободиться, если меня свяжут? Не сумел. Проиграл. Развяжите меня.

— Конечно, — радостно согласился Змтт. Тотчас подошел ко мне, помог повернуться на бок.

— Стой! — вмешался Рхр. — Мы его сейчас замуруем. Он тут никому не нужен.

— Правильно. — Верный своим принципам, Змтт кивнул, выпрямляясь. — Так ему и надо.

— Нет-нет, Змтт, — поспешил я. — Разве можно

людей замуровывать? Негуманно. Развязывайте скорее.

— Чего уж тут хорошего. — Змтт взялся за узел. И тут староста совершил ошибку.

Ему надоело словопрение. Шагнул к нам — в одной руке мастерок, в другой кирпич, — локтем небрежно отшвырнул Змтта к стопе толстых фолиантов. Это было неправильно. Мой новый приятель готов был слушаться любого последнего слова, но, как выяснилось, не терпел физического насилия. Скажи ему Рхр оставить веревку в покое, заткни он мне чем-нибудь рот, ничто меня не спасло бы. Но он толкнул Змтта.

И тот бросился на него, словно тигр.

От толчка Змтт не упал, а только присел на корточки, разрушив спиной стопу книг. Из этого положения, не медля ни мгновенья, он прыгнул вперед, пролетел метра полтора и с силой ударил не ожидавшего подобной эскапады старосту головой в грудь. Тот рухнул, стукнувшись затылком о возводимую им стену. Дернулся, застыл.

— Очень хорошо. Развяжите меня, Змтт.

Слава богу, староста дышал. Вдвоем той же веревкой связали ему руки и ноги. Он начал приходить в себя.

— Пойдемте, Змтт, — сказал я. — Сейчас вернемся сюда с людьми, заодно подстережем Глгла. Он должен прийти... Знаете, наверное, Глгла.

Информация была для старосты. Прибежит с ведром Глгл, освободит Рхра, и оба вряд ли рискнут остаться в городе. А такой промежуточный исход схватки и будет наилучшим — не начинать же только что созданному Совету с репрессий.

На улице спросил Змтта, как он попал в библиотеку.

— Вчера видел, как вы пробовали открыть окно. Освободился от песка, пришел сюда, долго плутал по темным лестницам.

Вот так. Думаешь, уже понял человека, а потом...

Тут я вспомнил то, что некоторое время держал в голове.

— Сможете подождать меня минуту?

Кинулся наверх в библиотеку. Последний марш лестницы на цыпочках, чтобы Рхр не услышал.

Свет из двери. В читальном зале возня. Извиваясь на полу, как червь, связанный староста боком, плечом толкает в глубь зала том в кожаном переплете. На это я и рассчитывал. Если они с Глглом разыскивали «комплект», Рхр должен постараться его спрятать.

Рхр с пола проводил меня взглядом.

— У нас все лентяи. А как сейчас, лентяям лучше. Ничего у тебя не выйдет. Они предпочтут вымирать.

Змтт ждал у входа. Побрели потихонечку ко мне, то есть к маляру. Шатало — на голове шишка в добрый огурец.

В двух окнах знакомой комнаты тусклый колеблющийся свет.

— Наконец-то! — Крдж встал с пола, на котором пятеро вокруг чего-то вроде свечи. — Что случилось? Мы всюду искали.

Вьюра не поднимала глаз. Возненавидела меня, что ли?

— Продолжаем заседание, — сказал Крдж. — Вам слово.

— Пока никаких ответов. — Я с облегчением сел на пол. — Нам бы вопросы сформулировать.

Впрочем, сначала я рассказал. Потом смотрели «комплект». Оказалось, переплетенная карта-схема. То, что сначала приняли за страницы, было пронумерованными, сложенными тридцать два раза большими очень тонкими листами. Если разложить — около четырех квадратных километров. Графики, формулы, тексты, чертежи. Решили, что это описание подземной машины. Понять что-либо в листах никто не мог.

Затем бесконечный разговор.

Чего мы хотим?.. Ясно лишь, от чего хотелось бы из-

бавиться. Первым делом, от диктата через пищу. Отсюда дискуссия повернула к проблемам смысла жизни, раскрытия заложенных в человеке способностей.

— Кто мы сейчас?! — восклицал Крдж. — Пенсионеры прошлого, иждивенцы не нами созданной технологии. Каких усилий, какой энергии, духовной и физической, требует от нас процесс поддержания жизни?.. Никаких! Сразу от рожденья — без поступков, без трудов — на пенсию.

А за окном было не так, как в мою первую ночь на Иакате. От моря порой доносился шум, в той стороне мелькал свет. Вьюра сказала, что вечером нашелся старик, обучивший молодежь добывать огонь, и на берегу тотчас развели костры из водорослей. (Одна такая палочкой-свечкой освещала комнату.) Трижды снаружи слышали громкий разговор прохожих. С соседней улицы кто-то позвал на помощь — когда добежали, никого не было. Под утро мимо дома прошагало из центра в пустыню около тридцати человек в синих обтягивающих костюмах. Все рослые, крепкие, как на подбор. Крдж сказал, таких никогда здесь не видели. Проходящих окликали, они ушли молча. Другой, не вчерашний город.

Когда рассвело и все полулежали, измученные, Кржд вскочил.

— Прежде всего познакомиться со своим обществом. Социальный строй, экономика, ресурсы, перспективы. Мы же ничего про себя не знаем.

Спал я, положив книгу под голову. Понятно было, что комплект и есть самое ценное, чем владеет сейчас Иаката. Проснувшись, задумался — куда девать. В комнате только голые стены. Ничего в голову не приходило, сунул книгу под куртку.

Нашу тихую улицу не узнать. Стоят, ходят иакаты — все повысыпали из домов. Знакомятся, которые прежде не знали друг друга, болтают. Старательно сде-



ланные прически у женщин, у девушек. Женщины особенно похорошели. Не хочешь, залюбуешься.

Возле редакции толпа. И как раз народ повалил со второго этажа — заседание СОДа перенесено в сквер.

Кто-то берет под руку. Выюра скороговоркой, негромко:

— Сергей, вы нас поймете. Решили пока не вводить вас в президиум.

Хотел сказать, что надежно спрячу книгу. Девушка уже смешалась с толпой.

В сквере у памятника составили из скамей трибуну. На ней вся редакция.

Меня толкнул плечом парень. По-деревенски загорелый.

— Видал? — Сунул мне под нос стебель «клубники». На нем не одна, а две ягоды. Раздвинул было стоящих впереди, чтобы пробиваться к трибуне, но повернулся ко мне. Пальцем тронул куртку, под которой книга, хитро посмотрел. — А это что у тебя?.. Тоже не так просто, да?

Полез вперед.

Получалось, с комплектом надо что-то делать. А то каждый будет вот так тыкать пальцем. Люди тут с собой ничего не носят, им удивительно. Да и вообще жизнь пошла непредсказуемая. Теперь меня уже волей-неволей втянуло. Неизвестно, где я через час и что со мной будет. А как раз сообразил, что есть место для книги. Такое, куда никто не заберется.

Хорошо было идти спорым шагом из города. Узнавая дома, перекрестки, подворотни, приглядывался к ним внимательнее, чем в первый раз. Все разные, всё разное. У одного дома окна низкие, широкие, у другого стрельчатые, орнамент, где сохранился, тоже у каждого свой. Все говорило, что город очень стар, относится к местному средневековью, знавшему только ремесленное строительство. Не может быть порождением той цивилизации, что создала подземное устройство.

Но сама-то она куда девалась?

Открылся простор анлаховых полей. В столовую я в этот день не ходил, опасаясь подвергнуться неожиданной атаке букуна. Хотелось есть. Растения торчали из земли черными крепкими мослаками, откуда росли длинные зеленые ветви с початками. У каждого куста лишь один, но очень толстый корень. Попробовал копать, чтобы узнать его длину. Дошел до песка, погрузился рядом с корнем по пояс, а он еще и не ветвится, толстый, крепкий, как дерево. Уходит на десятки, может быть, метров вниз, собирая там питание с разных уровней. Вероятно, при сборе урожая с такого растения надо только обрубить зеленые побеги. Конечно, это легче, чем всякий год заново готовить почву, сеять. Поэтому крестьяне здесь и могут после обеда загорать, купаться.

Початки на кусте были разной спелости и все пресные.

Закопал корень, как было.

Вдруг возглас:

— Эй!

В двух шагах между кустами лежит мужчина, молодой, лет двадцати пяти. В синем обтягивающем костюме. Встал, рослый, ловкий. На лице выражение некой ироничной ленцы. Не торопясь, подошел.

— Ты куда?

— Туда. — Я махнул рукой. — Надо.

Он очень откровенно рассматривал меня. Проявление новой для иакатов черты — любопытства.

— Тогда сегодня иди. Завтра не пройдешь.

— Почему?

Он произнес слово, значения которого я не знал. Но дальше стало понятно, что речь идет о чем-то вроде стражи или заставы. Оказывается, все деревни большой группой обошли старейшины — здесь есть такой статус — и еще какие-то мужчины. Сказали, в городе беспорядки. Явился неизвестно откуда взявшийся человек,

предлагает сломать машину. Если так, горожане пойдут разорять поля. Крестьян разбили на отряды, которые завтра преградят выход из города.

— Видишь, на полях никого. Сейчас они на море. Обучаются.

— Чему?

— Драться.

— А ты почему не пошел? Ты ведь не горожанин.

На это молодой мужчина не ответил, продолжая рассматривать меня.

— Тебе далеко?

— Далеко.

— Не ходи по дороге. Встретят. Вот там тропинка. — Показал на северо-восток. — Ты на нее наткнешься. Кончатся поля, будешь спускаться вниз. Глубоко. Потом наверх. Поднимешься в пустыню, пойдешь на солнце. Приведет к морю.

Впечатление было, что он знает о корабле.

— Ладно. Спасибо.

— Что это у тебя? — Он показал не на книгу, на рукоятку ножа.

— Нож.

— Покажи.

Я подал нож. В отличие от Вьюры мужчина знал, что это такое. Вынул из ножен, осмотрел, попробовал остроту. Отсосал выступившую на пальце большую каплю крови, уважительно покивал.

— Хорошая вещь. Дай мне.

— Возьми.

Он подумал миг.

— Провожу.

Срезал несколько стеблей анлаха. Пошли прямо по песчаной целине в сторону, противоположную морю. Справа вдаль я увидел деревню — с десятков серых низких строений. Кажется, глинобитных, без труб и окон. Потом еще одну и третью. Они мне не попада-

лись, когда шел от корабля по шоссе, потому что стояли далеко от берега.

Спустились с мужчиной в большую каменистую впадину, по дну засыпанную нетронутым чистым песком. Мой спутник указал на тропинку впереди. Начинаясь она как бы ни от чего, на голом месте.

— Туда.

Я глянул на него.

— А ты откуда шел? Почему нет твоего следа?

Он нагнулся, пучком анлаха, пятась, стал замечать наши следы.

— Ночью ветер все сровняет. Ты иди.

Раскинувшаяся передо мной пустыня была каменной — «хаммада», как в Сахаре называют такую. Плоская, она заметно поднималась в направлении моего пути. Из-за крутого подъема горизонт все время был рядом, впечатление, что идешь прямо в небо.

Вышел на гребень и ахнул.

Гигантский амфитеатр. Чаша в десятки километров диаметром и целых два, может быть, глубиной. Желтые, рыжие, красные, кое-где обрывистые стены. Долина, со дна которой до уровня, где я находился, циклопическими столбами стояли разнообразных очертаний скалы. Словно мертвый город великанов.

Захватывающее зрелище. Солнце еще не достигло зенита, и то, что дыбилось ко мне снизу, пестрело тенями: синими, фиолетовыми, даже черными в самой глубине. Это вблизи, по горизонтали. А вдаль уходило легким сине-зеленым маревом. Казалось, до ближайшей черной скалы-столба можно рукой дотянуться.

Я-то думал, что Иаката совсем старая планета со сглаженной поверхностью.

Такие просторы притягивают. Можно смотреть бесконечно. Они возвышают и требуют.

Сначала тропинка шла полого вбок, потом круче вниз.

— Эй!

Еще раз мой новый знакомый.

Он спустился легко, как прирожденный горец, протянул нож.

— На. Я просто так. Хотел испытать. Если потеряешь тропинку, ищи не под ногами, а впереди. Она мелькнет. Воду внизу можно пить. Что будешь делать, делай быстро. В темноте ты здесь не пройдеешь.

— А кто ее пробил?

— Я.

— Для чего?

— От скуки. Я мальчишкой три раза убегал. Возвращали.

— В пустыню убегал? Зачем?

— За смертью. Многие так уходят, когда маленькие. Мы постояли, глядя на панораму перед нами.

— Я знаю, кто ты. — Повернулся, стал быстро подниматься, гибкий, со свободными движениями.

Из «видящих», конечно. Выходит, и такие среди них есть.

Спускаться было нетрудно, но не прогулка. Иногда терял тропинку. Потом она мелькала внизу, и, начав с увиденного места, ее можно было проследить до самых своих башмаков. Порой вела к большим глыбам, между которыми еле протиснешься, порой по каменным осыпям, где жутко неудобно было ставить ногу. В одном месте зашел в тень и здесь только почувствовал, какая же стоит жарница. Снял куртку, преобразовал в вещмешок, сунул туда комплект и брюки, продедся в лямки.

Стена, по которой спускаюсь, — геологическая карта. Но для меня почти немая — не знаю многих минералов.

Недалекие через пространство воздуха скалы, что поднимались со дна долины, задавали загадку. Эоловый (кажущийся творением рук человеческих, а на самом деле произведение природы) или настоящий город? Иногда по четкости ровного вертикального профиля уверен был — впереди взметнувшееся из глубины строение.

Но тропинка подводила ближе, и выяснялось, что тот же отшелушенный дикий камень, древний, неровный, в бороздах и трещинах, изъеденный кислотами, покрытый солью — старания жары и холода, воды и ветра.

Теперь тропинка стала ясной. Заторопился. Новый крутой спуск, еще. Неожиданно длинной была эта дорога. Показавшийся небрежно ленивым парень годы, может быть, ей отдал.

Внизу стало прохладно. Ветер. Тропинка виляла между ямами-колодцами. Вода держалась в них высоко у края. Ее обилие говорило, что я на самом дне долины. Скалы уходили от меня на высоту — до упора приходилось закидывать голову, чтобы посмотреть на вершины. Солнечный свет не доходил сюда — только в самый полдень. Царство мрака и холода.

Через километр тропинка наконец повела наверх, оставляя в стороне золотой город. Чем дальше от него, тем более он напоминал настоящий мегаполис — средоточие небоскребов. Тем красивее становился, тем легче было думать о нем, как о наполненном борьбой, мечтами, отчаянием, радостью, жизнью. Только чистое небо, прозрачный океан воздуха над уходящим назад виденьем своей хрустальной нетронутостью не соглашались, отрицали.

Здесь тропинка, вырубленная в отвесной, порой даже нависающей стене, свидетельствовала о большом упорном труде того, кто сначала просил, потом вернул нож. Вызывала уважение даже своей бесполезностью — понятно было, что, поскольку есть шоссе, здесь, кроме самого создателя, никто не ходит.

Не тропу, сам себя он строил.

На пологом месте сделалось тепло. Посмотрел наверх — не так уж далеко до обрыва. Удивился, что отсюда выглядывает густая зелень — приятель-то говорил, что пустыня. Скоро тропинка вывела под обрыв, так что до деревьев, торчащих на фоне неба кончиками ветвей, оставалось метров десять. Манило посмотреть, откуда

же тут взялась роща. Бросив тропинку, по трещинам, по неровностям начал взбираться. С обрыва толстым ковром свисал дерн, трудным оказалось перевалить через самый край. Одной рукой держась за выступ стены, другой долго шарил в дерне. Комочки сухой земли сыпались на голову, летели в бездну. Под пальцы наконец попала петля одеревеневшего корня. Подтянулся, втащил себя наверх на траву.

Мама родная! Версаль, Петергоф и Сан-Суси!

Вдоль обрыва в обе стороны ограда из колючей проволоки. А за ней великолепный парк. Словно с картин Ларжильера, с «Версальской серии» Бенуа. Подстриженные лужайки и деревья, боскеты, аллеи, посыпанные красным песком, горбатый мостик через пруд, выглядывающий из зелени угол белого дома с террасой.

Казалось, вот-вот из-за трельяжа выйдет надменная дама в кринолине.

Оттягивая струны колючки, пролез под оградой, пошел, пригнувшись за стенкой подстриженных кустов. Паркставлял свои красоты. За первым дворцом-особняком второй, озерцо с каменными ступенями к воде, эспланада, предназначенная, вероятно, для игр, снова каменный особняк с огромными окнами, с балконами. Одетый ровно выкошенной травой холм, на вершине которого балюстрада — оттуда обитатели этого убежища любуются, вероятно, величественной панорамой долины.

Сзади возник негромкий скрежет, я нырнул в кусты.

Мужчина в просторном пестром балахоне и коротких штанах катил нагруженную садовым мусором тачку — металлический обод поскрипывал на песке.

Пропустил его, сам повернул внутрь парка, в аллею. Пустынно, ни души. Открылся небольшой желтый дворец. На террасе второго этажа стояли, разговаривая, четыре женщины в открытых платьях и шляпах с большими полями. В глубине играли дети, перебрасываясь легким, напоминающим этажерку предметом, который в полете менял направление. Этажерка как раз улетела

на лужайку, но никто не стал за ней спускаться. Одна из дам перегнулась через каменные перила, кого-то позвала. Голос ее был мелодичный. Из той части дома, что мне не была видна, вышел мужчина в балахоне, взял этажерку, стал подниматься по лестнице. Слуга.

Вдруг я увидел идущих ко мне двух женщин, заметался. Кустарник жидкий, но рядом трельяж. Сунулс я туда. То было сооружение из тоненьких жердочек, сплошь увитых растением с большими шершавыми листьями. При каждом моем движении они оглушительно шуршали.

Приближаются две девушки. Высокие, прямые, в платьях, обнажающих плечи и почти всю грудь. Одна, в голубом, красавица, со спокойной полуулыбкой как бы прислушивается к своему существованию, нежная, словно цветок, словно часть ухоженной природы странного оазиса в пустыне. Подумалось, что по отношению к такой любви — преклонение и защита. Другая, в белом платье, энергичная, с гордо откинутой назад головой, с надменным, циничным выражением тоже красивого лица. Обе аристократки, обе плод тысячелетнего, может быть, барства, принадлежащие к совсем другому миру, чем горожане на берегу моря.

Белая старается убедить собеседницу.

— Скажи ей, чтобы посоветовала отозвать Рхра. Она тебя послушает. Рхр мужлан, выскочка. Тупой и грубый. Все испортит. А с городом надо решать окончательно. Их же десятки тысяч.

— Тебе не жаль?

— Нет! — воскликнула белая. — Пусть невольные, но враги. Как можно этого не понимать? Я кожей чувствую. И всегда — во все мгновенья жизни. Никого не отпускает эта тяжесть, кроме таких, как ты.

Они уходили, оставляя меня в полной растерянности.

Уходили, такие разные и при том обе сгармонизированные с роскошью этого места. Особенно голубая — сама,



как музыка, и погруженная в мелодию этих аллей, подстриженных деревьев, причудливых павильонов.

Весь парк — какая-то невероятность. Человеческий мир Иакаты вдруг раздвинулся, из плоского стал рельефным с вершинами и провалами.

Прошел-прокрался дальше на юг. Людей мало, только женщины и дети на террасах, на лужайках. Атмосфера покоя, довольства, ощущение гармонии воспитанного, внутренне дисциплинированного человека с ухоженной цивилизованной природой. Но при этом господа и слуги.

Парк к югу кончился. Опять колючая проволока, за ней пустые безжизненные желтые каменные холмы.

Вернулся на тропинку, сел в тени под уступом.

Что это такое? Другая нация, другая культура или, может быть, пришельцы, потомки пришельцев, почему-то обосновавшихся здесь? Ведь человеческий тип тот же. Правда, судя по женщинам, жители оазиса повыше, поизящнее. Впрочем, и среди знакомых иакатов есть высокие — Вьюра, например, Глгл.

С открытием усадьбы сам город приобретает другое содержание и значение. То ли он предполагаемая жертва, то ли угроза обитателям здешних особняков. Да как же получилось, что горожане вообще не знают о существовании этой общины? Если б иначе, Вьюра сказала бы, и на заседании СОДа в комнате старика обязательно зашел бы разговор. Не знают. То ли из города никогда не выходят, то ли не могут видеть усадьбу, как не видели острова. Однако она существует. А раз так, получается, что староста и «ясновидящий» Глгл вовсе не злобные одиночки, набросившиеся на чужака, а представители. За ними сила, общественная система. Иными словами, на планете имеются те самые «внутренние дела», вмешиваться в которые строжайше запрещено.

Сложное положение. Насчет зеленого оазиса ни единого слова не смею никому в городе. Ни в коем случае не быть благодетелем для горожан — вот чего должен

остерегаться. А я уже успел: остров показал, тем самым встав в позу вершителя судеб. Из-за этого, наверное, Бьюра меня и возненавидела... Ну а если городу грозит опасность, что мне делать? Предоставить его самому себе?

Тропинка шла теперь вдоль пологого склона, давая возможность поразмышлять.

Город, усадьба, машина — как все это связывается? Жители оазиса не эксплуатируют горожан. Это и невозможно, поскольку последние ничего не производят. Но чем тогда живут владельцы дворцов? Теми же хлебами, что я видел у земледельцев?.. А знают ли крестьяне об усадьбе — это хорошо бы установить...

Я и не заметил, как очутился в ущелье. Эоловый город остался позади за стеной камня. Шагалось легко.

В мыслях мелькало то, что набралось за мои четыре дня здесь на Иакате.

Во-первых, горожане. Одни видят все, другие нет. Феномен не биологический, а из области социальной психологии. Во-вторых, заложенная кирпичом библиотека, спрятанные в подвал настоящие произведения искусства — признак того, что когда-то был запрет на информацию. Затем этот райский уголок, со всех сторон окруженный холмами. Но главное — скрытая под землей машина, что кормит горожан, определяя их образ жизни. Такое устройство может быть обязано своим появлением разным причинам. Как некий экстравагантный излишек мощного научно-технологического потенциала, созданный обществом, которое уже не находит, чем заняться. Правда, больше похоже на утрату веры в человека, на попытку предотвратить катастрофу...

Дунул ветер. Из ущелья я ступил в пустыню. Мокрый, с прилипшим к спине вещмешком стою у подножия высокой дюны. Начинаясь возле выхода из ущелья, длинным языком она косо легла до самого блеснувшего впереди моря. Мимо такой я в день прилета не про-

ходил, двигаясь к городу. Значит, корабль должен быть справа.

Лезу наверх.

К западу «Аварийца» нет.

Удивился, потом сообразил, что если, впервые осматриваясь в компании недружелюбных земледельцев, я не увидел на горизонте песчаного вала, то отсюда и корабль не должен просматриваться.

На первый взгляд показалось, с обеих сторон безлюдно. Потом справа у моря заметил темную точку.

Бегом у самого берега по влажному песку. Точка росла, превратилась в старика, сидящего у воды. Поздоровался, спросил, известно ли ему, что лежит за холмами в каменной пустыне. Мой собеседник стал подниматься. Он был очень стар, ослаб. Я поспешил помочь ему, но не сразу смог утвердить дрожащее высохшее тело в стоячем положении. Выгоревшие и вместе с тем подетски наивные глаза смотрели на меня со страхом.

— За холмами?.. Не знаю.

— Нет?

— Нет.

— Ну и хорошо.

Я ему не поверил. Как раз из-за этого испуга. Знает, но боится это признать. Мне уже следовало торопиться, однако нельзя было оставлять его, такого слабого, одного, на ногах. Сказал, что помогу сесть, но старик перехватил мою руку тонкими твердыми пальцами.

— Подождите! Я сяду, сяду... Почему вы спросили, не знаю ли я, что там?

— Просто так. — Я пытался его усадить, но он сопротивлялся.

— Но я-то не знаю.

— Понял.

— Может быть, кто-то вам сказал, что мне что-то известно?

— Никто.

— А почему вы спросили именно меня?

— Больше некого — пусто же кругом. Поэтому и спросил.

Старик огляделся, но не успокоился. Еле-еле удалось его усадить, и я побежал дальше. Получалось, были когда-то здесь на Иакате запретные территории — или даже сейчас есть. Не только приближаться к ним, но даже знать об их существовании считалось преступным.

Справа поля, слева море. Длинными полосами лежали выкинутые на песок водоросли. Пахло гниением, солью. Берег постепенно повышался. Чтобы не терять из виду окружающее, я перешел с прочной кромки подсыхающего песка ближе к посевам анлаха. Там по-прежнему не было людей. Видимо, мужчины проходят военное обучение возле города, женщины с детьми остались по домам.

Местность опять понизилась, берег стал пляжем. Оглянувшись, я уже не увидел дюны.

Потом задело за сердце — что-то важное пропустил. Остановился. Прошел несколько шагов назад.

Так и есть. Двойной, «двуствольный», как я его для себя назвал, песчаный мыс. Две полосы параллельно уходят на глубину, узкий канал между ними, и дальше на воде пятно белой пены — признак близко стоящих у поверхности камней. Видел все это раньше — тогда, в первый день, от гнавшихся за мной крестьян сначала именно сюда прибежал.

Вот он, заброшенный клин, остановивший моих преследователей. Вон с той стороны женщина тогда несла хлебцы и вон туда пошла звать Рхра.

Все, как было.

Только без корабля.

Несколько секунд стоял, выпучив глаза. Тупо шарил взглядом по кустам анлаха и кочкам на клину, будто лишь слабость зрения не позволяла мне увидеть «Аварийца». Сознание отказывалось признать факт.

Здесь я его поставил! Прямо передо мной, где сейчас стою. И нету.

Нечто оскорбительное было в том, что так неторжественно узнаю о его отсутствии. Ни прочувствованных речей, ни оркестра. Нет, и только.

Растерялся. Потом взял себя в руки. Ну-ка подумай. Взлететь корабль не мог. Без меня исключено. Конечно, на Лепестке хранится копия личного электрохимического кода — «музыка». В аварийных случаях копию используют. Однако для этого кому-то надо связаться с базой, как положено. Не крикнешь ведь туда, ручкой не поманишь через черную космическую бездну. Пять недель на долет сигнала, столько же по меньшей мере до появления спасателей. А я здесь всего около ста шестидесяти часов.

Что же могло случиться? Разломали «Аварийца» на куски, взорвали и унесли обломки? Но с местной техникой — той, какую я видел, — его даже не оцарапаешь.

Сквозь землю провалился?.. Ближе к истине. Усилиями тех, кто живет в усадьбе, могли выкопать яму рядом с треногой, как-то туда спустить корабль.

Бросился на клин.

Кочки как кочки. Раскидистая желтая трава, на которой третьего дня падал, оскользаясь. Крупный черно-металлический песок, травяной мусор коричневыми соринками. И ни единого следа посадки или взлета. Даже прожога, даже вмятин от лап.

Позвольте, а как же я сюда попал?! Ангелы божьи перенесли с Лепестка?

Потоптался на том месте, где, насколько помнилось, поставил «Аварийца». Отошел. С расстояния шагов в двадцать посмотрел.

Рассмеялся.

Тургора у травы нет. Упругости. Не стоит, поникла.

Все предусмотрели, замаскировали свою работу, а о том, что на жаре без воды трава опустится, не подумали. Много было трудов. Прежде чем рыть глубокую яму, осторожно снимали слой земли с дерном, относили в сторону, чтобы таким же нетронутым после вернуть.

А с кочками не получилось. Корни у здешних растений длинные, не выкопаешь. Пообрывали. Сочли, что трава оправится.

Вернулся к месту посадки. Теперь и сверху бросалось в глаза, какая трава потревожена, какая не тронута. Четко выделялось место, где закопали корабль.

Кругом никого. Сел, посидел.

Итак, книга не спрятана, остается пока со мной. Но повезло, что именно сегодня пришел. Через неделю трава окончательно поднялась бы, ищи-свищи тогда... Ну и знакомство с парнем, каменная долина и — самое главное — усадьба.

Той же дорогой обратно вниз, в каменную чашу, вглядываясь в золотые здания-скалы. Ближе ко дну долины остановился — вдруг заколотилось сердце. В полукилометре от тропинки между черными кольями скал ясно видна освещенная клонящимся от зенита солнцем желтая отвесная скала. И там на самом верху, у неба, идеально ровная полоска пятен. Окна и ничто другое!

Может быть, все-таки не золотой, а настоящий город? Но погибший, вернее, тихо скончавшийся тысячелетие назад. Так захотелось оказаться рядом с окном, вступить через подоконник в подробность той минувшей жизни. Но на это часы нужны — только чтобы до стены добраться через завалы и пропасти. А там как взлететь на сотню метров наверх?.. Побежал дальше.

В Иакату удалось войти лишь поздним вечером. Застава!

Когда знакомым плоскогорьем спустился к полям анлаха, издали увидел вооруженных мотыгами крестьян — по двое ходили в посевах. А слева, ближе к шоссе, от народа черно. «Видящие» организовали охрану полей в несколько линий. Если горожане попробуют прорваться на поля, в нужное место сразу можно бросить подкрепление.

Пошел сквозь анлах, согнувшись, потом пополз. Не-

далеко от города лег в кустах, выжидая момент, чтобы без большой драки проскочить к окраине.

Солнце садилось за городской башней. Воздух стал прохладнее, земля была теплой, почти горячей. Широкая полоса тени от ближних домов легла на посевы. Двое крестьян молча прошли мимо, остановились шагах в десяти от меня, глядя в сторону города. Наверху полוג неба переходил от зеленого к синему, сиреновому, пурпурному оттенками, цвета которых не выразишь словом. Сама бесконечность таилась в глубине, прозрачности, тонкости этих оттенков — была жажда смотреть и смотреть не отрываясь. Лист анлаха у самого лица заключал в себе сокровенные загадки природы, которых нам никогда до конца не познать. Море слева застывало разноцветными полосами, словно осторожно налитый в гигантскую чашу расплавленный металл. Полная тишина. Мгновение остановилось между прошлым и будущим, почти невыносимыми были красота и величие окружающего. Вдруг забыл, кто я, где нахожусь и зачем.

Один из стражей неподалеку громко откашлялся — звук пролетел над полем, как большая быстрая птица. Сказал другому:

— Здесь спелые. Завтра можно ломать.

Включилось время. Посыпались секунды.

Вскочил, помчался к стене домов. Из второй линии заставы трое бросились навстречу. Проскочил. Сзади кинули мотыгу. Мимо. Вдоль границы посевов набегало еще несколько человек, ожила, двинулась толпа у берега.

А у меня все рассчитано.

Окраина пуста. У сквера шумно илюдно. И все молодежь, взрослых только единицы. Доносится пиликанье какого-то инструмента, несколько пар танцуют. Разговоры, споры. У памятника передают друг другу газету. Пристроился к одной группе, дождался своей очереди.

На первой странице отчет о сегодняшнем дневном

заседании СОДа. Начинается цитатами из выступлений.

«Песок наступает на нас со скоростью тридцать три метра в год. Если так дальше, через двести лет города не станет».

«Как представитель только что созданной Народной Партии требую для нее места в газете».

«Самостоятельность или букун!»

Небольшой двухколонник с подписью «Доброволица Тайат», озаглавленный «Давайте вспомним», призывал молодежь активно общаться с пожилыми, выпрашивая их о прошлом, собирать по чердакам и подвалам старые вещи, нести их для консультации в организованную для этого Музейную Комиссию. «Не зная, откуда, — утверждала «доброволица», — не пойдем, куда».

— Хотите пить? Это сок анлаха.

За локоть меня теребил мальчишка с бокалом из толстого стекла. Рядом другой с помятым, но чистым чайником. Видимо, двое как раз обследовали чердак — начало самостоятельной деятельности.

Взял бокал, но тут же сунул обратно. Невдалеке шла девушка, какая-то отдаленная от царящего вокруг оживления. Поглядывала по сторонам.

Догнал.

— Вьюра...

Посмотрела на меня.

— Идемте. В городе полно видящих.

Пошагали. От сквера повернули в узкую пустынную улицу. Солнце уже село. Сделалось темно.

— Книга пропала. Я как раз придумала, куда спрятать. А ее унесли. Взломали пол в вашей комнате... Вы, наверное, под пол спрятали, когда уходили?

— Вот она. — Хлопнул себя по груди.

— Какое счастье! — Она протянула руки, как будто собираясь взять меня за плечи, но опустила. — Тогда сейчас будем прятать. Идемте ко мне.

Заторопились. Она скороговоркой рассказывала:

— На Совете страшные споры. Уже четыре партии



претендуют на руководство, завтра будет десять. Народная Партия и Крестьянское Благополучие грозятся создать свое правительство. — Резко повернула направо в переулочек. — Все серьезное заваливают криком. Это видящие или те, кто от них. — Быстро вошли в какой-то двор, вышли через другие ворота. — Правда, начинаем обрастать соратниками. Пришла женщина-экскурсовод из музея, готова помогать. Ее зовут Оте... Разные люди что-то приносят, предлагают.

Снова повороты — налево, направо. Подумал, что возвращаемся к скверу. Но в новом дворе девушка остановилась.

— Вот мы пришли. Это я оглядывалась, путала дорогу, потому что следят. Не я им, конечно, нужна. За вами охотятся. Вы еще не все знаете. Того старика, у которого мы вас вчера ждали, уже нет. Убили... Подождите меня минуту. Мать с отцом уже легли.

Наверху в четырехугольнике неба мерцали звезды. Прогулялся уснувшим двором, зашел в черноту подворотни.

Итак, моего старика уже нет на свете. Первая жертва перемен.

Выходит, были и есть подвижники на Иакате. Из поколения в поколение шло. Была великая цивилизация — запасник музея и машина свидетельствуют, потом тяжелейший кризис. В ту эпоху голодные ни о чем другом, кроме еды, не думали. А кто-то все-таки гасил пожары в библиотеках, что-то старался запомнить, умирая, сообщал сыну, дочери. Так, как старику его дед про книгу-комплект. И пронесли сквозь безнадежные столетия. Когда думаешь о таком, мурашки по спине.

С чем-то большим, светлым девушка появилась в дверях.

— Вот.

— Что это?

— Пожарный костюм. Одна женщина нашла у себя, принесла в редакцию. И веревка.

— Зачем?

Оглянулась на темные окна.

— Давайте отойдем вот сюда. Пусть родители вас увидят. Сказала, что буду не одна. Но они все равно смотрят, проверяют. Пожилые, беспокоятся за меня. Я им еще не все рассказываю... По-моему, в таком костюме можно пробиться сквозь звук.

— В машину?

— Да. И там спрятать книгу. — Подала мне сверток. — Видите, какой толстый материал. Идемте... Наши сейчас на острове. Змтт тоже с ними. Организуют охрану жуговой рощи. Прошлой ночью там кто-то срубил почти треть деревьев.

Шли переулками. Я рассказывал о своих приключениях. Кончил. После молчанья она сказала:

— Выходит, что человек, который направил вас на тропинку, хотел, чтобы усадьба была обнаружена.

— Может быть. Скорее всего так.

На знакомой мне улице у здания с колоннами длинная шумная очередь. Окна главного корпуса освобождены от кирпичей, из библиотеки столбы света. Внутри флигелей мелькают фигуры. Понял, что убирают «Попечителя», вешают картины из запасника. Настоящий будет музей.

Вьюра хотела идти к подземному коридору кратчайшим путем. Я предложил спуститься мимо башни на затоптанный пляж, пройти подальше вправо и уже оттуда к зданию в пустыне. Чтобы от города не было следов.

Вода в море была такой теплой, что даже не чувствовалась. Через полкилометра поднялись на берег, пошли невысокими барханами. Из моего свертка выпал какой-то пакет, скатился по склону. Прыгнул вниз, подобрал. Поднялся — девушка лежит на песке.

— Что с вами, Вьюра?

— Ничего. — Ясный голос.

— Вам плохо?

— Хорошо.

Через решетку ворот в кирпичной стене я осмотрел двор. Давние мои следы заметены, после как будто никто не приходил. Повернулся к девушке. Она ничком у моих ног. Тут меня наконец осенило. Она-то с самого острова без сна. Я сегодня и вчера отсыпался, а у нее газета, СОД.

Сказал, чтобы полежала, пока обойду стену кругом.

— Ладно.

Пошел. Сзади шаги.

— Да вы лежите.

— Ладно.

Пошагал, она за мной.

И все-таки меня остановило. Даже костюм не помог. В белом зале показалось, что страшный рев не снаружи идет, а во мне самом рождается, накапливает ярость в клетках тела, грозя их все взорвать. Руки-ноги не мои, хочется из себя выскочить. Упал на бок, так перекатился до самой двери, рванул за ручку, вскочил, бросился внутрь. Шатнуло. Падаю... Очнулся. Вьюра, спокойная, рядом, расстегивает на мне костюм. Ощущение, будто нас обволакивает прозрачная, мягкая среда — не воздух, но нечто, позволяющее дышать. Потом осознал — тишина.

Дверь в зал осталась открытой. Это и выключило звук, так что девушка, увидев меня упавшего, свободно пробежала коридор и зал.

Пять дверей перед нами. Спросил Вьюру, нет ли у нее с собой какой-нибудь маленькой вещицы. Дала карандашик. Подбросили его вертящимся к потолку, упал, указывая заточенным концом на вторую дверь слева. Новый коридор ветвился. Всякий раз бросали карандаш, чтобы только случайность определила, куда дальше идти. Как только останавливались, девушка садилась спиной к стене, сразу засыпала. Едва лишь я делал шаг вперед, в ней что-то включалось, вставала, шла за мной. Понятно было, что пока мы только в управляющей части системы. Огромной, которая включает ма-

шинные цеха, трубопроводы и резервуары, атомные котлы, преобразующие неорганическую материю в органику — подземный город, в десятки, пожалуй, раз, превышающий тот, что над нами. Поля анлаха — лишь маленькая добавка к тому, что машина сама создает.

Коридоры и коридоры. Открылся большой зал. Там несколькими рядами что-то вроде стендов со стеклянными крышками. Как в музее выставка мелких предметов искусства. Только стеклянные столешницы не на ножках, а на тумбах с ящиками. Однако под стеклом ни камней, ни древних браслетов. Затежливо вырезанные гладкие из синеватого металла пластины по десятку в каждом. Открыл прозрачную крышку, взял одну. Тотчас все другие перестроились на матовой поверхности. Вглубь и вширь зала покатился шелест — на всех столах по-разному перемещались пластины. Положил свою обратно. Опять шелест. Всюду восстановился прежний порядок. С помощью подброшенного карандаша выбрал ряд и стол. Выдвинул у боковой тумбы ящик. Думал, чертежи, оказалось, что там ноты. Во всяком случае, что-то напоминающее запись музыкального произведения. Век будешь тут сидеть и не поймешь. Сунул под ноты книгу, задвинул ящик. Вьюра спала, положив голову на колени, спиной к тумбе. Расстелил у стены зала пожарный костюм, перенес девушку туда.

В полусне, не открывая глаз, она сказала:

— Пожалуйста, не трогайте меня. Я сама.

В тетрадошке девушки схема нашего пути в этот зал была уже сложной. Перерисовал ее еще на два листка, чтобы отдать в Совет. Лег неподалеку от Вьюры.

Не спалось. Из кусочков стал складывать предпологаемое прошлое Иакаты.

Видимо, в некий исторический момент на планете свершилось отделение производителей и потребителей от тех, кто распределяет. Не так, чтобы от завода и с поля через скромную координирующую систему непосредственно туда, где нуждаются, а сначала все цели-

ком в распоряжение центрального аппарата. Углы треугольника расходились все дальше. Распределяющие — они же естественным путем стали управляющими — образовали особую касту, которая постепенно приобрела полную власть над ресурсами Иакаты. Но при этом сами стали деградировать. Свободные от контроля снизу, теряя связь с производством и понимание реальной обстановки на планете, они стали озабочиваться только увеличением собственных привилегий. Сверху к производителям шел поток поспешных, необоснованных решений, губивших, может быть, целые континенты — бурной деятельностью аппарат власти пытался оправдать в глазах народа свою необходимость. (Черное пятно ночи на средней широте северного полушария — один из неудачных глобальных экспериментов регулировки климата.)

Внизу исполнители, потерявшие веру в чиновников, понимающие, что от них самих ничего не зависит, уже кое-как, спустя рукава, осуществляли даже и редкие разумные планы. В экономике, науке, искусстве прекратилось нормальное состязание способностей — бездарный, вялый представитель наследственной правящей элиты имел все преимущества перед талантливым и смелым выходцем из народной массы, который как-то мог бы поправить то либо иное дело. От десятилетия к десятилетию снижался уровень народного благосостояния. Чтобы лишить управляемых возможности сравнивать гнетущее настоящее с привлекательным прошлым, сжигались архивы, уничтожались библиотеки, музеи. Правдивая вертикальная и горизонтальная информация исчезла. Верхи сами не хотели узнавать ничего тревожащего, адресованные низам через средства связи сообщения ограничивались бессмысленным и лживым восхвалением существующего порядка. Иакат, не принадлежавший к избранным, к номенклатуре, уже ничего не знал о мире, в котором живет, — хоть о ближних, хоть о дальних его пределах. Он шел по улице и представ-

ления не имел о том, чем заняты сотрудники учреждения в доме без вывески, куда посторонних не пускают, что изготавливает завод за высокими глухими стенами. Он выходил на окраину, и никто не мог сказать ему, насколько далеко от города простираются поля анлаха, как много с них собирают, как урожай расходуется. Строжайшую секретность во всем управлении рассматривали как один из устоев своей власти. (Отсюда испуг старика, которого я расспрашивал на берегу.) К пустопорожним ритуалам свелись общественная жизнь и общественная деятельность. Упали изобретательность, мастерство — потомки великих инженеров, искусных умельцев с удивлением осматривали обнаруженные где-нибудь на городской свалке остатки сложнейших механизмов, столь не похожие на то, что сходило с их собственного конвейера. Начались перебои в снабжении рядовых иакатов всем необходимым, в городах отказывали коммунальные службы. Потеряли действенность объединяющие людей законы и нормы поведения, общество начало дичать. Цветущие когда-то края превращались в пустыни, съеживалась среда обитания.

В этих условиях группа еще оставшихся настоящих ученых пришла к выводу, что для спасения остатков иакатского человечества надо создать конструкцию, которая независимо от людей — лишивших себя контактов с действительностью аппаратчиков и отучившихся работать производителей — сама могла бы стабилизировать положение на Иакате. Та же замкнутая технология. Чиновная элита, осознавшая свою беспомощность, испуганная глобальным кризисом, который и ей самой предвещал гибель, одобрила гигантский проект, выделила средства. Вероятно, подземную машину строили веками, как Шартрский собор. Но не успели, не доделали. Разложение зашло слишком далеко. Среди молодежи резко уменьшилось число тех, кто готов был идти в технические вузы. Активные и проворные старались устроиться поближе к руководящей группе. Кто-то ухо-

дил из-под обломков рушащейся цивилизации на оставленные ею и уже одичавшие пустыри — отсюда неоднократно возникавшие при мне разговоры о «крае». Слабые ждали чуда, отдавались всевозможным мистическим учениям, всякими путями, чтобы забыть об окружающем, погружались в нирвану и быстро гибли. Оставшиеся в небольшом числе потомки первых строителей системы не смогли полностью ее замкнуть. Подземная машина, на какую у них хватило сил, все же требовала ограниченного участия человека — подаваемой извне биомассы, борьбы с наступающим песком. Поэтому предусмотрели ввести в изготавливаемую устройством пищу особые вещества, феромоны, наподобие тех, что в пчелином улье матка рассылает своему рою. Феромоны должны были заставлять даже самых ленивых, несовестливых иакатов изредка участвовать в несложной работе. Такой машина и была пущена в ход. Случилось это, вероятно, в период, когда руководящий клан планеты возглавил тот, кого называли Попечителем. От того и заполнен весь музей древней столицы его портретами. Заключительным подвигом последнего поколения строителей было, наверное, создание «комплекта». Делали с надеждой, что в будущем найдутся те, которые поймут, расшифруют, восстановят былое величие Иакаты. Можно представить себе этот заключительный эпизод. Седой старик — его соратников уже нет в живых — кончает переплетать книгу. Вот все, включен охранительный звук, чтобы небрежная рука глупца не нарушила тонко сбалансированные процессы, и... человек идет в пустыню. (Я уже знал, как здесь умирают, — погибнуть от жажды, высохнуть, раствориться в песках.)

Но букуи принес передышку. Уверенно обеспеченные люди ослабили давление на природу, эрозия окружающей среды приостановилась. Здоровая пища, одежда и прочее необходимое автоматически подавалось из-под земли — не изобилие, а хоть и унылый, но все-таки

достаток. Распределители остались не у дел, машина сама распределяла. Однако правнукам аппаратчиков уже не нужна была власть над производителями — этих последних, кстати, уже и не осталось на планете, одни потребители. Наследники чиновников, владевшие информацией и доставшимися от дедов материальными ресурсами, рьяно взялись благоустраиваться. Были захвачены все уголки еще не загубленной природы, совершенствовалась строго законспирированная система снабжения избранных естественной пищей, что освобождало их от приказов букуна. В укромных местах возникали дворцы, где хозяев обслуживала хорошо подкармливаемая челядь. (Сукин сын этот Глгл — не в пустыню уходит поститься, а к своим лакеям роскошествовать!) Бывшим же производителям остались сытная каша и привычные ритуалы: повторяющаяся газета, одинаковые картины, «митинги» на площади, когда на трибуне никого. Вероятно, в эпоху после создания машины и произошло окончательное разделение общества на видящих и тех, кто частично слеп. Издавна для производителей недоступны были не только места, где собиралась на совещания, отдыхала, развлекалась и жила чиновная знать, но и те многочисленные службы, что ее холили. Поэтому народ сначала привык воспринимать все это как для него практически несуществующее, а при машине, накормившей голодных, вовсе забыл, перестал замечать и, в конце концов, видеть.

Нет, не законы развития и упадка разума привели Иакату в состояние, в каком я ее здесь застал. Социальная несправедливость. Нашлись люди, упорно жаждавшие власти, того, чтобы им было лучше, чем другим, а там хоть трава не расти. Вот она и перестала.

С этими мыслями я задремал. Проснулся через несколько часов. Хотелось еще раз взглянуть на книгу. Подошел к стенду, выдвинул ящик.

Черт возьми! Пусто.

Схватился за свои листки. Конечно, этот же самый



стол. И верхний лист с нотами тот, что я видел. Значит, пока я спал, Вьюра взяла, перепрятала. Но почему?.. Уж кого-кого, а меня подозревать в связи со старостой и Гллом...

Рассердиться на нее неспособен. Но оскорблен. Не знаю даже, как в дальнейшем вести себя с ней и вообще на Совете.

Оглянулся на девушку. Сидит, смотрит на меня. Подошел, протянул ей листки, где нарисован наш путь по коридорам, сказал, что раз она мне не доверяет, пусть возьмет листки себе, отметит на них новое место комплекта. А мне показывать не обязательно.

Молча взяла.

Но потом это как-то забылось. Следующие несколько дней пролетели, словно при сильном ветре клубы дыма от костра.

Утром, когда вышли из подземной машины, рассказал на Совете, чем, по-моему, Иаката была и чем стала. Слушали затаив дыхание, как сироты, впервые узнавшие, кто их родители.

Напротив окон редакции, в сквере и возле сквера, что-то вроде народного гуляния. На ограде вывешиваются и снимаются лозунги. Иногда между теми, кто хочет повесить новое, и теми, кто охраняет свое, споры. Когда начал говорить, передо мной повешенный на шею Попечителя лозунг: «ТОЛЬКО БУКУН МОЖЕТ СПАСАТИ НАС!» Его сменила надпись корявыми буквами: «ЛУЧШЕ ГОЛОД, ЧЕМ БУКУН!» Тут же прикрепили еще одну: «НИ БУКУН, НИ ГОЛОД, А САМИМ ДЕЛАТЬ ПИЩУ!» К концу моего сообщения по улице прошла маленькая демонстрация с плакатом «СВОБОДУ РЕЛИГИИ», хотя исповедовать любую никто не запрещал, да и, насколько я знал, у иакатов никакой нет. Так как окна комнаты, где заседали, без рам и стекол, из-за шума говорить приходилось очень громко. Несколько раз Крдж высовывался на улицу, просил со-

бравшихся не кричать. Но там стихали лишь ненадолго. Я кончил.

Молодая черноволосая женщина — добровольца Тайат, чью статью я читал в газете, — сказала:

— Очень странно. Гигантских размеров планета, леса и моря. Развитая цивилизация с огромными городами, мощной промышленностью. И все это превратили в пустыню крошечные чувства ничтожной группы маленьких людей. Что-то здесь не так.

— Результат во всяком случае налицо, — вступил Втв, высокий блондин, с которым я познакомился в первое посещение редакции. — С чего начинать — вот вопрос. Сделать людей самостоятельными, чтобы их ни с того ни с сего не кидало на площадь. Избавиться от букуна.

— От диктата букуна.

Все заговорили одновременно.

— Изучить машину.

— Изучить себя, чтобы узнать, как букун на нас действует. Это легче.

— Исследовать сам букун. Еще легче.

За минуты, пока длился диалог, на решетке появился призыв вступать в клубы — ниже был список, который я издали не мог прочесть. Прошла женщина с плакатом: «ИМЕЮ СПИЦЫ, УЧУ ВЯЗАТЬ». Шныряли мальчишки с анлаховым соком. На статую повесили надпись: «НАДО ВСПОМНИТЬ». Рядом сразу прикрепили: «СНАЧАЛА НАДО УЗНАТЬ, А ТО ВСПОМИНАТЬ НЕЧ...» — на последние буквы не хватило бумаги.

— Слушайте! — воскликнула женщина-экскурсовод из музея. — Что, если городу питаться теми же хлебцами, какие отвозят в деревню? Крестьяне их едят, не ходят на митинги, не читают дурацкую «НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ». — Запнулась, оглядела присутствующих. — Извините.

— И нас букун гоняет, — сказал парень, который

вчера принес стебель клубники. — На полевые работы. Часа по три в день.

— Ну и что, пойдем на полевые! Здесь, в городе. Сделаем огороды во дворах. Еще с какой охотой люди возьмутся.

— Хлебцев на всех не хватит.

— Сами станем печь. Из каши. Букуна все равно поступает много лишнего. Машина рассчитана на то население, какое раньше было.

— Лишний можно использовать как удобрение. Смешивать с песком. Посадим вокруг города деревья, жуг. Мы же все можем, если только опомнимся.

За окнами сияло солнце. На улице молодежь — говор, шум.

Вьюра вскочила со стула.

— Какие прекрасные мгновения! Чиновников-распределителей нет, все запреты кончились. А мы уже не спим, проснулись. Сами думаем, решаем, будем делать. Вся планета — пустыня, а мы вырастим леса, луга с травой раскинутся. Целый мир перед нами, будем восстанавливать на нем природу... Какое счастье! Неужели это возможно?

Наборщик из типографии, все время молчавший, сказал:

— Вчера весь день с полей не подвозили анлах. Ни одного трактора не было. Я много народу опрашивал, никто не видел. И сегодня. А в столовой утром букун был какой-то жидкий.

Улица внизу вдруг стихла. Потом снова зашумела, но по-другому. Через сквер к редакции шел человек, перед ним расступались. Ближе к дому он скрылся из поля нашего зрения. Потом в коридоре прозвучали шаги.

Вошел Змтт. Куртка на плече разорвана, волосы в беспорядке. От уха по шее полоска засыхающей крови. Станным образом при этом он был величествен.

— У анлаха происшествие. Мальчишки рвали ветви

с початками. Одного крестьяне схватили, потащили к старейшинам. Было столкновение.

В коридоре появился юноша. Робко вступил в комнату.

— Вы Совет?.. Там человека убило.

— Где?

— На пляже... То есть нет. Потом, позже. На пляже какие-то двое уговаривали остановить машину. В пустыню к трубе с ними пошло много народу. Там коридор с железными стенами. Передние почувствовали звук, хотели остановиться. Задние давят — им же не слышно было. Тех, кто впереди, затолкали в большую белую комнату. Один умер. Другого вытащили, привели в себя.

— Кто уговаривал? — Крдж поднялся.

— Сказали, из Совета.

— А как выглядели? Не запомнил?

— Ну... мужчины. Взрослые.

Юноша шатнулся. Вьюра усадила его на стул.

— Который умер, не из тех двоих?

— Нет.

— А тот, кого вытащили?

— Я.

— Значит, так. — Крдж оглядел всех. — Вत्व, подбери на улице добровольцев, чтобы поставить круглосуточную охрану там у входа в коридор. В четыре смены, человек по пять.

Вत्व тут же вышел. Доброволица Тайат намочила носовой платок, вытирала Змтту лицо и шею.

— Это не из СОДа прислали разрушать машину? — Теперь было видно, что не юноша, скорее мальчик. Он еле держался на стуле.

— Нет, конечно... Проводите его кто-нибудь домой. — Крдж повернулся к наборщику. — Посадки жуга в городе под строжайший контроль. Никому ни яблочка, только в трубы... Вьюра, организуй продовольственную комиссию, и сразу же начинайте работать.

Обойти все столовые, пусть каждого обедающего отмечают — меткой, что ли, на руке, царапиной. Чтобы никто не ел два раза. Лишний букун сушить на солнце.

— Да. — Вьюра вышла.

— Сергей, в легендах говорится, что когда-то на Иакате были войны. Но мы здесь в городе никогда не дрались так, чтобы много людей участвовало. У нас специалистов нет. Мы соберем народ, возьмем лопаты, а вы организуйте их в отряды. Согласны?.. Нам надо отогнать крестьянские заставы, чтобы сами горожане заготавливали анлах для машины.

На улице уже не было Втва — ушел с теми, кого собрал. Вьюра стояла на скамье, ее слушала толпа парней и девушек. Грузный мужчина вешал на постамент чугунного Попечителя плакат: «ВЛАСТЬ — НАРОДНОЙ ПАРТИИ!» Змтт подошел, сорвал. Грузный посмотрел на него, пошагал прочь.

— Пойдем по столовым, — предложил Крдж. — Сейчас как раз обедают. Соберем мужчин.

К восточной окраине, за которой простерлись поля анлаха, добрались только после полудня. В городе молодые шли в ополчение с энтузиазмом, а старших приходилось долго уговаривать, объяснять, что без анлаха не будет букуна. Кое-как сформировали шесть рот, вооруженных лопатами, топорами, металлическими прутьями. Некоторые изготовили себе что-то вроде пик. На окраине улицы забиты народом. Змтт был с нами, его приветствовали как героя — в одиночку отбил городского мальчика от двоих, пытавшихся его куда-то увести.

У крайнего дома какой-то старик отозвал Крджа в пустую подворстню. Там они стали вдвоем. Старик что-то говорил, Крдж слушал с полным вниманием, иногда на миг оборачивался к нам, знаком показывая, чтоб мы ждали. Это было долго — почти полчаса. Колонна, которую мы вели из центра, нарушила строй. Некоторые стали садиться прямо на землю, другие про-

хаживались взад-вперед. Крдж вернулся из подворотни очень серьезный, встревоженный. В свою очередь, отозвал в сторону Втва, крестьянского парня, которого звали Рбдвом, и меня. Оказывается, старик рассказал Крджу об усадьбе. Кроме меня, все были поражены. Я же почувствовал, что гора с плеч свалилась, могу наконец избавиться от бремени той тайны, которую носил с собой. Впрочем, в том, что сообщил старик, для меня тоже была важная новость — у видящих в усадьбе есть обученный боевой отряд. Состоит из младших сыновей, которые не наследуют дворцов и особняков, а только обучаются сражаться. Они сильные, ловкие, в бою каждый стоит нескольких обыкновенных городских иакатов. Тут мы все четверо вспомнили группу одетых в синее рослых мужчин, которых во время первого ночного заседания СОДа под утро видели из комнаты старого маляра уходящими из города в пустыню. Серьезные противники. Но, правда, согласно подсчетам старика, получалось, что усадьба может выставить около двух сотен обученных бойцов. У нас же в городе, как мы с Крджем и Втвом прикинули, не меньше двенадцати тысяч способных сражаться мужчин. И сейчас здесь на окраине шесть сотен.

Так или иначе надо было делать то, что решили, то есть обеспечить горожанам доступ к анлаху. Опять построил шесть наших рот. Пока ходили с Втвом, ровняли ряды, в сознании все время мысль, что вот не хочу, а получается, что вмешиваюсь. Да и как избежать, можно ли вообще удержаться, если сам слышал в парке слова «С городом надо решать»? Что-то в них недоброе, хотя и непонятно, как две примерно тысячи обитателей усадьбы (это вместе с прислугой) могут решать судьбу десятков тысяч горожан. Да и вообще сама идея невмешательства во внутренние дела других миров несет в себе некую несообразность. Вмешиваемся уже тем, что существуем, даем знать о своем существовании. Это одно оказывает влияние на обстановку там, куда яви-

лись. Вмешиваемся, делаем что-то, и вмешиваемся, когда ничего не делаем, — на этот раз своим неделаньем.

Так или иначе вышли наконец из города. «Сыновей» пока не видно — вероятно, в усадьбе решили, что с нас хватит и крестьян. Несколькими линиями перед нами сотни три мужчин с лопатами и мотыгами. Оставив свое войско позади, только вдвоем с Крджем подошли к передовой шеренге, объяснили, что, поскольку прекратилась доставка анлаха, горожанам надо самим его заготавливать. Спросили, почему не пускают нас на поля. Те, к кому обратились, не отвечали, переминались с ноги на ногу. Только один нервный мужчина замахивался на нас мотыгой. Другой, степенный, его остановил, сказал, что сам ответить не может, пойдет спросит у старейшин. Пошагал к стоящей поодаль группе. За это время Втв, как у нас с ним было договорено, развернул три наши роты перед крестьянами (с обеих сторон получилось примерно поровну), остальные оставил в резерве.

Опять ждали. Потом крестьянин принес ультиматум. Во-первых, город должен выдать чужого человека, во-вторых, очистить остров. Тогда возобновится подвоз анлаха. Крдж ответил, что чужих среди нас нет, остров принадлежит городу, а хлебцы деревня получит только в обмен на «кукурузу». Опять минут двадцать ждали возвращения связного. Наконец он пошел к линии. В ту же минуту со стороны крестьянского штаба донесся певучий звук трубы. Задние линии крестьян подошли, соединились с передовой, все вместе двинулись к нам. Мотыги, лопаты занесены. Я тоже отдал команду, двинулись вперед и наши. Обе стороны сошлись. Никто не решался начать. Через две-три минуты поднятое оружие стало опускаться — руки устали держать на весу. На обеих сторонах оказались знакомые, посыпались реплики. Сзади от города на анлах набежали мальчишки, за ними потянулись взрослые, тоже стали ломать зеленые ветви. Крестьяне не препятствовали, ста-

ли поодиночке и группами уходить. За ними потянулась и группа старост. С грядок анлаха на окраину уже спешили горожане с большими зелеными охапками в руках. Наши роты распались, пошли в город. Пошагали назад и мы, командиры. Слух о том, чем кончилась «битва», обгонял нас — навстречу улыбки, восклицания. По дороге к центру зашли в столовую. Подавая миски, официантки каждому ставят зеленое пятнышко на внутренней стороне предплечья — здесь, оказывается, знали водоросль, от которой, если возьмешься, рук не отмоешь.

Солнце зашло. На улицах возле труб груды анлаха — нанесли столько, что спускать в машину пришлось постепенно. Тлеют огоньки несложных печей — четыре кирпича и железный лист над ними. Это Продовольственная Комиссия сушит лишний букун.

Опять СОД заседал полночи. Крдж рассказал про усадьбу, затем стали обсуждать вопрос, почему видящие так яростно реагируют на то, что город осваивает остров.

— Потому что мы, жители города, — сказала Бьюра, — вообще не нужны им. Мешаем. В усадьбе, как можно понять, создано феодальное общество. Они боятся города. Хотят, чтобы мы не возрождались, а вымерли.

— Причем такое феодальное общество, — подхватил Крдж, — что господ не меньше, чем прислуги, а больше. В крайнем случае поровну. От прошлого Иакаты осталась такая технология земледелия, что один работник может прокормить десяток лентяев. Анлах не требует почти никакого ухода.

Тут спорить было не о чем. У нас на родной планете на Западе множество представителей правящего класса давно мечтают остаться лишь с машинами и своей непосредственной личной обслугой, с ненавистью смотрят, проезжая на автомобиле, на разросшиеся городские окраины с их фавелами, бидонвиями, втайне желая



вообще избавиться от безработных, от нищих — источника кризисов, конфликтов. Неожданную шутку сыграла история с теми, кто тысячелетиями обрабатывал землю, веками стоял у станков, считал в конторах. НТР принудила силы самой природы производить необходимое для человека, и власть имущим люди-труженики в значительной своей части стали просто не нужны.

Председатель Статистической Комиссии сообщил, что примерно треть городских домов покинуты, пусты, а население составляет около шестидесяти тысяч. Последняя цифра позволила прикинуть, что тысяч пятнадцать мужчин город способен выставить против немногочисленных «младших сыновей» из усадьбы.

Экскурсовод Оте сказала, что от десятилетия к десятилетию все опаснее становится зависимость горожан от машины, устройства которой никто не знает, что растет и растет отрицательно влияющая на икатское общество неуверенность существования. В этой связи постановили немедленно взяться за сбор металла, дерева в покинутых домах, чтобы в ближайшее время создать хотя бы начатки самостоятельного производства.

Вьюра доложила о работе Продовольственной Комиссии. Из оставшегося в столовых букуна насушено большое количество сухарей-лепешек, которые вместе с хлебцами, что раньше вывозила деревня, складированы в старой башне. Разведываются ресурсы прибрежных морских вод. Рыбы много, особенно мелкой, но пока неясно, как ее добывать.

А город долго не засыпал, празднуя «победу» над крестьянским войском. Чтобы шум не мешал работе СОДа, собрались на этот раз в комнате с другой стороны здания. Но и тут внизу ходили группы с разговорами, смехом, песнями, а вдали пляж был усеян огнями.

Кончили далеко за полночь, когда гуляющие уже с час как уgomонились. На улице темнота, тишина. Не вы-

держал, подошел к Вьюре, спросил, не надо ли ее проводить.

Подняла на меня удивленный взгляд.

— Зачем?

Как будто не она чуть не обняла меня, узнав, что комплект не похищен, не она говорила, что за ней следят. Как будто не были вместе в машине.

Позади нас Оте воскликнула:

— Что это?.. Смотрите!

Повернулись к скверу. Что-то в нем изменилось. И сильно. Но что же именно?

Попечителя нет!

Сначала мысль была, что таким способом молодежь выразила свое презрение к отраженному в музее культу давно умершего властелина Иакаты. Но в этом случае дело ограничилось бы тем, что опрокинули бы памятник. А тут вовсе унесли и чугунную фигуру и постамент — не похоже на простое баловство.

Вернее, постамент укатали. Даже при свете звезд можно было, присмотревшись, различить ровную, широкую проматую в земле дорожку и следы множества людей.

Наклонился, стал рассматривать. Крдж сбегал наверх в редакцию за свечкой-водорослью, посветил мне. Отпечатки совсем свежие, четкие на пыльных дорожках; их пока ничуть не сгладил ночной ветерок. Получалось, здесь, под носом у заседавшего СОДа, час, может быть, назад толкалась, трудилась целая толпа.

Следы вели в самую отдаленную от моря и уже опустевшую, брошенную жителями северную часть города. Все члены Совета пошли вдоль них, растянувшись цепочкой.

Из ближайшей трубы-люка вдруг грохот, скрежет, железный стон. Одновременно почувствовал, как почва вздрогнула у меня под ногами, будто нечто твердое выснулось снизу, легонько ударило и убралось. Я переступил, Крдж рядом переступил, и это движение пока-

тило дальше вдоль цепочки — Вьюра, Оте, Тайат, Втв и другие опасливо шагали в сторону, смотрели под ноги.

Еще толчок, не сотрясший дома вблизи, но ощутимый.

Замерли на месте, ожидая, что будет дальше. Время как остановилось.

Но ничего не было.

Снова пошагали по следу. Возникла какая-то натянутость. Молчали. Никто не решался выразить в словах сжавшую сердце тревогу. Как если бы первым сказать, что с машиной беда и с городом тоже, означало бы признать непоправимое, тем самым вызывая его.

Минут через десять под ногами опять пробежала волна. В том люке, мимо которого проходили, душераздирающий скрежет — что-то неживое, твердое из последних сил сопротивлялось чьей-то давящей мощи, уже готовое сломиться.

Не дожидаясь этого, пошли дальше. Черные окна пустых домов смотрелись, словно глазницы черепа.

Послышался грохот, как в шаровой мельнице. Усиливался по мере нашего продвижения по следу. Впереди середину улицы перегородила гора. Поднялись, увязая в песке. Мостовая разрыта, внизу, в глубокой яме металлическое или иное какое-то покрытие машины. В нем большая дыра с рваными краями. Оттуда грохот и льющийся неяркий свет. Мы с Крджем осторожно спустились. В дыре светящийся, пахнущий маслом туман, сквозь который ничего не увидеть. Понятно стало, что исчезновение литой фигуры вместе с постаментом и выкопанная яма — результат продуманной, по минутам, может быть, скоординированной акции. Пока одна группа заваливала в сквере памятник и доставляла его сюда, вторая приготовила яму. Тяжкий камень, скатившийся по склону, пробил дыру, в нее за постаментом проследовал и Попечитель.

Когда отошли от грохочущей ямы, первой высказалась Вьюра:

— Давайте с этой ночи не расходиться. Будем все жить в одном месте. Во всяком случае ночевать. Лучше всего около башни.

Здравая мысль. Разместились в красном кирпичном неоштукатуренном доме напротив башни в двух больших квартирах — отдельно мужчины и женщины. Но тут же сошлись в мужском помещении. Не засыпали до утра, обсуждая, что делать, если в столовых букун не пойдет из труб, чем прокормить шестьдесят тысяч народу. Были предложения изготавить из старой одежды сачки и сети для ловли рыбы, большими отрядами выйти на анлах, собирать там даже незрелые початки. На рассвете Втв сходил в ближайшую столовую — букуна нет ни густого, ни жидкого, у дверей испуганная недоумевающая толпа. Вьюра заявила, что запасенных хлебцев и лепешек целому городу не хватит даже на один день, поэтому они будут выдаваться только детям до десяти лет. С этим она ушла созывать своих активистов. Через несколько минут после ее ухода появился разыскавший нас посланец от той роты, что была оставлена на восточной окраине возле полей анлаха. Сказал, что вместо крестьян на охрану посевов стали рослые молодые мужчины в синих комбинезонах. Очень сильные, быстрые — взрослых горожан швыряют от себя шагов на пять, грозят большими ножами. Обсудив положение, пришли к выводу, что надо подготовить человек пятьсот-шестьсот вооруженных, наскоро обучить и дать «младшим сыновьям» бой.

Слушал я все эти разговоры и сам принимал в них участие без малейшей веры в успех. Понимал, что несколько тонн зеленой массы, подвозимой прежде тракторами, — лишь частица идущего из-под земли в трубы букуна. Уже был уверен, что машина куда сложнее, чем думают о ней члены Совета и думал сам. Преобразованная в органику мертвая материя планеты —

вот чем мы питаемся. Где-то установлены химические реакторы. В них из водяного пара и поступающих из недр Иакаты растворенных в нем газов с помощью высокой температуры, перепада давлений и электрических флуктуаций возникают аминокислоты, аминосахара и нуклеотиды — предбиологические соединения, начальная простая «полужизнь». Так, во всяком случае, это происходило и сейчас происходит на Земле при взрывных вулканических выбросах в пеплогазовых столбах, прорезаемых молниями. Каковы реакторы, откуда берут энергию, ответа нет. Может быть, где-то в бесконечной пустыне воздвигнуты установки, использующие, преобразующие излучение солнца, может быть, под землей геотермальные генераторы. Ничего не знаем. Но все посева анлаха, что я видел с высокой дюны, — только добавка, которая сама по себе способна кормить город не больше недели. Так что либо в машине заложена возможность самовосстанавливаться после аварий, либо... Ко второму «либо» продолжения у меня не было.

Вышли в город всем составом Совета, то есть четырнадцать человек без Вьюры. Решили сначала осмотреть при дневном свете пролом в покрытии машины. На улицах вместо вялого покоя три дня назад и вчерашнего оживления испуганные лица, быстрое движение. Бегают от одной столовой к другой. Несколько раз на пути встречали родителей, ведущих своих детей к башне — уже работала Продовольственная Комиссия. Об исчезнувшем из сквера Попечителе многие знают, рассказывают другим — недоуменные вопросы, недоуменные пожатия плеч. В северную часть города за нами сразу увязалось человек десять, дорогой к ним присоединялись не то чтобы любопытные, а надеющиеся, что Совет что-то предпримет насчет букуна.

Подошли к яме, спустились. Солнце погасило свет изнутри, в дыре только желтоватый туман, в котором что-то воет, лязгает. Спуститься туда, допустим, на веревке, но куда попадешь и что сделаешь? Что-то неви-

димое гнется-гнется там, скрипя, потом вроде ломается со звоном, давая дорогу мощному реву. Громкие визги начинают заглушать этот рев, снова скрип, снова что-то лопається.

Не сам испугался, а почувствовал ужас окружающих, общую напряженность, которая с каждой секундой росла. Показалось — крикни кто-нибудь сейчас, все впадут в истерику, люди станут бросаться в дыру, побегут с воплями, не зная куда.

Но потихонечку члены СОДа поднялись из ямы, молча, не торопясь, прошли сквозь строй вопрошающих взглядов.

Думать было страшно о том, к чему привела сорвавшаяся с моих губ четыре дня назад фраза: «Тогда на остров».

До полудня Крдж, Втв и я собирали на площади нашу угрюмую армию, учили нападать и обороняться строем. Впервые в жизни оставшиеся без завтрака горожане упражнялись без всякой охоты.

А затем неожиданное.

Что-то коснулось моих волос, что-то мелькнуло в глазах. Посмотрел вверх. С неба сыплются шарики. Желтые, фиолетовые, розовые, небольшие, как яблочки. Ударяют людей по головам, плечам, отскакивают, падают на утоптанную землю, разбиваются или катятся. Почти невесомые, полувоздушные, летят сверху, сбоку, одиночками и скоплениями. На какие-то мгновения ими закрывается солнечный свет. В воздухе пестро от них. Поймал один, второй. Пористые, хрупкие, без усилия раздавливаются пальцами, осыпаются порошком.

Чей-то крик:

— Что там такое? Дым!

Справа, за крышами домов в безоблачном небе серый столб высотой в сотню метров. Плотный в середине, он наверху расплывается в тучу, которая по краям истает.

Таким далеким и отдельным было одно от другого, что не сразу сознание связало столб с шариками.

А они летели и летели. Их стали ловить. Кто-то сунул кусочек в рот, кто-то откусил от целого и поспешно доел остаток.

Мы, трое командиров, ничего со вчерашнего вечера не евшие, тоже попробовали. Что-то сладкое, похожее на сахар. Но очень мало. Шарик чуть ли не целиком состоит из воздуха — от раздавленного на ладони только щепотка, розовая, фиолетовая или желтая.

На площади оружие попадало на землю. Голодные ополченцы хватали легкие яблочки на лету, подбирали с мостовой, набивали рот. Свежий бриз катил упавшие разноцветные шарики от моря к северной стороне площади, там под стенами домов они уже накапливались горами. Наиболее догадливые из наших воинов побежали туда.

Кто-то рассмеялся, и через минуту вся площадь грохотала смехом.

Учения пришлось отложить. Поскольку уже было ясно, что непредвиденный дар извергает машина, пошли с Крджем и Втом смотреть. Возле башни веселые шарики лежат сплошь. Здесь народ тоже не упустил возможность подкормиться. Всюду наклонившиеся фигуры, разинутые рты.

Вступили в пустыню. Там, где я впервые увидел загадочное кубическое здание, вырос целый холм, скрывающий и ограду вокруг здания, и толстую короткую трубу. При этом понятно, что столб поднимается не из трубы, а из какого-то открывшегося широкого жерла. Масса несущихся вверх шариков, образующих столб, как и сам холм, издали серая. Верхний конец столба не виден, теряется в небе. Ветер то наклоняет его к пустыне, то позволяет ему выпрямиться.

Когда подошли ближе, услышали свист столба, негромкий, не оглушающий — терлись друг о друга вылетающие из-под земли шарики. Извержение, но не

страшное, а, наоборот, успокаивающее, даже веселое. Что-то праздничное, если по-земному, новогоднее или рождественское было в яркой разноцветности яблочек. Попробовал вломиться в склон холма. Под напором тела шарики с легким хрустом рассыпаются. После трех шагов в скрипящей гуще погрузился в нее весь. Стало темно, душно, начал ощущать растущее давление сверху и, опасаясь заблудиться, повернул назад. Вышел на солнечный свет, Крдж и Втв покатываются со смеху. Пощупал лицо, оно все в сахарной пудре, как мучная маска клоуна. И вообще весь серый.

От города уже бежало десятка три человек во главе с Вьюрой. У всех мешки — обследуя башню, обнаружили в одном из подвальных помещений. Заготовкой занимались до глубокой ночи — все члены СОДа присоединились к Продовольственной Комиссии. Труд не такой уж легкий. Насыпаешь полный мешок, бьешь его об землю, топчешь ногами либо падаешь на него плашмя — тут что кому нравится. После этих упражнений на дне остается со столовую ложку сахарной пыли. И снова то же самое. Вьюра распорядилась высыпать содержимое мешков в ближайшем от извержения доме — туда и таскали мужчины, увязая в песке. Кто по пятьдесят килограммов, кто по семьдесят или сто. Но запасали сахар впрок только Комиссия и Совет.

А город ел.

Непрерывно, ибо чтобы человеку получить недолгое ощущение сытости, приходилось поднять и сунуть в рот побольше полтысячи штук. Причем по одному, так как больше не помещалось. Процесс еды получался почти работой и даже изнурительной, занимающей почти все время бодрствования. Горожане пробовали разные способы. При спокойной погоде за день дующий с моря на сушу бриз в пустыне рассеивал шарики на огромных площадях. Поэтому Совет и Комиссия не отходили от кратера. В городе же, в тупиках, переулках, дворах к вечеру они скапливались иногда почти двухметровым



слоем. Некоторые из горожан ложились на эти залежи, чтобы хватать шарики прямо ртом. Но человек тогда задыхался от сладкой пыли, закашливался. Чаще всего просто садились там, где цветных яблочек погуще, объедали все кругом, пересаживались на другое место.

И не наедались. Помню услышанную на улице фразу: «Спать жалко, потому что есть хочется». И отброску песка, и военные учения пришлось отложить. Не до того людям — руки и челюсти постоянно заняты. В городе, кроме того, распространилось убеждение, что шарики будут всегда, как прежде был букун. Да и мы, подчиненные Вьюре, какое-то время на это надеялись. Но не все.

В ту первую ночь легли, измученные, в своем общежитии. Проспал всего часа три, вдруг будит Оте.

— Вьюра ушла.

— Куда?

Выскочил из комнаты. Вблизи никого, возле кратера при лунном свете видна маленькая фигурка. Подбежал. Не поворачиваясь, не глядя на меня, Вьюра бросила к ногам мешок.

С этой ночи повелось в сутки спать три-четыре часа, все остальное время набивали и перетаскивали мешки. В одной из комнат выбранного нами дома под тяжестью нанесенного сахара рухнул деревянный пол. Стали тогда носить мешки в башню. Еще тяжелее, потому что в подвалах сыро, а лестница на первый этаж узкая и крутая.

Так продолжалось дней восемнадцать — за монотонной работой у кратера мы потеряли им счет. В городе проворная молодежь выучилась быстро собирать и есть сладкие яблочки, вечерами на пляже опять песни, разговоры, смех. Какие-то умельцы, поджаривая на железном листе водоросли, нагатавливали угольной пыли. Подкидывали, поджигали. Легкое облачко взрывалось или летело, светясь. Как раз в момент перехода дня к ночи, когда бриз стихал перед тем как уступить место

ветру от суши к морю, такие облачка медленно и подолгу плавали в воздухе, поднимались, опускались, кружились над кромкой берега. Взрослые иакаты, набив куртки шариками, приходили, любовались. Несмотря на уговоры членов Совета, кроме нас, почти никто не запасал даровой пищи — вековая привычка получать все готовым сделала свое дело. Лишь немногие жители Иакаты нанесли домой по десятку килограммов сахарной крошки. Основная масса городского населения в свободные от еды часы загорала, купалась или просто ротозейничала на пляже.

Однако уже подходил конец этому приятному препровождению времени.

Во-первых, шариковый фонтан начал давать сбои. Серый столб понемногу истончался, затем сник вовсе. Начались взрывы-выбросы, которые разметали холм, разрушили трубу, кубическое здание и ограду. Выбросы раскидывали шарики на большое расстояние от центра. Теперь в пустыне их нельзя было загребать мешком, как мы приспособились у кратера. И в городе удачным стал считать себя тот, кто за день набирал тысячу, нагибаясь за каждым. Гулянье, веселье кончились. Выбросы все слабели, потом их вообще не стало. На месте кратера простерлось большое серое пятно перемешанного с песком сахара, усеянное там и здесь обломками кирпичной кладки и гнутой, извилистой стальной арматуры. Посередине дыра, дна которой не видно. В качестве председателя Продовольственной Комиссии Вьюра потребовала, чтобы мы теперь продолжали сбор сахарной крошки вместе с песком. Мешки стали еще тяжелее, хотя в них можно было насыпать смесь лопатой. Заполнили первые этажи еще двух домов — в том числе и того, в котором был убит старик маляр. Горожане еще два дня слонялись по дворам и подворотням, подбирая в углах те остатки пыли, каких не сумел унести ветер, а на третий, поскольку знали о сделанных запасах, сошлись огромной толпой у башни. Вышла Вьюра, Крдж

с Втовом подняли ее на руки, чтобы всем было видно. Она сказала, что снова только дети будут получать пищу, а взрослым нужно ловить рыбу, как им покажут члены СОДа. Был мрачный ропот, но, в общем-то, смиренные, привыкшие к повиновению иакаты в конце концов разбрелись по берегу. Тут мы, мужчины из Совета, показывали изготовленные сачки, предлагали горожанам по чердакам, подвалам искать старые матрасы и другое тряпье, делать снасть по нашим образцам. Мелкой рыбы у берега было на удивление много, но оказалось, что сачками ее очень трудно брать, потому что катастрофически размножилась длинная мохнатая водоросль. Люди стали вынимать ее из воды большими пучками, на берегу разбирали, отыскивали рыбешку, глотали прямо сырой, так как в районе города уже не осталось сухих водорослей. Взрослые теперь шли на берег, ничего не стесняясь, голыми лезли в воду. У башни всю первую половину дня стояла длинная очередь родителей с малыми детьми. Девушки из Продовольственной Комиссии каждому ребенку насыпали в его подставленные ладошки или в посудинку сахарной пыли кружкой вместимостью граммов на двести. По моему подсчету, сахара, не считая того, что был перемешан с песком, запасти удалось около восьмидесяти тонн — десятилетним и совсем маленьким месяца на полтора. Довольно скоро выяснилось, что с северной и особенно с восточной части города ослабевшие родители лишь с трудом приводят и приносят детей. Комиссия предложила таким семьям перейти на жительство ближе к башне. В результате произошло первое «переселение народов», которое, увы, оказалось не последним. Со своим ничтожным скарбом — чашки, детское бельишко — мрачные иакатские матери и отцы проследовали мимо разоренного сквера и по площади.

Запомнились и это медлительное шествие, и бесконечно растянувшаяся вдоль берега линия тощих мужчин и женщин по колени в воде.

В это же время начался приход животных. Вообще в городе бытовало мнение, что никакой наземной фауны на Иакате не осталось. Но в пустыне животные все-таки были и заявили теперь об этом. Сначала пришли восьминогие паучки желтого цвета. Их было несметное множество, они все стремились из залитых солнцем песков в тень. В полдень, когда мостовые заливал солнечный свет, паучки заполняли подворотни, лестницы и квартиры. Их сначала боялись, позже перестали, но все время ими брезговали. Многоногие создания передвигались с такой скоростью, что на них невозможно было наступить, даже если б кто-нибудь и захотел. В комнатах они покрывали пол целиком, но, когда шел человек, при каждом его шаге успевали разбежаться из-под опускающейся ступни, залезая друг на друга с тем, чтобы тотчас снова занять освободившееся место. Особенностью их поведения было, кстати, и то, что они избегали соседства с сахарной пылью. Башня, к великой радости Продовольственной Комиссии, а также дома, где хранилась крошка пополам с песком, были для паучков запретны. (Наводило на мысль, что великие строители машины нарочно заложили в изготавливаемую ею пищу вещества, отпугивающие животных-вредителей.)

Вторыми явились юркие ящерицы, желтые с коричневыми пятнышками — очевидно, охотники за паучками. Но в городе ящерицы никого не преследовали и не ели. Залезали в комнатах на стены или застывали на полу, собравшись в небольшие кружки мордами внутрь, будто обсуждали беду, заставившую их покинуть родные места. Попытки изгонять их из квартиры успеха не имели. Ящериц не пугала мелькавшая возле них человеческая рука, а оторвать их живыми от пола или стены было невозможно. Если кто-нибудь сильно тянул, маленькие тельца отрывались от лапок, заливая все вокруг кровью.

Затем в темных местах — на чердаке вдали от

окошка или в подвале — стали обнаруживаться представители, вероятно, следующей ступени пустынных хищников. То были четвероногие крупные, размером с барсука, животные, голые, напоминавшие нашего земного ядозуба-жилатые. Малоподвижные и с виду неуклюжие, они, оказавшись в углу, где им некуда было отступать от случайно приблизившегося человека, с неожиданной быстротой нападали и кусали его в ноги, оставляя болезненные, долго незаживающие раны.

В окна с рассветом залетали и на весь день прятались различные прежде никому не ведомые насекомые.

В довершение ко всему из воды на берег тоже устремились ее обитатели. Мелких рыбешек уже не надо было отыскивать в вытащенных водорослях. Сами серебряной волной, прыгая, дергаясь, торопились на рассвете прочь от воды, будто надеялись от чего-то укрыться в ближних к морю домах.

Но собирать и глотать надо было очень быстро, только раз в сутки, потому что рыбки, такие красивые, проворные в своей прозрачной жидкой среде, после нескольких прыжков в воздухе погибали, за минуту-две распадались, разлагались в слизь, пахнущую ужасно, и ее невозможно было отделить от песка и вообще взять в руки.

В восточной части пляжа из моря на сушу однажды вылезло что-то большое, бесформенное, студенистое, стало передвигаться к тени от дома, но остановилось, не одолев пути. У тех, кто трогал его, воспалялись и горели руки.

Похоже было, что в природе произошло такое, что заставило животных искать спасения только в построенных человеком сооружениях.

Правда, и люди стали болеть. Мы в нашем общении собирались все до одного только ночью. Днем надо было успеть наглотаться рыбешек, помочь дойти из города старым и прежде других ослабевшим иاکатам, разъединить сахарную крошку и песок. (Бесконеч-

ная работа — мешками носили смесь к воде, взбалтывали в какой-нибудь большой посудине, переливали в другие, где она выпаривалась на солнце.) Мужчины, кроме того, занимались изготовлением примитивных стамесок, топоров, пил, ножей и всякого прочего из разбросанной в пустыне арматуры. Тут вдруг отличился Змтт. Из-под его рук выходили пики, которые сгодились бы для музея средневекового оружия. У женщин было другое — раздавать детям пищу, учитывать и отмечать дома, откуда два-три дня не появлялось малышей, ходить туда, там кормить. В результате мужчины и женщины в своих квартирах к ночи прямо на разбегающихся паучков валились в сон, как в темную воду, и, случалось, по несколько дней не видели друг друга. Однажды встретил Вьюру. На лице что-то вроде маски из серого, многократно стиранного полотна с прорезями для глаз. Прошла, не останавливаясь. Оте тоже ходила с перевязанной шеей. Потом однажды стал ощущать на груди участок шершавой огрубевшей кожи. Он вскоре превратился в желвак, в мясистый нарост с трещинками и шелушащейся поверхностью. Вскоре и Втв стал почесывать бедро. Этими наростами мучился весь город повально. Хуже всего было тем, у кого они появлялись во рту, под мышками, в паху — сами по себе не болезненные, они мешали есть, ходить, что-то делать руками.

Пожилые стали уходить в пустыню. Тут я наконец узнал смысл фразы Змтта: «Жена ушла по обязательству». Оте объяснила, что в эпоху, предшествовавшую созданию машины, на пике промышленных и экологических катастроф распределителями был выдвинут лозунг, призывавший иакатов умирать по достижении сорокапятилетнего возраста, чего сами аппаратчики, естественно, не делали. Народ же удалось убедить — еще в молодые годы многие брали соответствующее обязательство. Видимо, и при изменившейся ситуации обычай остался уже в качестве ритуала, как газета или картины в музее.

Болезни, пыль в воздухе, животные, рвущиеся к людям в дома... Как тут было не вспомнить строки из библейской «Книги Исхода»:

«И рыба в реке вымерла, и река воссмердела, и египтяне не могли пить воды из реки... И поднимется пыль по всей земле Египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами...

И побил град по всей земле Египетской все, что было в поле от человека до скота; и всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал».

Из десяти казней египетских несколько уже постигло нас. Но впереди, как оказалось, были другие, более грозные, чем даже сам голод.

Потому что менялось небо над головой.

Заметили сначала по восходам и закатам. Восходы, обычно здесь молочно-белые, становились все желтее и начинали краснеть. А закаты багровели. Само же солнце, проходя свой путь на потемневшем небе, стало день от дня распухать, как бы приближаясь к Иакате и при этом тускнея. Утром, поднявшись наполовину из моря, оно занимало лишь небольшую часть восточной стороны горизонта, потом расширилось на целую четверть и на треть. Иллюзия приближения была полная. К сороковому дню после появления шариков иакатское светило в зените прямо-таки нависало над городом, загораживая небосвод так, что только неширокий, уже почти черный его пояс оставался между горизонтом и краями солнца. Подавляюще огромное, оно грузно висело над нами ни на чем, будто готовое упасть и раздавить Иакату. Сквозь дымку короны просматривалась состоящая из гранул сама поверхность светила, как бы остывающая, желто-красная. Ясно были видны пятна, углубленные в эту поверхность, выстреливший с левого бока протуберанец, тысячи ярко вспыхивающих и гаснущих мелких точек, какие опять-таки бывают (в меньшем количестве, конечно) на раскаленном, начинающем остывать железе. Заметно было и вращение неотвратимо

наваливающейся на нас громады — побыстрее на экваторе, помедленнее у полюсов.

Страшно.

С моих слов члены и активисты СОДа уже неделю убеждали горожан, что приближение солнца — только иллюзия, результат преломления солнечного света в мириадах вознесенных в небо ветрами кристалликов сахара, которые вместе образовали обширную линзу над Иакатой. Но, во-первых, из всей массы жителей города только немногие слышали эти объяснения, а во-вторых, моя теория и меня самого не утешала.

Много пришлось видеть разных феноменов. На обитаемой планете Уффа в созвездии Аскалотля далекие предметы вследствие искривления пространства выглядели огромными, а приближение к ним делало их маленькими. Там, глядя вниз, возле своих гигантских башмаков я усматривал целую скалу, а собственную опускающуюся кисть — я хотел подобрать камень — на глазах растущей. Но когда рука с камнем поднималась к моему носу, все становилось нормальным. Еще одна такая дикая планета есть в созвездии Мустанга. Там, если пойти к предмету, который перед собой видишь, это тебя будет только удалять от него. Чтобы достигнуть цели, надо смотреть не прямо, а в зеркало перед глазами, ориентируясь на те подробности пути, которые оно отражает. Такого вообще немало, однако все это явления, так сказать, безэмоциональные. Удивляешься, даже радуешься — вот, мол, природа какое выкинула. Но феномен не разрушает глубинных устоев твоей личности, твоего существа.

Здесь по-другому. Разрушало.

В тот вечер я, стоя на площади, долго смотрел на заваливающееся за горизонт солнце. И можно было долго, потому что это не вредило зрению. Но я один. Никто в целом, пожалуй, городе не поднимал взгляда к небу.

Еще с позавчерашнего дня едва ли не все иакаты



попрятались в домах, сидели, лежали среди пауков и ящериц, объятые ужасом. Голод их уже не терзал, к паукам притерпелись, ядозуб не пугал, лишь бы не видеть то, что представлялось им концом света.

Да! Если честно, оно так и выглядело!

Мне казалось, что смотрю на то, чего вообще не полагается видеть человеку, не вооруженному специальными сложными приборами, заглядываю в тайну, для смертных навечно запечатанную. Все, что есть на Земле и других разумных мирах с нашей и их цивилизацией, историей, культурой, ничто в сравнении с одной лишь веточкой эруптивного протуберанца, что извергался сейчас в небе надо мной, простираясь, может быть, на миллион, если без иллюзий, километров. Это счастье, что звезды удалены от населенных планет — только огромная дистанция позволяет нам не сопоставлять ничтожные свои дела и страсти с грандиозностью равнодушной к нам Вселенной. Но теперь одно из них пришло и сказало: «Вы мошки... Нет, меньше! Бактерии, каких вы сами каждым шагом давите сотнями тысяч во время прогулки по лугу и лесу, вашего выхода «на природу».

Город кругом лежал совершенно пустой, затихший. Темно-красными были дома, красным — пространство площади, пурпурным отсветом солнца сияло море, которое я видел в конце ведущей к пляжу улицы.

«...и будет кровь по всей земле Египетской и в деревянных и в каменных сосудах».

Жутко я чувствовал себя на площади умирающего города. И все время в голове вопрос — а с чего началось?

Услышал за спиной шаги, обернулся.

Подошел Змтт. В руке пика.

— Сделал еще одну. Вот.

Его приход обрадовал. И вообще он теперь очень правился мне. Нас объединяла общая вера — не в бога, нет. Во что-то другое. Пика была сделана превосходно. Легкий, прочный, гладко выструганный, отшлифованный

шест из расколотой вдоль слоя старой сосновой доски, и паконечник, насаженный так плотно, что дальше некуда. Но я знал, что и там, под железом, дерево не оставлено грубым, необработанным. Во мне тоже было такое. Жили бедно. Если в детстве я разрывал что-нибудь из одежды, чинить должен был сам. В старой куртке, которой вот-вот предстояло превратиться в половую тряпку, даже под подкладкой я делал швы один к одному, как машинные. Не из жажды эстетического совершенства. Из чувства ответственности. Может быть, говорил я себе, пусть через тысячу лет, эта тряпка попадется кому-нибудь в руки, и человек увидит неаккуратную работу. Ему же станет тяжело, ему будет стыдно за меня, уже давно не существующего на белом свете. Видимо, это было одинаково у нас со Змттом — вера в какой-то окончательный суд. Не божий, а суд рода человеческого, истории, судьбы, природы.

Я рассмотрел пику, отдал Змтту и погладил его по плечу.

— Пойдемте, — сказал он. — Уже скоро будет темнота.

Действительно, с заходом солнца мы погружались теперь в кромешный мрак. Пыль в небе загоразживала нам и маленькую здешнюю луну и звезды. Не просто не было видно предметов, а в существовании собственной руки можно было убедиться, только коснувшись пальцем своего носа. Но даже такое прикосновение было странным, неожиданным, будто не ты дотронулся, а кто-то со стороны, чужой. Всем приходилось заканчивать дела так, чтобы до заката быть в квартире. Потому что если не успел, ночуй, где остановился — все равно в этой «тьме египетской» и дома не найти.

Пошли. Я ожидал, что Змтт скажет сейчас что-нибудь о Вьюре. Вообще каким-то образом меня ввергло в неудобное, даже глупое положение. Каждый и каждая, с кем бы я днем ни встречался, считали своим долгом прежде всего сообщить мне о Вьюре: только

что, мол, пришла куда-то или, наоборот, где-то ее не было, с чем-то одним справилась, чего-то другого не успела. Как если бы все были уверены, что у меня и строгой руководительницы Продовольственной Комиссией некие особые отношения, что мы суждены друг другу. Все, кроме самой Вьюры. Она меня просто не замечала. Довольно часто на совещаниях СОДа я старался поймать ее взгляд — хоть мгновенный, хоть вскользь. Не удавалось. Не видит меня, и все тут. Здоровалась, конечно, но это если я еще с кем-нибудь, обращаясь тогда с общим приветом, но не ко мне. А в тех случаях, когда попадался ей один, делала вид, что задумалась, не обратила внимания. Причем получалось у нее это до удивления естественно — ей вообще были свойственны естественность слов, движений и поступков. И вот, видя все это, зная, обитатели общежития вели себя так, как я уже описал. Возможно, оттого, что я-то в своих стараниях перехватить взгляд девушки не отрываясь смотрел на нее, когда мы были вместе. Спыхватывался через какое-то время, а потом опять то же самое.

— Вьюра, — сказал Змтт, — сегодня начала переправлять детей в башню. Тех, чьи родители не водят малышей за пайком. Будут жить в библиотеке. — Он передернул плечами. — Холодно.

И в самом деле температура в городе и окружающей пустыне заметно опустилась. Запыленность атмосферы задерживала, отражала солнечные лучи. Обычно днем здесь на экваторе было градусов тридцать, ночью к утру — около двадцати двух. Позже днем стало двадцать пять, однако ночью температура падала до двенадцати-одиннадцати, и продолжало холодать. Привыкшие к постоянному теплу накаты мерзли в своих квартирах без рам и стекол.

В тот вечер добрались как раз вовремя. Вошли в комнату, и тут же будто на окна черные шторы упали. При трепещущем огоньке свечки-водоросли Вьюра рас-

сказала о детях. Всего их, маленьких и побольше, сорок пять человек. В башне с ее за долгие века разогретыми стенами днем было даже жарко, а к ночи узкие окошки-бойницы закрыли деревянными щитами. Отогревшиеся, накормленные цветным сахаром малыши ожили.

Неожиданно для себя сказал:

— Надо бы удалиться километров за пятьдесят от города, выйти из-под облака и оттуда посмотреть на солнце. Завтра сбегаю.

На том и порешили. Раненько утром подошла Вьюра, подала два мешочка, в которых граммов по двести сахара. Стал отказываться — рыбешки, мол, уже наглотался. Она объяснила, что один на сегодняшнее утро, второй на завтрашнее, когда в обратный путь. Холодно, даже с оттенком высокомерия добавила:

— Это не столько для вас, сколько для нас, иакатов, которым надо знать.

В двух словах впечатление от путешествия — там еще хуже, чем в городе.

Тогда же на рассвете выбрал направление на запад, поскольку юг и север, то есть море и пустыня, исключались, а на востоке опасность наткнуться на «младших братьев» и задержаться из-за этого. Съел сахар, что был в первом мешочке — невыразимое наслаждение после целого месяца сырой рыбы, которой тоже не вдоволь, и побежал. Легко было. Всю первую половину дня не бег, а отдых. Когда-то занимался я и марафоном, был даже участником Всесоюзного первенства. А тут бежишь не на скорость, только на выносливость. При таких обстоятельствах главное — чем-то занять голову. Тогда и время незаметно, быстро пойдет. Стал думать о себе и о Вьюре. Конечно же, я виноват, что поплыл с ней на остров. Но ведь в ее власти было мне приказать, чтобы никому больше не показывал, и самой сохранить свое открытие втайне. Однако не молчала, тут же подняла весь город, а сейчас, похоже, не раскаивается, при всех несчастьях, переносимых горожанами, становится

все более гордой и властной. Почему?.. Пожалуй, поняла, что при машине иакаты, иждивенцы великой технологии ушедших лет, все равно обречены на вымирание.

Еще ночью, обдумывая свое маленькое путешествие, решил весь день не смотреть на солнце, глянуть только в самом конце пути, чтобы сразу видна была разница между тем, как выглядит светило в городе и каково оно вдали. Медленно катился день, не торопясь бежал я, но небосвод впереди над горизонтом все оставался и оставался черным. К вечеру сверху показался край солнца, я опустил глаза к сырому песку под ногами. Начал уставать, пришло второе дыхание, на нем одолел еще с десятков километров, опять почувствовал утомление, тело начало капризничать, плохо подчинялось.

Остановился, сел на песок, поднял глаза.

Что за... дьявольщина! Еще ближе солнце!

Теперь уже не половину западного горизонта охватывал красный шар, а почти целиком, заходя на юг и север своими удаляющимися боками. Середина солнца была совсем рядом, уже светило не висело над планетой, маленькой в сравнении с ним, а чуть ли не садилось на Иакату. Ясно видны были какие-то струйные течения дышащих гранул на экваторе. Легко, в подробностях, смотрелись три ближайших пятна: внешний приподнятый обвод каждого в виде круглого вала, широкий пологий спуск и четкая вертикальная стеночка уже до дна. Высота ее в натуре была, может быть, двести-триста тысяч километров, но сейчас смотрелась как сантиметровая. Три пятна выглядели неглубокими вдавлениями, которые вытеснили, выжали часть солнечного материала, образовав эти самые валы. Багровое солнце уже заваливалось за горизонт, и в неконтролируемом животном страхе я поверил, что ближайшая к нам сторона светила сейчас заденет обращенный к ней бок Иакаты. Повалился на спину, зажав ладонями глаза.

Пролежал не знаю сколько. Но долго, потому что успокоился и отдохнул. Не было, конечно, страшного



удара, солнце не задело Иакату. И вообще ничего не было — в том смысле, что ничего не было видно. Полная тьма. Такая окончательная, будто ты в совсем другом мире. Ощущал сырой песок под собой, обонял запахи моря, слышал едва-едва уловимый шелест зыби.

Что делать сбросившему усталость, свежнему, когда впереди восемнадцать часов мрака? Еще, что ли, одолеть десяток километров? Пошел так, что левая нога в воде, правая на суше. Потом побежал — все равно тут наткнуться не на что. Вот уже километр позади, вот два...

Вдруг по щиколотку влетаю в воду обеими ногами. Что такое?

А ведь ни зги не видно.

Шагнул вперед — глубже. Поворачиваюсь на сто восемьдесят — еще глубже. Беру слегка вправо (здесь же, черт возьми, должен быть берег, с которого только что сошел!). Шаг, другой, вода поднимается до колен. Еще два шага, дно круто уходит вниз. Снова шагаю, дна нет. Понимаю, что так можно неизвестно куда уплыть. Лег в воде на спину, несколько осторожных гребков, опускаю ноги вниз. Слава богу, дно!

Вслепую бродил так полчаса. Лег на воду, бесконечно долго дожидался конца ночи. Нет окрестного мира. Не вижу, не ощущаю, не обоняю, не слышу. «Строгая сенсорная депривация» — так называется эксперимент, в ходе которого человека лишают всех пяти чувств.

На рассвете огляделся. Оказывается, в темноте последние метров пятьдесят бежал не по самому берегу, а по длинной отмели, отделившей от пустыни небольшой глубокий заливчик. Сахар, о котором часто вспоминал, предвкушая, как буду утром лакомиться, конечно, растаял.

До города, усталый, добирался трудно, подошел на закате. Возле башни с земли поднялась фигурка.

Сошлись.

Без предисловий Вьюра спросила:

— И что? — Вгляделась в мое лицо. — Нет, не надо. Поняла.

После моего сообщения ночью на совещании СОДа Крдж предложил завтра же собрать людей на митинг. Позвали активистов из соседнего дома, из башни, разделили город на районы, договорились, что обойдут все дома.

К середине дня около каменного возвышения на площади полукругом сошлось побольше десяти тысяч — пятая часть городского населения.

Тишина. День, и светло было, как днем. Но черный небосвод и огромное солнце над нами. Никто не отваживался посмотреть вверх.

На трибуну поднялся Крдж. Громко, разделяя слова, он сказал, что Совет Общественного Действия отчетливо понимает природу пугающих явлений в небе, что они вызваны выбросом в воздух сахарной пыли.

— Мы заверяем вас, — звучал его голос, — что завтра, именно завтра или, в самом крайнем случае, послезавтра там наверху тучи будут разогнаны ветрами. Мы увидим солнце таким, какое оно всегда было. Станет тепло, пауки и другие животные уберутся в пустыню.

Я стоял позади всех и видел, как зашевелились горожане, как стали переглядываться, отыскивая на лицах друг друга подтверждение своим неуверенным надеждам.

Кто-то крикнул:

— А еда! Букун?!

Толпа взроптала, гул прокатился по площади.

Крдж поднял руку.

— Мы верим, что машина восстановит себя. Но пока этого нет, мы должны питаться рыбой. Ее очень много за пределами городского берега. Кто сильнее, должны идти подальше на восток и на запад. Надо оставить ближние участки тем, кто совсем слаб.



Опять зашевелилась, заговорила, закричала толпа.  
— Почему сахар только детям? Мы тоже хотим есть!

— Сами обедаетесь там в Совете!

Жестикнули, обращаясь друг к другу, размахивали руками.

Опять Крдж призвал площадь к молчанию.

— Члены Совета, поднимитесь сюда.

Семеро мужчин и пять женщин поднялись на трибуну. Толпа притихла.

— Члены Совета, разденьтесь!

Они так и сделали — женщины по пояс, мужчины догола. Толпа совсем стихла на мгновение, потом разом вздохнула. Стоящие на трибуне выглядели куда хуже тех, кто заполнял площадь. Потому что в отличие от других иакатов члены СОДа и Продовольственной Комиссии заготавливали и таскали сахар, выдавали его, ковали, пилили, строгали, бегали и ходили по разным поручениям, то есть работали все голодное время. Даже я был поражен видом своих коллег, особенно женщин. Мужчины вместе купались по утрам и как-то привыкли к тому, что все мы — кожа да кости. А женщин видели лишь одетыми. Да еще теперь эти наросты.

Вперед шагнула Вьюра, совсем нагая. Одни глаза были прежние. Плечи же, руки, ноги, которые я прекрасно помнил по острову и так часто себе представлял, — неузнаваемы.

Голос, правда, остался тот же.

— Иакаты! — Это прозвенело на всю площадь. — Да, многие из нас погибли и, может быть, кто-то еще погибнет. Но мы спасем наших детей. Они останутся живы, и в них мы пребудем. Машина уже исправляет себя. Если около башни приложить ухо к земле, слышен стук и ровная работа механизмов.

Потом она сказала, что город получил от предков великое наследие нравственности и знаний, но по лени и неразумию утерять все. Что дети вырастут дру-

гими, построят новое общество, где человек не будет рабом технологии.

Шатнулась. Женщины поддержали ее и помогли одеться.

Митинг закончил Крдж.

— Вот так, иакаты. Идите теперь по домам, рассказывайте встречным и своим соседям, что слышали здесь сегодня. От имени Совета еще раз торжественно заверяю вас, что все будет так, и Совету никогда не придется брать свои слова обратно.

Однако на следующий день, на второй и третий ничего хорошего не произошло. (Со страхом я вспоминал чернильную тучу, что видел с корабля у северного полюса планеты.) Солнце продолжало расти, становясь при этом все более багровым и менее жарким. В своих тонких курточках иакаты мерзли. Лишь немногие отваживались ходить по утрам на берег за рыбой, остальные же отсиживались по квартирам, семьями собирались где-нибудь в углу плотной кучей, стараясь обогреть друг друга. Совет, активисты носили по домам сахарную пыль для маленьких, пытались вытащить взрослых на море за пищей, но, как правило, безуспешно. Люди предпочитали умирать дома, но не выходить в красный, словно кровью покрытый, умирающий город на холод под огромное солнце и черное небо. Среди одиноких участились случаи нервных припадков, самоубийств. Человек выбрасывался с отчаянным криком с третьего или четвертого этажа, либо на улице разбегался и головой об стену. Мужчины из Совета превратились в похоронную команду — на окраинах оттаскивали мертвых в пустыню, в центре закапывали во дворах. Горестная работа была настолько тяжелой, что, собравшись к ночи в общежитие, все молча валились спать — и говорить не о чем, и сил не хватало. Вообще по вечерам в состоянии крайней усталости легче было что-то сделать, чем произнести несколько слов. Когда

возникала необходимость, объяснялись знаками, скудными жестами. И ждали, ждали.

Только Вьюра, Оте и Тайат со своими девушками из Комиссии непрерывно говорили. На иждивении СОДа было уже больше ста детей. Им рассказывали сказки, читали вслух детские книги — этих в библиотеке башни сохранилось много, — разыгрывали с теми, кто постарше, маленькие сценки, учили танцевать. Второй этаж башни остался единственным теплым, даже порой веселым местом в городе. И раздавать подогретую сладкую воду тем взрослым, кто решался приходить за ней, тоже выпало на долю женщин. Как и мы, они ждали.

Вечером четвертого дня, возвращаясь в общежитие, ощутил на затылке что-то холодное. Пощупал — мокро. Замелькало в глазах. С неба косо, мягко, неторопливо сыпался с восточной стороны снег, бесшумно падал на мостовую, сразу таял. Многие иакаты, принимая его за новый пищевой дар машины, повывегаили из домов, стали ловить снежинки, пробовать и, убедившись, что вода, скрывались, разочарованные, в своих квартирах.

Нам же, членам Совета, снег подавал надежду. Собрались на мужской половине, долго разговаривали в темноте. За этот вечер много прежде неизвестного мне узнал об Иакате. Например, только сравнительно недавно, то есть лет сто назад, исчезли из квартир мебель и постельное белье, потому что машина не производила ни того, ни другого. Лет восемьдесят прошло, как закрылась в городе последняя школа, и учить детей грамоте начали сами родители. Сенсацией не только для меня прозвучало сообщение Оте, что сама машина была пущена в ход лишь полтора столетия назад — момент этот и празднество помнили прадеды некоторых моих собеседников — что «эоловый город» в долине был некогда настоящим мегаполисом, но воздвигнутым уже в эпоху упадка, когда не умели строить и не хотели уметь. Всего за полвека размягчились, оплыли компо-

зитные материалы стен и перекрытий, изржавели металлические каркасы, и величественные здания стали гигантскими останцами, какими я их видел.

В полночь, когда женщины уходили к себе, завыл по улицам сильный ветер с востока, в комнату нанесло целый сугроб снега, нам пришлось перебраться на западную половину квартиры. По крышам грохотали железные листы, летела черепица, невидимое море заговорило крупной волной. Под эти звуки мы наконец заснули и к утру были пробуждены криками.

— Звезды... Мужчины, вставайте! Звезды.

Боже мой, неужели такое возможно?!

Выскочили в пустыню.

Ветер стихал, будто выполнив свой долг. На закате мерцало Созвездие Лепестка, перемигивались бриллиантики Западного Ожерелья, повисла над северным горизонтом одинокая яркая Даная. Но главное — небо. Его чернота, глухая прежде, стала прозрачной, разнообразной. Фоном для тысячи тысяч сверкающих точек были неопределенной формы глубоко темные пространства, туманности, озаренные светом ближних галактик, и взметнувшаяся в зенит дуга Млечного Пути. Все неподвижно двигалось, незаметно менялось, жило. На восточном краю моря забелела молочная полоска, звездочки гасли в серо-голубой полуокружности над ним.

Тайат предложила будить город. Побежали к центру и оттуда кто куда с хриплыми воплями о звездах.

Где-то возле первой для меня столовой остановились со Змттом отдышаться.

С минуту длилась тишина в домах, потом в окнах стали показываться иакаты, вертели головой на тонкой шее, смотрели в небо. Постепенно улица заполнялась дрожащим от холода народом, молча пошли на проспект, ведущий к морю. На берегу люди все смотрели в одном направлении.

Молочная полоска на востоке расширилась, стала выше. Голубизна охватила уже полнеба.

И наконец она явилась, половина красного диска, — не большая, нет, а как должно. Быстро таял туман, солнце поднялось над горизонтом, лучи света разом легли параллельно поверхности вод, ударили в наши лица, в глаза. Будто один человек, вздохнул весь берег.

Мгновенно сделалось тепло.

Люди стали раздеваться, подставлять солнцу исхудавшие тела с уродливыми наростами. Через неделю этим шишкам предстояло отшелушиться, оставив только розовые пятнышки на бледной коже, которым тоже недолгий срок. Но до этого еще многому суждено было случиться.

А теперь народ отогревался, успокаивался, в полуулыбку сами собой складывались губы. Садились, некоторые ложились — не только здесь на пляже, где для всех не хватало места, а и выше, в городе на солнечной стороне улиц.

Сквозь полуприкрытые веки смотрели и не могли насмотреться на вечно повторяющееся чудо благой доброй Вселенной, о котором забыли на других планетах, где в больших городах в сутолоке утреннего похода на работу не думается о том, что свершается там, за стенами высоких домов.

Рядом со мной обнялись парень и девушка. Возникла в памяти строчка из Омара Хайяма:

«Солнце, вспахивающее бесконечность, — это любовь».

Расслабился. Сладкое благодушие обьяло нас со Змттом и тех из СОДа, с кем встретились на пляже. Медленно побрели к башне. Хотелось просто без проблем посуществовать. Легли там, где на берегу уже никого. Мимо прошли наши женщины, чтобы подальше от мужских взглядов отжаться, обнаженными, ласке и лечению под солнцем, небом. Даже как-то не о чем было говорить. Казалось, самое тяжкое позади, а предстоящие трудности сразу падут, как только придем в себя и возьмемся.

К полудню нас отыскал один из юношей-активистов. Сказал, что горожане стихийно сходятся на площадь, наверное, там надо быть и Совету. Заставили себя подняться, побрели. Увидев нас, идущих с западной стороны, толпа расступилась, давая нам дорогу. Стали взбираться на трибуну, — кроме меня, конечно, — крики, свистки. Так на Иакате выражают одобрение. По фигуре узнали Вьюру, когда мужчины помогали ей влезть наверх. Тут от свиста заложило уши. Очень громко приветствовали и Крджа, с такой уверенностью заявившего, что мраку, холоду и пугающей картине неба вот-вот придет конец. Да, не сошлось по дням. Но Совет обещал, Совет не обманул.

Юноша, тот, кстати, который еще в редакции «Ни в коем случае» сообщил о первой попытке видящих остановить машину, теперь доложил, что в нескольких трубах-люках центральной части города слышен рокот, видно какое-то движение. Получалось, дело за анлахом. Вечером на Совете решили, что завтра сами сзываем митинг, чтобы предложить свой план борьбы с голодом, и тут же соберем мужское вооруженное войско, чтобы идти на поля. Раз уж смилостивился космос (хотя понимали, что не в нем дело), раз сделалось тепло и светло, при всей их тренированности «младшие братья» не пугали.

День и время выхода на поля знали только члены СОДа.

Площадь была забита целиком — еще не угасло вчерашнее одушевление. В своем выступлении Крдж сказал, что город должен сам начать разведение анлаха. Предложил создать по всем дворам, на заброшенных улицах и в ближней пустыне участки плодородной почвы, для этого перемешивая с песком натасканные из моря водоросли — ими чуть ли не сплошь заросли ближние воды. В городе идея постепенного освобождения от машины приобрела после всего случившегося множество сторонников. Несмотря на перенесенную

голодовку, иакаты, тощие, покрытые наростами, были бодрь. Когда мужчинам предложили тотчас же идти на поля и в случае необходимости сразиться с «братьями», добровольцев собралось в указанном месте площади около двух тысяч. Из тех, кто покрепче и хоть немного обучался последний раз, сформировали четыре роты. Вооружили изготовленными пиками, топорами.

Восточная окраина города теперь вовсе обезлюдела — в «эпоху Большого Солнца» голодные переселились к морю и к башне. Миновали последние пустые дома, вступили на шоссе. По обе стороны на полях только низенькие мослатые корни — часть зелени еще раньше была обобрана горожанами, остаток, видимо, взяли крестьяне. Но когда развернули три роты фронтом, одну оставив в резерве, и приблизились к грядкам необобранной «клубники», с земли стали, не торопясь, подниматься фигуры в синем. «Братья!» (Или «сыновья» — мы называли их и так и так.) Всего тридцать человек против наших сотен, но рослые, хорошо сложенные, отнюдь не изголодавшиеся. На поясе что-то вроде широкого ножа или меча в ножнах.

Сначала спиной почувствовал общее напряжение, потом услышал, как изменился, сбив ритм, шаг роты за мной.

Лиц «младших братьев» не было видно, мы приближались к ним против солнца. Они переговаривались между собой, разминались, как гимнасты на ответственных соревнованиях перед выходом к снаряду: приседали, крутили плечами или торсом. И как-то без команды выстроили покрывающую весь наш фронт шеренгу с длинными, совершенно одинаковыми интервалами. С их стороны раздался резкий свист, все они застыли, слегка расставив ноги, свободно опустив руки вниз. Что-то очень угрожающее было в их спокойной уверенности.

Сзади наша ошетинившаяся пиками двойная линия сама собой остановилась.

Подумал, что будь я в хорошем состоянии (а, возможно, и такой, как есть), сумел бы со своим ножом поубивать или серьезно ранить всех «братьев», если бы с каждым двумя-тремя встречался по очереди. Все мы в ОКР люди исключительно реактивные и хорошо обученные — есть такие, кто успевает увернуться от неожиданного удара палкой, когда она уже коснулась материала куртки на спине, либо от учебной пули, услышав щелчок спускаемого сзади курка, чего никак не может нормальный человек, для которого щелчок и выстрел сливаются в одно. Но, во-первых, есть закон, запрещающий убивать на других планетах даже в тех случаях, когда это единственный способ сохранить свою собственную жизнь. Во-вторых, это тягчайшее преступление вряд ли принесло бы горожанам пользу. Только сделало бы их иждивенцами не одной лишь машины, а еще моего боевого искусства.

Очень растянутая линия «братьев» была для указанной манеры боя удобна — успел бы, пожалуй, пробежать по ней со своим смертоносным оружием с одного конца до другого прежде, чем они опомнились бы.

Так или иначе решили с Крджем вступить в переговоры. Пошли вдвоем вперед, подняв пустые ладони — безоружные, мол. До «младших» было метров шестьдесят. Когда прошли треть этого расстояния, один из них нагнулся, взял с земли камень или нечто похожее, сильно метнул. Эта штука явно летела мимо нас, в сторону, однако на излете вдруг повернула прямо ко мне. Успел отскочить в последний момент, едва не сбив с ног Крджа.

Значит, не хотят. Повернулись, пошли к своим.

Скомандовал нашим ротам идти вперед.

А они стоят, мнутя.

С левого дальнего фланга вдруг выскакивает человек... Змтт! Двумя руками держит пику, пригнулся, двухметровыми прыжками прямо на того, который кинул в нас свое устройство. Тот стоит спокойный. И толь-



ко когда Змтт добежал, корпус ловко в сторону, пропустил острие пики мимо себя, взмахнул сверкнувшим на солнце мечом...

Ужас! Никогда не забыть! Голова Змтта на земле. Тело — фонтан крови из шеи — споткнулось об нее, упало.

В то же мгновение два длинных свиста. Обнажены все мечи, шеренга синих идет на нас.

Сзади всеобщий стон. Тишина... топот. Не выдержали наши бедолаги. Да куда им, вовсе непривычным. На землю летят пики, топоры, лопаты. Втв в середине раскинул руки, что-то кричит.

Что делать — побежали и мы. Крдж хватает за плечо, показывает. Бог ты мой, со стороны моря поднимается такая же шеренга — ночью, видимо, выкопали в песке ямы и там укрывались, ожидая нас, справа, на анлаховом поле — третья. Выходит, с утра уже знали. Кто-то в городе слышал речь Крджа, сразу побежал предупредить... Нет, не с утра. Раньше. Иначе не успели бы здесь подготовиться.

Приблизилась окраина. Сзади, с боков, держа строй какого-то открытого каре, бегут «братья».

А это кто стоит, прижавшись к стене дома на углу?.. Вьюра! Увязалась-таки. Схватил ее за руку, вырвала, бежит рядом. Впереди ополченцы рассеиваются в переулки, подворотни, парадные.

Куда?.. К башне! Прямо.

Пронеслись мимо решетки разоренного сквера. На улицах пусто — то ли паника нас обогнала, то ли в самом городе что-то случилось. Выбежали на перекресток.

Впереди во всю ширину улицы плотный строй синих. С обнаженными мечами идут от музея на нас.

— В разные стороны!

Кто это крикнул?.. Я, кажется.

Толкнул Вьюру с Втвом налево к морю, Крджа направо. Сам прямо с тротуара в ближайшее окно —

прыжок на мировой рекорд. В комнате пусто, на пыльном полу черные пятна с разводами. Бросился к противоположной двери, по грудь провалился сквозь гнилые доски в подпол. Внизу в чем-то застряла ступня — похоже, что в древнем пружинном матрасе. Дергаю. Под второй, опорной ногой что-то ломается. Пытаюсь упереться руками в доски, но они гнилые, от них куски отваливаются.

Заслонило в комнате свет. Во всех трех окнах «братья» с мечами.

— Бросай нож!

Про нож знают. Откуда?.. Бросил.

— Выходи.

На улице Крдж в окружении синих. Рот в крови. Успели с ним только переглянуться.

— Пошел! — Толкнули в спину.

Во дворе за столовой дом с решетками на окнах. Не знал даже, что тут есть такой. Обитая железом, плотно пригнанная дверь в камеру открылась, чавкнув, словно вытасненный из насоса поршень. Под самым потолком застекленное отверстие в два кирпича. Привыкая к полумраку, сел у стены.

Какие-то бессмысленные мелочи лезли в голову. Удивился, что нет в камере пауков, потом сообразил — новый же день, а не вчерашний. Вчера, как поднялось солнце, они все вместе с ящерицами исчезли, и кто-то рассказывал, что видели ядозуба, быстрыми рывками пробегающего по улице к пустыне. Представил себе, как от него шарахаются, а он и кусать никого не собирается, только хочет своими непредсказуемыми бросками выйти на пески... Ни с того ни с сего вспомнилось, как «добровольница» Совета во время собственного выступления вдруг заснула, не окончив начатой фразы, — что и говорить, утомлялись, конечно, все.

Только к ночи стал думать о главном. Итак, нас разбили одним-единственным ударом. Зачеркнули Вьюру, такую счастливую тогда днем на острове, моло-

дежь, ночью ожидающую открытия нового настоящего музея, все планы СОДа сделать город независимым от машины. Теперь в лучшем случае — если не перебьют всех безоружных горожан — снова грязный пляж, маленькие молчащие очереди к столовой, песок, заносащий дома.

Утром чавкнула дверь. Атлет в синем костюме бросил в камеру хлебец, поставил на пол кружку воды. За ним в коридоре еще три фигуры — в одной, казалось, узнал старосту. Постояли посмотрели. Снаружи лязгнул засов.

Хлеб взял. Пока живой, умирать незачем.

Понятно было, почему они так легко своего добились. Опыт. Веками накопленное умение удерживать власть. А нам-то как раз не надо было срываться со всех дверей, открывать свои карты. Но ведь не знали ничего. На усадьбу случайно наткнулся. Тот старик, который насчет «младших сыновей», слишком поздно возник, когда на нас уже другие проблемы навалились. Тут и сыграла роль секретность, которой распределители всегда себя окружали. А теперь как дальше, что за общество у них будет?.. Наверное, постараются стабилизировать в усадьбе феодальный строй, сделать неизменным на все времена.

Обо всем готов был думать. Только не о том, что с Вьюрой сделают, если ее схватили. И при этом понял, что полюбил по-настоящему, только когда на митинге под огромным красным солнцем и черным небом она выступила обнаженная, с распространенной точки зрения страшная — руки-ноги, словно кости, и маска на лице, наверняка обезображенном. Конечно, она была прекрасна в купальнике, когда решили плавать, но еще прекраснее на трибуне. Редка ли такая любовь или нет?.. У английского поэта девятнадцатого века Йетса есть стихи «К Анне Грегори». Там проводится разница между любовью подлинной и наносной, мимолетной. Юноша говорит о золотистых волосах девушки, пробу-

дивших его любовь. На это Анна отвечает, что может сделать волосы каштановыми или черными и так узнать, ее ли самое любит юноша. Тут вступает автор с мыслью о том, что как личность, как нечто независимое от внешности Анну Грегори может любить только бог, а человеку свойственно получать выход в духовную сферу лишь через впечатления материальные, физические. В камере мне стало понятно, что люблю, как бог. Что бы с ней ни случилось, какой бы и кем ни стала. Только ее и никогда другую...

Три дня, три черствых хлебца.

На четвертый с рассветом, но раньше, чем обычно, загремел засов. Открылась дверь, но хлебец не летит, воду на ставят. Значит, моя очередь на допрос и на пытки.

Вошел один. Рослый. Посмотрел на окошечко под потолком, по сторонам, хотя было еще темно.

Кивнул слегка.

— Привет... В тот раз как-то не представился. Бдхва.

Парень, которого встретил на посевах анлаха. В коридоре за ним никого, а он стоит ко мне боком без всякого опасения.

Будто угадав мои мысли, вынул из-за пазухи нож. Мой. Крепко держа рукоятку, повел им в воздухе. (Попробуй броситься, руку отсечет, и не заметишь сначала.) Прошелся по камере.

— Того, который на анлахе вашему человеку голову отрубил, этой ночью зарезали.

— Кто?

— Неизвестно. — Совсем спиной ко мне стал. — А тут лес есть.

— Лес?

— ...

— Где?

— От дюны берегом шесть дней пути... Горы, за ними лес.

Повернулся ко мне. Теперь в лицо ему падал свет из окошечка. Голубые глаза, взгляд со знакомой ленцой. Поднял нож, аккуратно разрезал себе рукав синей обтягивающей блузы. Провел лезвием по обнажившейся руке. Кровь хлынула. Вдруг вскользь ударился плечом и головой о шершавую кирпичную стену. Испустил длинный вопль такой отчаянности — показалось, стены вокруг рушатся. Стал заваливаться назад.

Как он упал, я не видел. Под этот ужасающий вой уже мчался по коридору. Сбил с ног двоих, которые в вестибюле застыли, прислушиваясь, в дверях свалил третьего. Выскочил через дверь на улицу, дал спринт. На главном проспекте полно «братьев» — сразу встретились. Повернул в переулок, там во двор. Думал, проскочу сквозь квартиру на нижнем этаже, а если пол гнилой, то у самой стенки быстрой ящерицей ползком. Будут гнаться напрямик через середину комнаты, сами попроваливаются.

И затормозил в подворотне.

Вьюра.

Вольная, статная, уже без маски. Во дворе отходит от группы «сыновей», подняв руку приветственным прощальным жестом. И те ей так же отвечают.

Встретились взглядами. Она, покраснев, дернулась назад.

Повернулся, вылетел со двора. И с одной стороны синие, и с другой.

Рядом труба. В ней рокочет.

Прыгнул.

Боги бессмертные! Оказался в щели вращающегося барабана. Отрывает ногу... Уже оторвало. Спускает вниз головой, сунуло на выгнутую поверхность. Стенки щели движутся, толкают меня, отворачивают шею. Зерно себя так чувствует под жерновом... Выкинуло. Нога, кажется, со мной. Еду на чем-то... Стало светло, впереди опускается и поднимается нож. Весь в комок. Не сознание, а что-то другое само сжало... Проскочил. Опять

качусь на ленте. Впереди затянутое молочным туманом пространство. Чувствую, куда-то меня сейчас сбросит. Мимо проплывает узенький коридорчик. Прянул туда. Головой в твердый пол. Вскочил, упал, отключился.

...Лежу. Рядом гудит лента. Поднялся, побрел в конец коридорчика. Дверь без ручки. Уперся — все равно что в пирамиду — видимо, с той стороны открывается. Железо почему-то мокрое.

Пошел в другой конец, к ленте. Быстро катит и справа метрах в тридцати обрывается прямо в воздух. Если бежать по ней, повернувшись спиной к ходу, можно подобраться ближе к концу, увидеть, на миг оглянувшись, что там внизу. Но опасный эксперимент. Зазеваешься, сбросит в бункер, либо в какой-нибудь чан. А влево по ленте нож, как гильотина. Для резки анлаха.

Сел. Посидел.

Выходит, у Вьюры все было обманом. Что не видит острова, притворялась — там, в ущелье, как раз ее место отдыха. Сама из «видящих». Даже ростом больше походит на тех, кто в усадьбе, чем на горожан. Лгла мне, когда ужасалась тому, что ем сырой жуг с дерева, когда спрашивала о разнице между инстинктом и разумом. Ложью было все то, что я принимал за чистую монету.

Даже интересно стало — единственный я такой лопух во всей Вселенной или где-то в глухих ее уголках могут быть мне подобные?.. Но, с другой стороны, ведь она детей спасла. Необъяснимо.

Что же касается моего теперешнего положения, выхода нет из западни, в которую себя загнал.

Подумал, что если бы сейчас вместе с железным коридорчиком стал бы проваливаться в бездну или какая-нибудь другая катастрофа, огромное испытал бы облегчение от того, что все кончается. Даже счастлив был бы — думать уже не надо, стараться понять, что-то делать.

Увы, это прекрасная, но только мечта! Катастрофы

нет, а самому прыгнуть сейчас на ленту-конвейер — предательство.

Еще посидел. Отчаяние надо уметь преодолевать. Еще в юности заметил, что слишком эмоционален, взялся себя контролировать. Когда серьезная неудача, надо со всей силой ее пережить. Уйти вглубь, представить себе все возможные последствия и ужаснуться. Один раз так, другой, третий... От этого повторения она перестанет так уж волновать. Да, умру здесь в крайнем случае. Ну и что? Бессмертных нет. Однако ведь свершилось нечто на Иакате. Вымирали горожане целых полтора столетия, и если б не произошло здесь что-то экстраординарное, так и исчезли бы лет через сто. Но произошло, пробудились. Что бы там дальше ни было, однако хоть в усадьбе, но останется об этом память. Кого-то когда-то зацепит... От этой мысли тропиночка пролегла к Бдхву. Раз уж выпустил меня, может быть, он что-то сделает. Кроме того, ребята на Лепестке. Когда решил высадиться, послал сообщение. Дойдет дней через сорок пять... То есть почему «дойдет». Вот как раз сейчас дошло, читают. Будут ждать следующего. Не дождутся, станут связываться и опять связываться с кораблем, с «Аварийцем». Одним словом, месяцев через пять на Иакату прилетят. Вопрос в том, чтобы продержаться без пищи полторы сотни дней. Но ведь и больше люди голодали. По двести пятьдесят — была бы настоящая цель.

Вдруг тревога пронзила. Вскочил, побежал, ведя рукой по стенке коридора. Мокрая. Воздух здесь влажный, в нем тонны и тонны воды. К позднему утру туман конденсируется каплями. Если одной рукой сгребать в другую, стакана два-три буду получать. Ура!

Теперь насчет цели. Не имею права умирать, потому что с этим островом вовлек горожан в кризис. Пока неизвестно, благодетелен он или нет. Если город останется жить — первое.

Конечно, оно не так-то просто — полгода не есть.

Тем более что третья голодовка за сравнительно короткое время. Главное — тут в коридоре делать совершенно нечего. Но раз нельзя работать телу, остается сознание. Надо с утра придумывать, о чем весь день думать, и строго выполнять задуманное. Если пушу мысли вразброд, конец мне.

Лег, положил руки за голову. Задача — не сойти с ума. Начнем. Попытаемся, например, составить нравственную историю Иакаты...

Хотя нет! Сначала два постулата. Во-первых, считаю, что город не погибнет — не решатся видящие прибегнуть к крайней мере, ведь кто-то уже наказан. Во-вторых, не думаю о Вьюре.

...На первый взгляд нравственная история — нелепость. Говоря о прошлом, всегда имеет в виду череду событий, обусловленных экономикой, классовой борьбой. Однако, если мера всех вещей — человек, то, скажем, положение, когда его слово стоит копейку, и в обществе ни на кого нельзя ни в чем положиться, точнее характеризует эпоху, чем зримые успехи в области технологии или объявленные — в сфере культуры. Потому что в конечном счете человек живет другим. Сердцем и головой, чувствами и понятиями. Существенно при этом, что он (как, вероятно, все живое в природе) более приспособлен для наслаждения, чем для страдания. В отношении семь к одному! Ставшая крылатой мысль Чехова «создан для счастья» экспериментально доказывается устройством мозга. Шестьдесят процентов его массы заняты физиологией, так сказать «техническим обслуживанием» организма. Но из оставшихся сорока процентов на раздражение электрическим током тридцать пять реагируют чувствами удовольствия, подъема и только пять — тоской, болью, тревогой, страхом. Как правило, жизнь делят на общественную и личную — при этом последняя понимается как отношения полов и быт. На самом же деле общественное и личное интегрированы, входят одно в другое. Не только дома, но и на



работе человеку может быть хорошо или плохо, там и здесь он испытывает либо вдохновение, либо тоскливую скуку. Чувствует. Эти чувства неподконтрольны никому, ничему, и от них именно зависит его поведение хоть на заводе, в институте, на поле, хоть дома. Забвение властью имущими указанного обстоятельства приводит к неминуемому провалу их собственных планов, так как ход истории в данной стране (на данной планете) определяется как раз уровнем народной нравственности или безнравственности. Конечно, сама она зависит от многих факторов социально-экономического толка, но взятых обязательно в их конкретном жизненном проявлении, не в абстрактно-лозунговом плане. Назвать-то можно все как угодно, а важна только фактическая ситуация...

Однако, может быть, Вьюра...

Сбился, затем опять подхватил ускользающую мысль.

...В этой зависимости всего происходящего в мире от индивидуальных чувств и понятий есть что-то принципиально утешительное. Самое важное везде зависит от нравственности, а она является прерогативой каждого создающего себя личностью...

С этими соображениями заснул и проспал больше суток.

Казалось бы, в моем положении неожиданности исключены. Но они были. Проснулся. Неторопливо — энергию надо беречь — подошел к шуршащей ленте и как раз застал феномен. Справа на моих глазах молочный туман прорезался солнечным лучом. Получалось, в центре машинного зала тоже наверху труба, а солнце в zenithе как раз проходит над ней.

Вообще же дни потекли одинаковые. Приучился спать по восемнадцать часов подряд — только с боку на бок переворачиваешься. Прогулка взад-вперед по коридорчику, легкая гимнастика, размышления, сон.

Додумал про иакатское общество, взялся за маши-

ну. До каких пределов можно вообще развивать технологию? У нас на Земле, две тысячи шестой год, наиболее изощренные и быстродействующие компьютеры могут быть сконструированы лишь самими компьютерами с незначительной только помощью человека. Завтра уже вовсе без помощи. Но в результате уже начинает ускользать возможность приведения к человеческому смыслу научных и технологических истин. Их можно доказывать уже только математически. Новые мыслящие машины создаются и действуют, однако их устройство и функции не соответствуют нашему жизненному опыту, не выражаются словом. Этим мы как бы выпускаем вожжи из рук, отдаемся на милость технологии, будучи не в состоянии понять того, что в состоянии сделать. Наша сила обгоняет нашу мудрость. Вот создали здесь на Иакате кормящую машину, получилась унылая серая жизнь. А если бы такую придумали, что как раз предполагала бы невероятные усилия для добычи пищи из нее? Какие поколения выросли бы — толпы гениев!..

Вообще дисциплина ума много сложнее дисциплины тела и поведения. Трудно удерживать мысль постоянно в должном направлении. Но старался. Распределил. С утра первая порция размышлений: социология, философия. Это легко проходило, потому что впереди главный в сутках момент — пью воду. Второй этап самый длинный. Перечитывание на память стихов, драм. В эти часы тоже была приманка — гимнастику сделаю. И на третье; «на сладкое», воспоминания. Удивляло даже, сколько можно извлечь из памяти, если сосредоточиться. А на самом заднем плане сознания все равно Бьюра. «И жалею, и зову, и плачу».

За месяц один раз слышал донесшийся откуда-то стон металла, с ним дрожь прошла по коридору.

Заметно похудел, начал ощущать приступы слабости. Но знал, что пройдут. Не испугался.

Однажды в полдень подошел к ленте, чтобы взгля-

нута на солнечный луч. Он появился, но не исчез, как ему полагалось, только потускнел.

Что это? Солнце, что ли, остановилось, Иаката перестала вращаться?

Всмотрелся. Длинная палка висит. Шест... Нет, не шест, а веревка, спущенная сверху из трубы. Ее конец — свободно в воздухе. Метрах в десяти от обрывающейся ленты конвейера.

Кто?.. Парень с ножом, Бдхва?

Сначала смотрел, будто меня не касается. Потом заколотилось сердце. Вызов! Не в смысле, что меня оттуда зовут (хотя и это тоже). Прежде всего вызов моей решимости. Прыгну или нет?

А если не прыгать, то тихая смерть на металлическом полу. Я же напрасно себя утешаю насчет прилета с Лепестка. Ребята появятся, несомненно. Но как искать в машине, которая размером в целый город? Которая, возможно, и не пустит внутрь?

Итак, должен быть прыжок туда, в центр зала. Когда?.. Прежде всего раскрепостить закованные суставы. Рассчитав длину ленты, потренироваться в коридоре так, чтобы толчковая нога пришлась точно на тот вал, с которого лента уходит вниз.

Пять дней на подготовку.

С этими мыслями неожиданно для себя вскочил на конвейер.

Рвануло... Едва удержался на ногах... Несет... Побежал... Прыжок... Лечу... Ударяюсь лицом о веревку. Схватился... Боже мой, валюсь в пропасть вместе с веревкой — не выдержала!.. С силой дернуло ее из рук. Ладони в огне. В самый последний момент удержал конец.

Завис в воздухе. Внизу туман. Громче рокот каких-то механизмов.

Теперь мог бы, раскачавшись, прыгнуть обратно на конвейер. Но не удержаться. Лента сразу ударит, отбросит. Назад пути нет. Либо пролезу туда, откуда ве-

ревка свисает, либо... В ближайшие пять минут все решится.

Подлез под самый потолок. Над головой в дыре медленно вращается крупномодульный червячный вал. Канавка с ребристой поверхностью. Что у нее больше — ширина или глубина?.. Если влезу туда, само будет дальше затаскивать. Уже не вырвешься... Раздавит или нет?.. А, ладно! Одной рукой за веревку, другую к животу. Втиснулся. Захватило, протаскивает. Кости трещат, трещат. Не понимаю, почему бедро сжало — плечи-то шире. Кажется, что самого из собственного тела выдавливает... Умираю... Из ушей, из носа кровь... Выкинуло наверх.

Вот он, край трубы. Перевалился.

Минут пять сидел на мостовой, весь дрожа от напряжения. И ликуя! Чудо. Я на поверхности земли. Кое-как вытер кровь с лица, с шеи. На улице пусто. Веревка тут же рядом уходит в окно подвала. Полез туда. Низко, стоять можно только на корточках. В песке на полу женщина. К ступне привязан конец веревки, которая дальше через щель в кирпичах идет наружу. Перед щелью узел — он-то и остановил веревку, когда я там внизу прыгнул. Если иначе, оторвало бы женщине ногу. В полумраке не понять, кто именно лежит. Тронул за плечо. Она приподнялась, что-то тихо сказала, опять легла. Снова приподнялась, села.

Вьюра!..

Онемел, не знаю, что говорить.

Она вдруг заплакала. Смахнула слезы, улыбнулась. Полезла куда-то в глубь подвала, вытащила оттуда узел, подала.

— Вот, переоденьтесь.

— Зачем?

— Надо. Посидите здесь, я через минуту приду. — Отвязала от ноги веревку, смотала, бросила на песок. — Без меня на улицу не выходите.

Ждал ее весь день до ночи. Вышел, побрел к баш-

не. По пути выкупался, смыл с тела кровь. Ярко светили звезды, на улицах никого, как раньше, до острова. Возле башни тоже пусто. Пошел было к нашему общежитию. Откуда-то сзади негромкий голос:

— Кто это?.. Вы, Сергей?

Подошел. Доброволица Тайат.

— Так мы все обрадовались, Сергей, представить себе не можете. Когда Вьюра рассказала, что вы уже наверху... А она где?

— Кто? Вьюра?

— Ну да! Она ведь за вами пошла. Рассказала, как вы по веревке, и пошла.

(Сказать или не говорить про Вьюру?)

— Днем еще пошла?

— Днем. И напрасно. Могли схватить. Ее же все знают.

— «Сыновья»? (Сказать или не сказать?)

— Какие «сыновья». Их давно нет. Ушли. Ах, да, вы же ничего не знаете!

Увидел, что на месте той дыры, которая осталась от кратера, извергавшего шарики, теперь высится большая дюна. И идем мы с Тайат не в общежитие, а дальше.

— А как получилось с «братьями»?

— Давайте посидим.

Сели. Она начала рассказывать. Оказалось, что в первый день, кроме меня и Крджа, было захвачено несколько членов Совета. Крдж умер под пытками — хотели дознаться у него, где комплект с чертежами машины. Саму доброволицу тоже истязали. Все это было в столовой возле тюрьмы. Вдруг к ним туда ворвался один из «братьев», зарубил мечом Глгла и еще двух палачей. Было побоище, его в конце концов убили. Потом два дня прошли спокойно, больше никого не терзали. «Братья» — всего около двухсот человек — жили тогда в домах около тюрьмы. И вдруг там крики, шум. Синие выкатились на улицу. В домах напротив жители

дрожали, думали, началось истребление горожан. Потом, кто посмелее, стали выглядывать в окна, поняли, что «братья» между собой. Крови пролилось много. Та группа, что побольше, изгнала меньшую из города. Победители остались еще на два дня, похоронили все трупы. Один стучал в двери башни, сказал, что снимают осаду и уходят. Навсегда.

— Была осада башни?

— В первый день напали. Но не вошли. Наверху там обнаружилось оружие — мечи, пики. Мужчины вооружились, не пустили — лестница-то узкая... Тогда осада. В башне три дня были без воды. Не знали уже, что делать, ведь там еще и дети. Выюра потребовала, чтобы ее ночью спустили на веревках с третьего этажа. Мужчины сами хотели, но из них никто не мог пролезть в окошко — те, которые на пустыню выходят, совсем узкие. Этой же ночью она вернулась, подала сигнал, чтобы подняли. Подслушала разговор синих, что в подвале башни колодец. Нашли, пили воду.

— А вы где были, Тайат? Тоже в башне?

— Не сразу, попозже. Меня отпустили после первого убийства в столовой. И в башню разрешили войти. Вообще стража была не строгая... Ну, пойдемте.

Пошли по натопанной тропинке вдоль домов. Спросил, откуда взялась дюна.

— Дюна? — Остановилась. — Да, это уже не при вас было. Машина стала кричать. Страшно. Такие металлические вопли.

Снова сели. Над пустыней взошла луна, теперь ясно видел исхудавшее лицо Тайат. Рассказала, что первый крик раздался вскоре после того, как ушли «братья». Народ уже осмелел, повыходил из домов, все заглядывали в люки, в столовые, но букуна не было. А трактористы возили анлах к трубам, совали туда.

Помолчала.

— Трактористы были за нас. — Вдруг отвернулась, всхлипнув. — Такая чувствительная сделалась, извини-

те, Сергей. Плохое вспоминаю, не плачу. А как что-нибудь хорошее — слезы. — Вытерла глаза. — Они всегда были за нас.

Стала рассказывать, что из-за этих криков всем пришлось переселиться в восточную часть города. Невозможно было выдержать. Некоторые смотрели издали — близко подойти нельзя было. Какой-то механизм вылез из-под земли. Или часть его. Что-то делал, непрерывно издавая вопли — может быть, как раз затем, чтобы не подходили, не испортили его, не помешали. И вот нагреб эту дюну... Одним словом, переселились. Особенно трудно пришлось членам СОДа. Целые дни таскали из башни на восток оставшиеся мешки сахарной пыли.

Смотрел на нее. Раньше была очень ладная молодая женщина. А теперь еле идет.

Остановилась.

— Посидим еще.

— А далеко? Давайте понесу вас.

— Да нет, ни в коем случае! Что вы?

Все-таки взял ее на руки — весу-то килограммов двадцать пять. Видимо, сильно мучили во время допросов. А она-то, пожалуй, и не знала, где спрятан комплект. Вьюра, наверное, скрыла от членов Совета, надеясь, что сам я об этом не буду говорить.

Понес вверх по песку, потом вниз, но уже в направлении города. Понятно было, что с СОДом что-то случилось. Иначе зачем такие предосторожности — от города, к городу. Созвездие Лепестка стояло прямо над головой. Может быть, оттуда как раз радиосигнал летит сквозь черный космос, регистрируется в «Аварийце». Ребята не знают, что со мной. Должен был, конечно, связаться, но не хотел докапываться до корабля. Узнают видящие, что в нем побывал, спрячут снова, да так, что никогда не найдешь.

А вообще наслаждение было после мучительных недель в душном коридорчике идти в пустыне ночью.

И казалось, что в целом на Иакате стало лучше. Про голод Тайат ни слова, значит, горожане как-то выкрутились.

— Ну давайте, я пойду. Отдохнула.

— Да ничего.

— Тогда вот сюда влево вниз.

Мы были теперь на бархане, где я когда-то трудился. На улице, в которую он уже вступил. Стали спускаться к засыпанному до третьего этажа дому. Из окна один кто-то выходит, второй. Третий, кажется, Втв.

— Сергей! Ты? — Распростер объятья.

Поставил Тайат на ноги.

Вдруг боль пронзила всего сразу. Упал на спину. Потерял сознание.

Потом оказалось, что трещина в шейке левого бедренного сустава, надломлена лучевая кость предплечья, сломано четыре ребра, — все, когда протаскивало через червячный вал. Но ведь не чувствовал, вылезая из трубы. Весь поломанный забирался в подвал, вылезал оттуда, шел один и с Тайат по улице, садился, вставал в пустыне, нес молодую женщину, донес до места и только тогда рухнул. Держали счастье, что вырвался из машины, подъем, который испытал, увидев Вьюру, нетерпение, с каким ждал ее, встреча с Тайат и радость вдыхать воздух с моря.

Только к середине следующего дня пришел в себя. Темная комната, а в длинной узенькой щели между массой песка и верхним обрезом оконного проема солнечно. Лежу на полу. Рядом Тайат со здоровенной миской свежего букуна. Умял все, заснул, даже не спросив подтверждения, что букун наконец пошел в столовых. Так дней десять — разбудили, поел и обратно в полусон-полубред. Помню, что на импровизированных носилках пять раз перенесли с одного места на другое, то вверх через какие-то дыры протаскивали, то вниз спускали. Однажды, когда поспешно уносили, слышал за стеной крики и шум толпы. Потом лежал в каком-то



подвале на окраине вечером, и через два окошка туда били лучи заходящего солнца. Нежился в них. Прозвучали с улицы приближающиеся шаги, несколько человек остановилось рядом. Один нагнулся, заглянул в подвал. Староста! Встретились взглядами, некоторое время смотрели друг на друга. Потом его лицо исчезло, услышал снаружи равнодушное: «Никого нет».

Вот тебе и староста Рхр.

Поправлялся удивительно быстро. И Тайат тоже. Букун, как выяснилось, пошел, когда я еще в машине сидел. В нем, видимо, изначально были заложены какие-то целебные вещества. Ребра мои, лучевая кость срослись за неделю, на второй уже начал потихонечку вставать. Только левая ключица (позже понял, что еще и ключица) срослась с маленьким смещением. Остальное же, как ничего не было. Ночью уже ходил и бегал в пустыне.

Постепенно выяснил положение в городе. Иакаты против Совета. Кроме детей и молодежи от пятнадцати до двадцати. Власть держит Народная Партия при полном согласии всех взрослых. На «митинги» приходят с лозунгами «ДОЛОЙ РАЗУМ, ДА ЗДРАВСТВУЕТ ИНСТИНКТ!». Возобновилось прежнее повторяющееся издание. «Ни в коем случае...», в картинной галерее по стенам только Попечитель, от острова отреклись, в газете было официально объявлено, что его никогда не было и нет. Все без какого-либо давления со стороны видящих. Сами. «Тинэйджерам», подросткам и молодежи, строжайше запретили гулять по почам, собираться группами больше трех человек.

Члены СОДа скрываются в полузасыпанных домах северной части города. Днем показываться на улице им опасно. Втва однажды узнали возле столовой, окружили, кричали, замахивались на него. До побоев дело, правда, не дошло — не хватило решительности. И приказ Комитета Народной Партии арестовывать активистов Совета, вести в тюрьму, тоже не был выполнен.

Так же около сквера получилось с Вьюрой. Кто-то, схватив ее за руку, хотел тащить куда полагается, но вступился человек, заявивший, что Вьюра спасла от голода его дочь. Двое стали лицом к лицу, толкая друг друга выпяченными животами и переругиваясь, а Вьюра ушла. Разговор о ней поднимался всякий раз, когда упоминалось ее имя. Вспоминали, рассказывали разные связанные с ней случаи. Узнал, что после ухода «братьев» ночевала только в подвалах центра, привязав к ноге веревку, другой конец которой уходил в ближайшую трубу. На Совете думали, гадали, где она, как спасти. А я так и не сказал никому, что видел ее в компании синих.

При всем том, единственной персоной, которую всерьез искали и всерьез ненавидели в городе, был я. На меня, чужого, а не на «видящих» валили «распущенность» молодежи, остановку машины, голод, черное небо и устрашающее огромное солнце, гибель Змтта. Те, кто по почам тайно приносил нам букун, пересказывали беседы иакатов на пляже. Там хвастают один перед другим, кто сколько мисок букуна съел за день, соглашаются, что теперь для настоящей жизни опять есть все: превосходная еда, солнечный пляж (— А на что нам этот остров сдался, если он вообще есть? Я, например, его не вижу, а ты? — Конечно, нет. А как увидишь, если его просто не существует?), газета и музей для удовлетворения культурных потребностей — то, что листки постоянно одинаковые, а картина по всем залам одна и та же, вовсе не мешает, поскольку ко времени, когда получаешь свежую, позавчерашняя уже забыта, а портрет Попечителя лучше запомнишь именно из-за повторения. И тут же дружно проклинаят Совет, особенно меня, за уничтожение статуи, так украшавшей сквер и город. Никого из взрослых не уговоришь в библиотеку, на ремонт городских зданий, откидку песка, который уже захватил восточный район и языками даже вторгается в центр. То есть берут лопаты, только когда

букун посылает, но лишь «от сих до сих», ни мгновением больше. Понятно было, почему. Какие уж теперь из взрослых горожан работники? Пять-шесть поколений полного иждивенчества сделали свое, лень и безответственность одолели, мысль о том, чтобы работать, преодолевать первые трудности перехода на самообеспечение ужасает, и никто не думает о завтрашнем дне.

Понятно и... горько. Такие планеты, как Иаката, редки в этой местной звездной системе. Огромная, щедро одаренная природой — не то, чтобы какая-нибудь невеличка без атмосферы, без жизни. Позади расцвет флоры и фауны, цивилизации, культуры. Все еще можно вернуть, дать развиваться и самим развиваться дальше. Пусть кругом пустыня, но небо сияет голубизной, водоросли океана дают кислород. Несколько десятков тысяч разумов в городе — огромное богатство. Но не хотят. Как в прошлом у нас на Земле алкоголики и наркоманы, так и здесь взрослые и пожилые иакаты, не думая о самих себе, о будущем, о потомках, предпочитают медленно вымирать.

Отгремело. Была попытка и сорвалась. Но по ночам где-нибудь во второй, третьей комнате пустой квартиры, куда пролезть-то можно лишь сквозь полузасыпанное песком окно, горит свечка. Свет ее не виден с улицы, а вокруг тесно сидят оставшиеся в живых члены СОДа и активисты.

Долгие обсуждения и споры.

— Горожанам нужна ясная и близкая цель. Лозунг!

— Лозунги ничего не дают. Человека учит только сама жизнь.

— Взрослых она уже выучила. Их не перевоспитаешь. Только молодежь за нас.

— Нет! Наша надежда на всех тех, кто еще не потерял надежды. Даже на стариков. Помните, каким был тот старый маляр?

— Молодежь нужно постепенно отделять от машины.

— Отделить от нее сначала самих себя. А мы сидим здесь и ждем, когда принесут букун.

— Для начала хотя бы медленное движение.

— Как раз немедленное, а не так, что... Необходим прорыв. Например, вывести молодежь из города.

— Куда?.. Если б мы знали, что сейчас в усадьбе делается. Может быть, слуги восстали против господ. Вот там бы начать хозяйствовать. Оттуда не побегаешь на завтрак, обед и ужин.

Все чаще звучало слово «лес». Бдхва сказал мне. После того, как я вышел из машины, узнал Совет. От него слухи пошли дальше по городу.

В общем, пошел я. То есть не сразу пошел искать лес, а собирали, сушили сухари в дорогу, отыскивали где-то пластиковый мешок для воды на случай, если придется отойти от моря. А кого еще было посылать, если все мои друзья за всю жизнь из города ни разу не выходили, даже по звездам и солнцу ориентироваться не умеют, гор никогда не видели, в трех соснах заблудятся?

Неописуемое наслаждение было — шагать вот так одному, имея ясную и в принципе достижимую цель, оставив позади личностные и другие неразрешимые проблемы. Пустился в путь в середине ночи, чтобы к рассвету оставить далеко позади поля анлаха, деревеньки, усадьбу и большую дюну. Отъевшемуся наконец, отдохнувшему, здоровому шагалось удивительно легко, вольно — при каждом шаге остается еще запас играющей в теле энергии. Смотрел на звезды, на пустыню, которая, как правило, больше обещает ночью, чем предлагает при свете дня. В густо заросшем зеленью море изловил десяток рыбешек, проглотил, закусил сухарем и со счастливым ощущением физической и внутренней собранности — всё мое со мной — лег спать на отмени, наполовину погрузившись в теплую воду и накрыв

голову пучком влажных водорослей. Выспался, снова берегом. Путь вовсе не тяготил. Справа море, насчет которого не возникает никаких вопросов — оно затем, чтобы по нему плавать на своих судах человеку, а в его глубине радостно существовать разнообразнейшей живности. О пустыне же можно думать часами. Бесконечная, протянувшаяся до горизонта, порой каменная «хамада», как на Земле называют ее арабы, порой песчаная, она не отвечает на твое недоумение — «Зачем?». Сама для себя? Странно, что на безжизненных планетах о таком вообще не думаешь, бесконечные голые ровные поверхности и хребты высоких гор кажутся там совершенно естественными. А здесь нет, здесь пустыня — вызов человечеству. Подозреваешь в ней непонятную чужую душу. Камни и камешки покрывают каменное же ложе, и можно часами спрашивать себя, почему именно этот именно здесь. Берешь камень, бросаешь его, и он ложится, решительно ничего не меняя в облике окружающего, будто от века был там. Крикнешь, крик падает тут же у твоих ног. Нет жизни, и вместе с тем она есть, но к ней не подступишься, ее не встревожишь, потому что ее бытие — вся бескрайняя равнина до той едва заметной линии, где уже голубовато-серая она сходится с горизонтом. Чудится тайный смысл, проникнуть в который тебе не позволяют. Идешь, идешь, и только изгибы береговой линии — мысы, бухточки, отмели, убеждают, что движешься. Сон, отдых, снова в путь.

На второй день, купаясь, случайно глянул назад и увидел вдаль, километра, может быть, за два от меня, человека. Его фигуру иногда размывало горячими потоками воздуха, которые поднимались от по-разному разогретой поверхности пустыни, а в другие моменты фигура становилась четкой — рослый, широкоплечий мужчина.

Возможно, кто-то из Совета решил все-таки присоединиться ко мне. Не исключено также, что догнать ме-

ня с намерениями недружелюбными хочет кто-то другой.

Вышел из воды, остановился.

Остановился и тот человек.

Пошел ему навстречу. Он стал отходить назад.

Еще раз остановился. И незнакомец сделал то же самое.

Побежал к нему, и он стал убегать с похвальной быстротой.

Что за дурацкая игра? Или кому-то из усадьбы поручено следить за мной? Но спрятаться тут негде.

Пошагали дальше — он в двух, иногда трех километрах от меня.

Побежал в сторону от моря, и мой преследователь, сохраняя дистанцию, последовал за мной.

Ладно, я тебе устрою штуку. Вернулся к берегу, всю вторую половину дня бежал, надеясь, что он устанет и отстанет.

Не устал, не отстал. Это уже становилось интересным. Опасаться мне было нечего — на Иакате нет таких, с кем не справился бы один на один и кто застал бы меня сонного врасплох.

Садилось солнце за спиной. Повернулся, полюбовался. После того, что было, такими непривычно прекрасными стали закаты, восходы, долгий путь светила над головой. По-новому оценили. Может быть, как у нас древние египтяне, — бог!

И там на фоне пурпурной полосы он, мой преследователь.

Стемнело. Бежал и шел еще несколько часов. Спустился в воду, — сухари тоже в пластиковом мешке — отплыл, лег на спину, стал засыпать. Будет кто-нибудь приближаться, уши в воде — наверняка услышу, проснусь.

Никто не тревожил до утра. Поел, оглянулся. На том же расстоянии в два с половиной — три километра тот же наглый сопровождающий. Ну что ж, поспорим, по-

состязаемся. Даже весело стало, минуты и часы резвее покатались. Уже понял, что он не из горожан, поскольку там на такое никто не способен.

Припустил. Пустыня в этом месте песчаная, вся в мелких дюнах. Бегу вдоль берега по сырой полоске вблизи воды.

Передо мной уходящий порядочно-таки в море широкий, длинный мыс. Решил пересечь по прямой. Песок здесь несколько странный — не шелковистые сухие дюны, а как бы взвихренный небольшими частыми кучками — по верхушечкам песчинки желто-белого цвета, подсохшие, внизу влажные, коричневые.

Вдруг тяжело стало бежать. Сразу тяжело. Не успел задуматься об этом, на четвертом шаге проваливаюсь по колени. Огляделся, закусил губу.

Мама родная, зыбучий песок!

Подо мной либо сильный ручей, либо даже подземная речка.

Вытаскиваю одну ногу, вторая глубже уходит. И знаю, что если так вот топтаться, только скорее засосет.

Мне, конечно, следовало обратить внимание на бросающуюся в глаза разноцветность песка. Но был отвлечен соревнованием в марафоне. Впрочем, в этой широте верхний слой песка часа через два-три подсох бы, весь сделавшись белым, и уже не внушал бы мне опасений. Губительное свойство таких мест объясняется тем, что вода силами капиллярного натяжения поднимается снизу от какого-то источника, обволакивает песчинки, резко уменьшая сцепление между ними. Будь это просто жидкость, я бы в ней не утонул, только вытеснил бы такой объем песка, который по весу равен моему собственному. Но это, увы, только почти жидкость, и закон Архимеда здесь не действует.

Все эти мысли промелькнули в сознании мгновенно. Кстати, вспомнился читанный в детстве роман Уилки Коллинза «Лунный камень», где кто-то кончает с со-

бой, нарочно отправляясь в зыбучие пески. Но я-то теперь не хотел умирать, хотя в машине была минута усталости и слабости, когда об этом подумалось. Однако что же делать?

Поскольку ноги уже были плотно закреплены там, в глубине, повернул корпус, шею и посмотрел, появился ли уже мой странный спутник. Если друг (на что надежды не было), то поможет. Если враг, все равно приятнее умереть от оружия, чем быть задушенным мокрым песком.

А он уже возник и на этот раз не остановился, подражая мне, как обычно, а бодро двигался, приближаясь, и был теперь в километре от меня. Долго сохранять положение, в котором я бы его видел, было невозможно.

Откинуться, что ли, назад и попробовать вытащить сначала хотя бы одну ногу, хоть на немного...

Лежу на спине. Нога несколько вытащилась, но силы прямой и широкой мышц мало, чтобы совсем выдернуть ее из песчаного плена. Напрягаюсь что есть мочи, не получается. А замечаю, что между тем и спину начинает понемногу засасывать.

Выпрямился, опять оглядываюсь. Преследователь заметно ближе.

Ноги продолжают погружаться, теперь песок уже выше колен. Засасывает со скоростью сантиметра три в минуту, полностью скроет минут через пятьдесят.

Под ступнями холоднее, чем наверху.

Оглядываюсь.

Пресвятая богородица! Не мужчина это, а женщина. Вьюра!

Мужчиной издали оттого казалась, что за плечами какой-то груз, делающий их с виду гораздо шире.

Подошла.

— Во-первых, поведаю вам, что еле удерживалась от смеха, когда на Совете при вашем участии говорили об усадьбе. «Феодальный строй», «господа», «прислуга»,



«эксплуатация». Да, действительно, у нас господа и слуги. Первые занимаются самообразованием, изящными видами спорта, музыкой, танцами и другими искусствами. Вторые выращивают на полях урожай, снимают его, сохраняют, готовят господам пищу, убирают в особняках и в саду. Но мы меняемся ролями через год — вот что! — Сбросила со спины груз, вещевой мешок с короткими саженцами какого-то растения, присела на песок (не на зыбучий, конечно). — Хорошо, пусть горожанам, но вам-то как в голову не могло прийти, что только такое общество приучает человека и повиноваться с достоинством, и повелевать с уважением, расширяет его духовный кругозор, дает одним неотъемлемую перспективу стать выше, чем они сейчас есть, остерегая вторых от злоупотребления своими правами. По-вашему, может быть только так, что высшие — постоянно высшие, а низшие вечно внизу, и единственная альтернатива этому — равенство, при котором человек — ни то, ни другое, а нечто среднее, не способное быть ни дисциплинированным, как часовой механизм, ни полностью свободным в выборе, чем заняться?

За время этой речи я успел опуститься в песок сантиметра на четыре, и шея моя задеревенела. Спросил Вьюру, не сможет ли она сесть так, чтобы мне не надо было изгибаться, поворачиваясь к ней, и добавил, что место, на котором я нахожусь, очень опасно, что его следует обойти далеко.

Она встала, оставив мешок на месте, с изящным поклоном поблагодарила меня за своевременное предупреждение, обошла вокруг мыса по воде и села напротив опять-таки на твердый песок. За две минуты, пока она это проделала, я погрузился уже по пояс.

— Слушая вас на острове, — начала она, — я все ждала, когда же наконец вы скажете о том, что лидеры и руководители в ваших странах время от времени меняются местами со своими согражданами, которыми управляют. Но не дождалась.

У меня было что ответить на этот упрек, но, признаться, больше думал о том, понимает ли она положение, в котором нахожусь. Могла бы бросить мне одну из длинных лямок вещмешка, которую я привязал бы к ляжке своего, могла бы выкопать небольшую яму и, упершись в нее ногами, дать мне возможность вытащить себя из западни. Гордость не позволяла мне ввиду наших достаточно сложных отношений просить у нее помощи.

Я спросил, правильно ли мое предположение, что она принадлежит к видящим и являлась в городе... (тут я замялся, поскольку не знал иакатского эквивалента понятиям «шпион», «резидент», «тайный агент») ...наблюдателем.

— Совершенно правильно. — Она кивнула. — Вы догадливы. Могу также открыть вам, что участвовала в обсуждении плана, как остановить машину.

— Но если так... — На мгновение я даже забыл о том, что меня продолжает засасывать. — Если так, зачем вы спасали детей и даже отчасти взрослых, которых старались вытащить из домов, чтобы они шли на море за рыбой?

— А кто спас бы их? Кто? — В ее голосе был оттенок презрения. — В членах нашего уважаемого Совета... О присутствующих не говорят, конечно. — Сидя, она слегка поклонилась мне. — В членах Совета я не заметила особой расторопности.

Я сказал, что тут нечему удивляться, учитывая те условия, которыми горожане были воспитаны, и спросил, зачем она вообще затеяла всю историю с островом, если ее конечной целью было погубить город.

— А вы не понимаете? — теперь в голосе была и жалость.

— Нет. — Мое погружение несколько замедлилось, так как уже не только ноги, а более объемные части тела уходили вниз.

— Потому что по справедливости он должен принадлежать городу.

— Который вы, как и все видящие, ненавидели.

— Конечно.

— Где же логика? — Мне уже начало сжимать нижнюю часть груди, дышать стало труднее. — Вы приберегали остров для себя и сами же отдали его горожанам. Хотите, чтобы города вовсе не было, и сами же делаете все возможное, чтобы выручить его из беды. Наконец, если мне будет позволено перейти от общего к частному и незначительному, выказываете мне неодобрение и недоверие, но, как я слышал, дежурили в подвалах центра с привязанной к ноге веревкой. Не вижу последовательности.

Она рассмеялась.

— Даже удивительно, как тупы могут быть мужчины. Что касается последнего, того, кто в беде, надо выручать, неважно, друг он вам или враг. Вы не находите?

— Да. Но кто же вы сама при таких обстоятельствах?

— Человек. — Пожала плечами. — Человек, в котором, может быть, намешано много разного. Я, как вы, очевидно, поняли, была воспитана средой, где мы пробегали по всей клавиатуре чувств, не ограничиваясь единственной нотой, от непрерывного ее употребления уже дребезжащей, фальшивящей. Даже любовь и ненависть могут соседствовать, не говоря уж о бесчисленных оттенках других, противоположных чувств.

Тут она попала в самую точку, потому что я сам в этот момент ненавидел ее за светский тон, неуместный при том положении, в каком я находился, и любил не меньше, чем в тот день, когда она нагая стояла под черным небом на площади. Даже больше. Любил и любовался ею похорошевшей, расцветшей, прибавившей к суровой сосредоточенности последних месяцев се-

годняшнюю беззаботную шаловливость. На лице, которое она так долго скрывала, ни следа болезни.

Встала.

— Извините, я на минуту.

Побежала опять вокруг мыса. Подумал, что решила наконец помочь мне, и тут же сообразил — поздно. Спассти меня мог бы, пожалуй, только экскаватор с большим ковшом на длинной стреле и никакая другая сила на земле и в небе. Хотел подольше видеть девушку бегущей, но корпус был уже под песком, а шея больше чем на девяносто не поворачивалась.

Впрочем, она и не собиралась со мной возиться. Просто вспомнила о своей ноше.

Вернулась.

— Приятно было поболтать с вами. Спасибо. Я, к сожалению, тороплюсь, а вы здесь, по-моему, будете заняты долго. Всего хорошего.

Быстрым шагом пошла вдоль берега на восток. Фигурка ее уменьшалась, я следил за ней, пока ее не скрыла небольшая дюна.

Теперь мне оставалось совсем немного времени, чтобы приготовиться к смерти. Длинной вереницей посыпались они, с кем дружил, за кем ухаживал, кого просто однажды встретил, увидел незнакомого, незнакомую. Девушка с серьезным умным лицом прошла мимо на Невском — несет виолончель в футляре, приятель-физик, с которым слушали записи Высоцкого, силач-весельчаки на Лепестке, всегда готовые вылететь на аварию, и много-много всяких за считанные секунды. Потом выше всех стали они, мать, отец, чуть поодаль дед, которого уже давно нет на свете. Простят ли меня за страшную вест, что придет из Московского управления ОКР? Ужасно, что один я у них был. Родился в семидесятом. Маленькая комнатка в коммуналке. Отец эмэнэс — сто десять в месяц, мать — актриса в Ленинградском областном. Всегда автобусная тряска по городкам и поселкам, а зарплаты целых девяносто, если

без вычетов. Не решились выпустить в мир второе дитя. Но простят. Космос бывает жесток, ОКР тогда посылает длинные письма, где есть слова «без вести». Напоминает последнюю большую войну. А здесь почти и была война, только маленькая. В детстве завидовал деду, который участвовал в боях под Ленинградом, Курском, входил в освобожденные города Европы, побывал на высотах исторического деяния. А я здесь чуть сдвинул историю. И настоящая любовь озарила. Жизнь была.

Стало неудобно в плечах — сам погружаюсь, а вытянутые руки снаружи. Поспешно принялся выкапывать ямки с одного бока, со второго. С усилием просунул руки к животу. Если иначе, стало бы выворачивать из суставов — дополнительная мука.

Три-четыре минуты оставалось до... Смерть не из самых страшных, мучиться недолго. Потеряю сознание, тело еще будет ворочаться в тисках мокрого песка. Чтобы скорее все прошло, надо считать в уме секунды. С яростью, с гневом на глупую неудачу. От единицы сотен до трех... Вещмешок давит на затылок.

И...

И ноги уперлись в твердое.

На твердом плотно стали ступни.

— Черт возьми! Ну черт же возьми! Знала ведь паршивая девчонка, оттого невозмутимость тона.

Вдруг разом вспотело все лицо. Выдернул руку, ладонью вытер. Ну теперь-то совсем другое дело.

Стал выкапывать яму перед собой. Докопался до колен, упираясь одной ногой в камень, легко вытащил вторую.

Переступил. Теперь все зависело от того, будет ли впереди опора. Если да, то важно, выше она или ниже места, где отставшая нога.

Чуть повыше.

До полудня прокапывал мгновенно заплывавший сзади ров. Из последней ямы вышел на трясущихся но-

гах, упал у берега. Чтобы в дальнейшем не испытывать отвращения к песку, погладил его влажный от набегающих волн разлив.

— Ты не виноват. От моей глупости получилось.

Пролежал, задремывая и просыпаясь, шесть часов. Встал, воду и продовольствие в куртку, брюки и туфли туда же. Побежал: По-настоящему. Весь вечер и всю ночь. На рассвете вдали увидел Вьюру. У самого дыхания, как у рыбы, выброшенной на берег, ноги словно колоды. Пока добрался до нее, она уже закидывала свой рюкзак за плечи. Сел, обессиленный, на песок.

Сказал ей, что, во-первых, у них в усадьбе пятьсот, может быть, человек со сравнительно несложным кругом дел, в то время как на Земле государство — огромное образование, где сотни миллионов людей должны быть прекрасно обученными профессионалами в десятках тысяч специальностей. Поэтому невозможна такая смена ролей, какая практикуется в усадьбе.

Она прервала меня.

— Это вы виноваты.

— В чем?.. Что сотни миллионов...

— Во всем. Горожане на Иакате спокойно и тихо уменьшались в числе. Если б не вы, все так и шло бы. В усадьбе были споры о судьбе города, спокойные, теоретические. И вдруг с неба — вы. Да еще начинаете пробуждать. Возникает обстановка, требующая немедленного решения... Ну что, пойдете? Нам по дороге.

Видела же, что на ногах не стою.

И так оно пошло. Вьюра убегает. Я должен догонять, но нет сил, нуждаюсь в отдыхе, и болит травмированное бедро. Понял, что сорвал себя на двадцатичетырехчасовом пробеге, когда после зыбучего песка догонял.

Вьюра заметила мое плохое состояние, стала чаще отдыхать сама. Порой, прежде чем ей убежать, разговаривали минут по тридцать и больше. Обычно она ухо-

дила, задав мне какой-нибудь вопрос, ответ на который я потом обдумывал в одиночестве на бегу.

— А может быть так, что в результате своих научно-технологических успехов человек теряет инициативу в устройстве собственного будущего?

Или:

— Вы согласны с тем, что ритуалы безмерно легче, чем свободная деятельность? В них ведь укладываешься, как в мягкую постель. В ритуалах люди ищут себе рабства, ими же защищают себя от свободы. У вас на Земле есть ритуалы?

Но больше я размышлял о ней самой и об истории усадьбы на Иакате, которая открывалась в некоторых ее репликах. Оказывается, я не ошибался относительно причин почти полной гибели жизни на планете. С усадьбой было сложнее. В ней после пуска машины прожило жизнь шесть поколений. Первые ближайшие потомки бюрократов вели себя так, как раньше их родители. Но уже не было и не могло быть борьбы за теплые местечки, нравственный климат усадьбы стал меняться. Вместо бывшего в чести понятия «иметь» стали интересоваться понятием «быть». Над материальными ценностями возобладали духовные, дети господ и слуг стали составлять дружеские пары и тройки не по кастовым признакам, а по другим. Несмотря на сопротивление глубоких стариков в четвертом поколении, взрослые и молодежь решили периодически меняться с обслугой ролями. Строй, который сначала действительно напоминал феодальный, сохранили затем, чтобы внутренние не распускаться, не упускать в прошлое традиционные качества лучших представителей аристократии. Такие, как понятие чести, рода, ощущение человеком собственного достоинства, воспитанность, безусловная порядочность, утонченность чувств, рыцарское отношение к женщине — то, наверное, чем в первых десятилетиях девятнадцатого века в России могли похвастать дворяне из круга декабристов, Пушкина, Грибоедова, Чаадаева.

Целью маленького усадебного общества стало восстановление былого величия Иакаты. Промышленная цивилизация, чей крах остался в памяти, была признана порочной, считали, что надо остановиться на земледельческой. Но пугалом, дамокловым мечом висело над оазисом странного рыцарства более чем стотысячное население горожан, необразованных, ленивых иждивенцев машины. Из боязни, что город пойдет на усадьбу, создали корпус «младших братьев». По вопросу о судьбе старой столицы усадьба при господстве пятого и шестого поколений раскололась на две группы примерно поровну...

На четвертый день пути на горизонте показались горы. Я все шел по следам Вьюры, иногда догонял. Разговаривали, потом она уходила вперед.

У предгорья набрел на остатки примитивных строений. Внутри утварь, грубые земледельческие орудия. Понял, что «край» — место, куда лет двести назад из разоренного голодного мегаполиса в долине бежали те, кто потерял надежду на промышленную цивилизацию. Поблизости кладбище — несколько полузанесенных песком, развалившихся на части скелетов. Теперь кости последних обитателей «края», просто оставленные на земле, не удивили, как те, что попались в первый день на Иакате, когда шел от корабля к городу. Вообще отношение к смерти и мертвым очень разное не только по Галактике, но даже у нас на Земле. Особенно в прошлом. По рассказу Геродота персидский царь Дарий Первый однажды устроил дискуссию между своими подданными греками и индусами. Первые сжигали трупы отцов и матерей, что вторым казалось чудовищным, поскольку согласно собственным обычаям они поедали тела умерших родителей.

Горы были испытанием. Осыпи, эрозированные склоны, за каждым высоким перевалом открывался новый, еще выше. Все нагоняло тоску однообразием, отсутствием малейших признаков зелени, жизни. Вьюра ко-



зочкой взбегала наверх, я еле догонял ее со своим растревоженным бедром. Потом двое суток шли по ровному, как налитому плоскогорью. Никаких ориентиров — ни дерева, ни животного, ни человека. От этого впечатление, что не вперед двигаемся, а только топчемся на месте. На высоте стало холодно, ночевать на голом камне было неуютно. Далеко впереди появились белые куцевые облака — первые, какие видел на Иакате. Вьюра ушла так далеко, что не стал догонять, ночью лег, уснул.

Утром разбудила.

— Идем.

Первый раз обратилась на «ты», что так же редко на иакатском, как на английском. Сразу прошли накопившаяся усталость и боль в бедре. Небо за краем плато было ничем не загорожено, вышли к нему.

Вблизи восточный склон покрыт мхами, дальше кустики трав, еще ниже луга, огромная чаша горизонта с коврами лесов.

Земля обетованная.

Спускался с трепетом. Боязно было помять траву, сломать стебель цветка. Кустарники стояли одухотворенные, деревья, будто зная что-то сокровенное о мире, думали свои думы. Из-под хвойного куста выскочил небольшой зверь вроде нашего леопардового кота. Застыл, как был в этот миг с начавшей подниматься для следующего шага ногой. Есть еще животные на Иакате! Вьюра его знала, позвала. Подняв переднюю лапу, кот смотрел на меня с неодобрительным удивлением. Неторопливо ушел, не оглядываясь, ведя в траве над собой маленький смыкающийся за ним просвет. (Я уже знал, что Вьюра ведет меня к лагерю тех, кто решил расстаться с усадьбой.) Тщеславный вид лоснящегося усатого, мордастого хищника доказывал, что мелких, во всяком случае, животных здесь много. Решил, что вся местность — забытый в хаосе последних лет разрухи, а потом разросшийся заповедник. Вьюра догадку подтвердила. Спускаясь к реке, вступили в рощу деревьев-

великанов — стволы обхватом в десяток метров, кроны выше, чем у австралийского эвкалипта. Под ногами почва красная, проросшая лишь тоненькими зелеными копиями. Одно сломалось под моей ногой, из этого места брызнул фонтанчик воды. Крылатая ящерица села мне на грудь, взлетела. За рощей великанов заросли жуга, орешник с плодами.

Воздух звенел насекомыми, мне чудилось, поют фанфары.

Подошли к лагерю. Загорелые молодые люди строили здесь деревянный дом. С достоинством раскланивались с нами. Девушки возле двух палаток приседали. С удивлением встретил двух городских парней из Продовольственной Комиссии, которых после ухода «братьев» никто в городе не видел. Узнал, что уже посланы люди за большим отрядом городской молодежи.

За те несколько дней, что прожил в лагере отдыхая, молодежь расчистила участок для посадок анлаха — саженцы были у Вьюры в вещмешке. Приходил леопардовый кот, сидел, обернув хвост колечком вокруг передних лап, наблюдал строительство дома. Сказали, что он избран почетным гражданином будущего поселка...

Путешественник по Вселенной замолчал, посмотрел на часы.

— Скоро мне должны звонить... Это, в общем, все, что стоило рассказать об Иакате. Остальное — лирика.

— Расскажите лирику, — прозвучал голос.

Из коридора в гостиную вошла дочь профессора, студентка.

Мужчины в комнате задвигались, утомленные долгим сидением в креслах и на стульях. Только председатель колхоза был свеж, как огурчик.

С веранды доносился звон посуды, там готовили стол то ли для обеда, то ли для ужина.

Путешественник посмотрел на студентку, кивнул.

— Знаете, я даже молился. Так получилось. У космонавтов дальнего полета, как в прежние времена у моряков на парусных кораблях, особенный взгляд на женщин. Они для нас не становятся обыденностью, всякий раз чудо и тайна. Когда пришла пора, вечером простился со всеми в лагере. Вьюра пошла проводить. Долго спускались к морю — здесь недавно обнаружили более удобный путь к пустыне. Шли молча. Начался подъем, предложил Вьюре вернуться, дальше не провожать, сам, конечно, думая об обратном. Поднялись на скалы, откуда мне надо было вниз. Она сказала, что на Иакате у мужчины может быть только одна женщина на жизнь, у женщины — один муж. Стал обнимать ее, целовал. Она шептала, что где бы я ни был, всегда будет чувствовать, жив ли и как мне. Стал спускаться, спустился, солнце уже близилось к горизонту. Вьюра стояла там, где простились. Прошел несколько километров и всякий раз, когда оборачивался к стене гор, залитых золотом заката, в тот день желтого, казалось, вижу ее на скале. За спиной вещмешок, в руке лопата. Звезды горели все ярче, тишина. Пустыню Иакаты теперь чувствовал дышащей, как-то ко мне относящейся, не чужой. Освещенные луной серебряные пространства сочувствовали моей тоске, а темные пятна лощин между дюнами упрекали — оставил, оставил... Неожиданно для себя вдруг опустился на колени: «Боги — Аллах, Кришну, пресвятая Дева Мария и Зевс — сделайте так, чтобы ее миновала любая беда». Не религиозный, а верящий, почувствовал, что должен каким-то ритуалом, словами, действием выразить то, что во мне. Стал на колени, склонился, поцеловал песок. То, что дальше, без затруднений. Опять шагал ночами. Трижды встречал группы идущей в лагерь молодежи из города. Остановил первую. Рассказали, что город меняется. «Ни в коем случае...» не читают, даже не берут газету у почтальона. Сумка возвращается в редакцию полной, там опускают тираж в трубу. Молодежь свободно переправляется на

остров. Главное же — атмосфера. Заговорили. Неисчерпаемая тема — события, когда решалось, жить или не жить. Вспоминают, кто как встретил беду, вновь и вновь переживают радость первого появления настоящего солнца. Члены Совета — снова герои. По дворам многие сажают жуг. Другие группы не останавливал, чтобы не терять времени. Укладывался в какую-нибудь ложбинку, пропускал мимо приближающиеся в полумраке шаги, разговоры, смех. На пятые сутки добрался до заветного места. Снова ночь, знакомая тропинка. Скинул со спины мешок, где сухари и сушеный жуг. Взялся за лопату. Через час звякнула о металл. Это как голос старого друга. «Авариец» — давняя модель. Когда на Лепестке корабль спускали с рам, ухитрились погнуть нагонный гребень, лонжерон оказался с дефектом. Но не очень-то комфортабельный, он прост и надежен, как наковальня. Докопался до дверцы, приложил ладонь — распахнулась мгновенно, будто то, что внутри, совсем изныло, дожидаясь. Включил прогрев. Кресло, приборный щит встретили, как вернувшегося в семью блудного сына. Не хотелось пока заглядывать в записи — конечно, там беспокойство. Открыл «затылочный глаз». Голубым шаром Иаката уже плыла вниз. Смотрел на нее, думая о том ни с чем не сравнимом счастье, что испытывают сейчас те, кто остался внизу, в лагере. Никогда ни у кого не было такого, что лежит там перед людьми. Неповторимый феномен Иакаты. Может быть, позади заповедника опять леса, горы, удивительные растения и животные, а за пространствами моря целые материки, где природа тоже вернула свои права. Пойдут, поплывут, но не так, как первые невежественные завоеватели. Иначе. Нацарствовались над планетой распределители, прокатилась индустриальная цивилизация, но оставила людям свой высший цветок — науку. «Если бы юность знала, если бы старость могла». Но здесь юность как раз знает и умеет, потому что научило прошлое.

Путешественник задумался на миг.

— И нам на Земле станет лучше от того, что произошло на Иакате. Даже тем, кто пока ничего о ней и не слышал. Потому что все соединено со всем прямой и обратной связью. Не только Вселенная, включая любые ее области, влияет на все, — в том числе и на земные события — но и они на нее. Галактика оказывает действие на наше Солнце, оно на нас, а мы, в свою очередь, влияем на Солнце, Галактику, Вселенную. Помните мысль Пико делла Мирандолы о том, что есть общность в вещах, посредством чего каждая вещь объединяет свои части внутри себя? Общность, но также единство, в силу которого любое создание объединяется со всеми другими. Всемирная Симпатия. Это как оркестр. Инструмент ведет партию, отдавая ее в общую мелодию, будучи одновременно зависим от всех других, с которыми должен гармонизировать. Он в оркестре, но и оркестр в нем. Иными словами, в плане поступков каждый человек значим для всей Вселенной.

— А Всемирная Антипатия есть? — строго спросила студентка. — У меня, например, совершенно определенное отношение к тем мужчинам, которые бросают...

Путешественник смотрел на девушку, собираясь ей ответить, но в этот момент прерывисто длинные звонки донеслись из кабинета профессора. Путешественник глянул на часы.

— Может быть, это меня.

Профессор кивнул ему, двое вышли из комнаты.

Мужчины в гостиной встали.

— Значит, все на все? — спросил председатель колхоза.

— Конечно, — сказал математик. — Теперь мы не сомневаемся в правоте средневековых мистиков. Слова Мирандолы, что все отдельное есть часть мира и при этом каждая отдельность в известном смысле содержит весь мир — сегодня метафора каждой серьезной научной работы. Вещи и явления сплетают руки.

Вошел Путешественник.

— Так... Отделение механики Академии пока не может разобраться в машине. Только некоторые места поддаются расшифровке, но общая идея непонятна... — Осмотревшись, пояснил: — Вьюра передала мне комплект. Она еще до появления шариков взяла его из машины, спрятала. В лагере передала мне... Да, Академия... Сделали копии, раздали по всем отделениям. Оригинал сейчас доставят в Домодедово к самолету. Сможет кто-нибудь отвезти меня к электричке? На одиннадцать двадцать.

— Я отвезу, — сказал председатель колхоза. — Значит, возвращаешься?

— Возвращаюсь. Отца и мать повидал, из ОКР меня увольняют. Не совсем увольняют, но предлагают написать заявление. Рассматривали, что произошло на Иакате, сочли вмешательством. Как раз успеваю. Москва, Белорусский вокзал, оттуда такси на аэродром. На Байконур вылет в четыре сорок, оттуда «тунельный проскок» — за шесть часов на Лепестке. Сорок пять дней до Иакаты. Беру с запасом — неделя, и я в горах. Всего сюда-обратно, как обещал, четыре месяца.

— Поехали. — Председатель колхоза обнял Путешественника за плечо. — Все равно мне завтра в районе быть.

Все вышли проводить Путешественника. В саду темно, ошеломляюще пахли левкой.

— Коней заведи обязательно у вас там, — говорил председатель колхоза, открывая дверцу «газика». — У меня в колхозе, с жеребятами считая, шестьдесят голов. Представляешь? Казахская порода. Косилку тянет, что трактор. Это раз. Верхом везде проедешь — два. Девчонки, мальчишки все без ума. Трава у вас там, говоришь, есть. Могу тебе устроить.

Машина, выблеснув фарами, укатила.

Студентка подошла к математику.

— Скажите, где, в какой стороне неба Лепесток?

# ПОБЕГ

---

## ЧЕРЕЗ ОКЕАН

Он проснулся, а в ушах все еще бушевал тот жуткий рев, который заполонил весь мир до отдаленнейших звезд, Галактику и бросил его куда-то в неизвестность. Сначала Стван не мог пошевелиться, и на миг его объяло новым страхом. Что они со мной сделали? Вдруг мне оставлено только сознание, а тела не существует — ведь они властны поступить и так.

Но рев уходил, всплескивая, Стван дернул ногой, убедился, что она есть. Двинул кистью, сжал-разжал пальцы. Затем разом встал.

Недоуменно оглядел себя — что-то не так. Ах, да — одежды нет, ее забрали! Оставили только короткие трусики. А тело при нем — тощие белые руки, выпирающий живот, тощие ноги.

Сделал несколько нетвердых шагов и лишь тут осознал, что темный зал с аппаратами исчез. (С теми аппаратами, что все были нацелены на него.)

Сверху небо, под ступнями песок, а впереди голубизна — вроде озеро или море. Глянул по сторонам. Небо было не только над головой. Кругом, до низкого теряющегося в сумерках горизонта оно стояло огромной нематериальной чашей. Ни стен, ни домов, ни предме-

тов. По-другому, чем в городе, где лишь светлый вырез между верхними краями зданий.

Всходило солнце красным шаром — Стван оглянулся на длинную отброшенную им самим тень.

Где же он?

Вдруг заметил, что его еще трясет от пережитого шока, а глаза до сих пор наполнены боязливой мученической слезой. Судорожно всхлипнул. Ладно, теперь все позади. Его признали виновным и осудили.

— Плевать! — Он поразился тому, как громко прозвучал здесь его высокий голос. — Значит, они меня выгнали, выслали. Могло быть и хуже.

Пошел сам не зная куда.

Оказывая легкое сопротивление, под ногами ломалась утренняя корочка смоченного росой, а после подсохшего песка. Вода приблизилась — другой берег лежал в двух десятках шагов. По теплому мелководью Стван перешел туда. Он шагал неловкой, подпрыгивающей походкой горожанина, которому довольно пяти километров, чтоб закололо в бок.

Полная тишина. Тепло. От мгновения к мгновению становилось светлее.

Желтая равнина простиралась далеко, Стван подумал, что это уже настоящая земля. Однако минут через пятнадцать впереди опять блеснуло. Перебрался на новую песчаную косу, на следующую. Хоть бы деревце, кустик или травинка, хоть бы камень, наконец! Но только песок. Слева было море, позади отмели, которые после того, как он их миновал, слились в низкую бурую полосу.

На середине очередной протоки Стван погрузился по пояс. Дно устилали водоросли, проплыла розово-красная медуза, на длинных стеблях качались не то морские цветы, не то животные. Два больших карих глаза внимательно глянули снизу. Стван отшатнулся. Глаза покоились на желто-коричневой голове размером в кулак, которая была увенчана горсткой недлинных щупа-



лец, а сама высывалась из конусообразной раковины. Стван нагнулся, вытащил моллюска из песка. Тот был веским, килограмма на два. Вяло шевелились повисшие в воздухе щупальца.

Никогда Стван не видел таких чудищ. Брезгливо отшвырнул диковинное животное и тут же обнаружил, что все дно усеяно глазами, которые не мигая уставились на него. Одни принадлежали таким же конусовидным, другие расположились на блюдечках с гребнем посредине и двумя верткими усиками.

Сделалось не по себе. Рванулся к берегу, гоня перед собой бурунчик. Потом остановился — в чем дело, разве кто преследует? Просто нервы и просто не может успокоиться после того зала с аппаратами, откуда в течение долгих дней передавали на мир ход процесса.

Озадачивала неестественная тишина. Абсолютная, обволакивающая, она двигалась вместе с человеком, позволяя постоянно слышать собственное дыхание. Затем его осенило — птицы! Над морем они всегда кричат, а тут ни одной. Какая-то полностью бесптичья территория.

Солнце уже давно катилось по небу, однако поднялось невысоко, припекало несильно. Стван вспомнил, как в ходе расследования кто-то сказал, что преступление можно частично объяснить тем, что обвиняемый порой месяцами не выходил на солнечный свет.

Усмехнулся. Укрыться здесь негде, значит, заодно его приговорили и к солнцу.

Идти пока было легко, и на него накатила приступ веселья. Все-таки он обхитрил их, судей. Этот приговор — благо. Если тут будут попадаться какие-нибудь туристы или исследователи, он сам обойдет их стороной. Хватит с него людей, они безумно надоели. Будь это возможно, давно убежал бы из современного мира в прошлое. Смылся бы через Башню в один из отдаленных веков, там дал бы себе полную волю. (Даже вздохнулось сладко.) Нырнуть бы в пиратские времена и та-

кого звону задать на корабле с черным флагом, чтобы вся Атлантика затаила дыхание. Что хочу, то и делаю, пусть я слаб физически, но решимости на пятерых. Только вот поздно родился, а раньше мог бы хоть гангстером в трущобах Чикаго. Пистолет-автомат в руке, и никаких «Здравствуйте, как здоровье, как супруга?».

Еще отмель он перешел, открытое море явилось теперь справа. А в общем-то пейзаж был во все стороны одинаков.

«Одинаков!..» Стван не успел прочувствовать это, как похолодел. Где же теперь искать дорогу обратно, она же затерялась среди неотличимых протоков? Пропал, сказал он себе. Руки задрожали, но потом дрожь оборвалась. А что, собственно, значит в его положении «обратно»? Ничего. Дом у него теперь там, где он сам в любой момент находится.

И тотчас новая мысль осенила. А питаться? Здесь не город, не возьмешь тарелку с конвейера.

— Эй, постойте! Минутку! — Он вслух обратился к небу, к пескам, будто где-то наверху, невидимыми, могли сидеть и слышать судьи. — Смертной казни в законе нет, и голодом вы не смеете меня убивать.

Убежденный во всемогуществе тех, кто бросил его сюда, Стван подозревал, что с помощью непостижимо сложных приборов они действительно способны внимать ему в каждый час дня и ночи, так и пребывая постоянно за своим высоким столом.

Небеса и твердь молчали. Значит, предполагается, что он сам себя обеспечит. Например, будет ловить рыбу.

Бросил взгляд в сторону моря и сообразил, что ни разу в протоках не увидел и крошечного малька. Только раковины, медузы.

Опять подошел к воде, присмотрелся к студенистой кромке у песка. Возле самых ног она была непрозрачной, коричневой, подальше становилась белесой, а с дальнего края, где ее колебала легкая волна, напоми-

нала жидкое стекло. Криль, что ли, мелкие рачки?.. Прижмет, так и за криль возьмешься.

Побаливали лодыжки, поясница. Плечи покраснели от солнца.

Прежде Стван редко рассматривал свое тело и теперь установил, что любоваться нечем. Вялые мышцы как вата, если вообще можно было установить их наличие. Дряблая кожа оттягивалась в любом месте и, оттянутая, оказывалась тонкой, словно бумага. Грудь вогнутая, спина выпуклая.

Впрочем, он и раньше понимал, что его физическая суть слабее духовной.

Поднял взгляд к едва различимой голубой черточке горизонта. Ладно. А вот сколько ему приговорено тут загорать и купаться? Если он станет идти-идти в одном направлении, наткнется же на какой-нибудь город. Сначала увидит сверкание высоко в небе, потом будет шагать еще неделю, приближаясь к опорам. Начнутся чуть заметные тропочки, едва обозначенные на травах личные посадочные площадки, и вот, пожалуйста, первые лифты...

Но где он сейчас? В какой части света хоть?

Подумав, Стван ответил себе, что в умеренном поясе уж точно. Ибо солнце, начавшее склоняться, было все не над головой, а много ниже.

Ему представилось, что окружающая местность — Нидерландские отмели между гигантами Гаагой и Фленсбургом, где простерлись тысячи квадратных километров без единого человеческого поселения. Но мог он быть и в Канаде или даже на нижнем конце Американского континента. Если Канада, то ближайший мегаполис Гудзон-Сити, а если Огненная Земля, то Мегальянес.

Он успел предпочесть Канаду Огненной Земле, потом их обоих Балтийским отмелям у Риги, но тут ему пришлось на ум, что самой идее умеренного пояса слиш-

ком не соответствует море — жаркое, с явно тропической фауной.

— Трилобиты, — сказал он мрачно. Словечко из программы, которую школа всовывает в человека методом суггестивного импрессионирования, так что хочешь — не хочешь, а в голове навсегда остаются Александр Македонский, Александр Пушкин и Александр Гумбольдт, изотопы, ирокезы, таблица умножения, таблица Менделеева, логарифмические таблицы и то, как древние люди ездили «из варяг в греки» — энциклопедия, куча сведений, которые в жизни никогда не требуются, а в непредсказуемые моменты сами собой вылезают наружу.

Трилобиты... Нечто тревожное было в том, что название животных с усиками пришло произвольно. Как пророчество, знак со стороны. Начинало казаться, будто с трилобитами должно быть связано что-то неприятное.

И тишина тоже беспокоила. Совсем мертвая.

Потому что нет мух, предположил он робко. Посмотрел на коричневую подгнившую пленку планктона. Над ней решительно ничего не жужжало, не мелькало.

Все это уже складывалось в систему. Нет птиц, рыб, насекомых, травы и кустарников. Есть мелкое тропическое море под солнцем умеренной широты. И трилобиты...

Но ведь трилобиты — ископаемые существа! Из кембрия, что ли, из палеозойской древнейшей эры.

Оглушающая истина неотвратимо обрисовывалась перед Стваном.

Он упал на одно колено.

Его выкинули! Вышвырнули из той современности, в которой он родился и жил. На сотни миллионов лет назад.

По привычке поднял руку к губам, закусил палец.

Невидимо мерцало что-то на фоне пустых песков, неслышно бряцало. Будто на поезд грузились и отъезжали в будущее города — целыми узлами улиц с пере-

крестками и горящими светофорами, — склады, картинные галереи, заводы, институты, конторы. Не завещав Земле и следа человеческой деятельности, умчалась, лязгая, вся цивилизация. А за ней уже торопились орды диких, свирепых, косматых, с дубинами. Гнали перед собой медведей, лосей, мамонтов, всякую млекопитающую живность. Птицы поднялись занавесом, разом скрылись, сделав небо безжизненно молчащим. Это было как фильм, пущенный обратно. Мерно прошагали к платформам динозавры — многие тащили березы, пальмы, охапки трав — и отбыли, оставив сушу неузнаваемой. Мощные рыбыны выскакивали из вод, косяковая мелочь перетекала струей. Насекомые валили валом, облепляя, цепляясь. Пропыхтели земноводные, их было не так уж много — те, кто шел сзади, ковром сворачивали, уносили последнюю примитивную растительность, обнажая пустые, бесстыдно-розовые скалы, глину, желтый песок.

И в любую данную секунду казалось, что процесс еще можно было остановить мгновением раньше, а вот теперь поздно.

Все скрылось. Тишина...

С минуту преступник смотрел прямо перед собой. Затем на коленях подполз к самой кромке планктона, зачерпнул, бросил в рот.

— И что?! — крикнул он равнодушным, сияющим небесам. — Считаете, вы меня удручили?.. Так нет же! Я доволен. — Давясь, он набивал рот жидкой массой и проглатывал. — Эй, слышите там! — Он обращался к бесстрастной глади моря и пескам, за которыми укрылись судьи. — Вы думали, я стану плакать, что мой след — единственная замета живого на этих берегах? Но я смеюсь. Так не наказывать нужно, награждать: чтобы весь земной шар и одному... Пропитаться здесь можно.

Неожиданно упавшим голосом добавил:

— И вообще судьи неправомочны судить. Кто знает,

не детерминирован ли мир с самого начала. Если да, то разве я виноват в том, что...

Опустил голову, окончательно уставший, перекатился подальше от воды, секунду ерзал, уминаясь, укладывалась. Чисто, как ребенок, вздохнул и упал в сон.

Солнце зашло. Планета плыла в свете созвездий, совсем непохожих на те, что Стван знал в бытность среди людей. Большая Медведица была еще медвежонком, она запустила лапу в Волосы Вероники. Гончие Псы бежали пока рядом, голова в голову, готовые вцепиться в хвост Льва, на спину которому уселась вовсе даже не Дева, а Девочка только.

Далекие созвездия, которые пока никто никак не назвал.

Когда Стван открыл глаза, ему показалось, что он в воздухе и летит. Лежать на боку было так мягко, что ложе почти не ощущалось. А справа налево текла многоцветная процессия, струилось в море карнавальное шествие оттенков. Стогами, снопами стояли над горизонтом сизые, лимонные, апельсиновые облака. Ветер теребил гладь вод, чудилось, что отражения бегут-бегут.

Мир этого утра был жемчужным и перламутровым, дальний план тонул в атласной переливчатой голубизне, а вблизи, в песчаных ямочках, тень синела густо, как намазанная, как вытканная парчой.

Он вскочил.

— И это все мне?.. Может быть, сон, гипноз?

Схватил на ладонь грудку сыроватого песка. Она была тяжеленькая, хрупко держала форму, готовая, впрочем, тут же рассыпаться. Хлопнул рукой по воде — вода отозвалась упругой твердостью. Копнул босой ногой почву, и почва солидно уперлась навстречу усилию.

Все в порядке. Действительно, кембрий. Начало на-

чал, когда простенькая жизнь еще не выбралась на сушу.

С размаху бросился на песок, проехался животом, перевернулся на спину. На память пришли жаркая мостовая, толпы на городском конвейере. Разве сравнишь с окружающей свежестью и простором!

Люди, город... Его губы сложились в гримасу. Постоянный безликий вызов, миллион чужих взоров за день, которые тебя быстро, оценивающе прощупывают мимоходом, чтобы убедиться, что ты (не дай бог!) не лучше. Непрерывное сравнение, соизмерение, конкуренция, напряженность, которые в бешенство уже приводят. А почему? Зачем?.. Затем, что на планете, за исключением сотни, может быть, тысяч выдающихся личностей, остальные чувствуют себя вторым сортом. Хороший инженер рассматривает себя как неудачника, поскольку не поэт, который, в свою очередь, завидует международному организатору, сорок раз мир облетевшему. Про секретарш и программистов нечего и говорить. Феодализм, рабовладельческий строй такого не знали. В те эпохи человек всегда мог и перед другими и самому себе сослаться — мол, низкое происхождение, классовый строй мешают, а то бы он о-го-го! Теперь, увы, валить не на что. Вход в Дом Дискуссий для тебя закрыт не по каким-нибудь внешним причинам, а просто ты неинтересен, и Мегаполис не станет тебя слушать. В результате сознание неполноценности, и на улице каждый старается себя утешить, взглядом отыскивая тех, кто еще слабей, проще. Нашел — доволен. Вот шагаешь, и понятно: этому доставил маленькую дурную радость, и этому, и вон тому. Черт возьми! Да кто я для вас — козел отпущения?.. А на работе?! Какие-то умники уже выдумали, решили, тебе же только рассчитывать изгиб детали, которая войдет в блок агрегата. Во что это в конце концов выльется, у тебя представление общее и весьма смутное. Тот же давно запрещенный конвейер, только умственный — из смены в смену подкру-

чиваешь единственную математическую гайку. Правда, как ни странно, есть чудaki, способные и этим увлекаться. Оглядишься в коридоре — там и здесь губы движутся, глаза сверкают, события, дела. А подошел, прислушался — техника, технология. Спросишь, из-за чего копыта ломать, они сразу начинают смотреть в сторону. Неудивительно поэтому, что скачешь из организации в организацию, и на службе такая же злость одолевает, как на улице. Вместе с тем и дома у телевизора нельзя не раздражаться, потому что показывают только тех, кто во всяком деле тебя так несоизмеримо превосходит, что браться за что-то гаснет охота. На экране чемпион четыре метра прыгает, либо артист-премьер любым движением напоминает, насколько ты сам неуклюж. Всякое тобой задуманное уже во много раз заранее перекрыто. Самому ясно, что если рисуешь хуже Девао, танцуешь хуже этой... Волгиной, нечего и время терять. А перевернул с искусства, со спорта на другую программу — изобретатель, на пятую-десятую — ученый, который новый закон открыл. Так и толкают с экрана в душу, что рядом с ними ты совсем ничто-ничто. Пожалуй, из-за этого люди в прошлом веке пили, а в нынешнем идут в субкультуры, в клубы тех, кто никогда ничего не изобрел, не открыл, старые электрические лампочки коллекционируют, коробки спичечные... Кстати, насчет ученых. Вот зачем их обожествлять? Ну объяснили нам, простакам, что Вселенная начала сужаться, что если человек сердит, так это у него адреналин в крови, а горе и радость — тоже химические соединения. Однако в результате распространяется полная бессмысленность. Зачем мне вообще быть, если я, мой внутренний мир — не более, чем комбинация веществ, которые и в пробирке получаются... Между прочим, особенных усилий или грандиозного ума такие якобы открытия не требуют. Если окружен изощреннейшей аппаратурой, если реактивы смешиваются, поля взаимодействуют, клетки делятся, то в кутерье молекул, волн, в каше прыгающих электро-



нов неисчерпаемая материя обязательно подсунет что-нибудь свеженькое. Надо только оказаться на месте или посадить ассистента, чтобы не спускал глаз. Если честно, личной заслуги нет, что такой-то стал исследователем, а не экскурсоводом. Значит, родители, значит, преподаватель так направил, знакомства... Но, предположим, не так, пусть действительно способности. Ну и что? Одного гортань делает великим певцом, другому свой тенор только в ванне выпускать. Но разве второй виноват? Глупо и дико мы до сих пор зависим от природы. Время и пространство побеждены, но в человеческих отношениях пассивный все равно остается пассивным. Когда-то, хоть в восемнадцатом-девятнадцатом, этой проблемы не было. Где уж о таланте, о славе, если бо-сиком и есть нечего? Битва за голое существование все поглощала. А сейчас оно и вылезло, когда каждому, будьте любезны, хлеб, жилье. Неравенство — вот страшная проблема коммунизма. Тебя к Дому Дискуссий (вернее, ко Дворцу, с такими сокровищами искусства, какие императорам не снились) и близко не подпустят, а перед талантом двери сами собой. (А он-то, талант, бесплатно и случайно получен от самого естества!) Ты вечерами сохнешь, каждый час, словно тяжеленный мешок, а у известных, у популярных секунды на счету, потому что забрали себе всю борьбу, все волнующее. Иногда думается, истребить бы этих гениев, честное слово. Они, конечно, нужны были, когда империализм, когда планета прокормиться не могла. Но танки давно в музеях, всюду развешаны дурацкие плакаты «Спасибо, звери!», поскольку палажено наконец с М-белками. Значит, пора кончать с диктатурой одаренных или хотя бы не восклицать им осанну. Однако все равно восклицают. Простой человек в конторе четыре часа подряд, и если на него обратят внимание, так только, чтоб нетерпеливо спросить, почему такие-то данные не готовы. Другой же, талант, три минуты покувыркался на сцене, и гром оваций. Где справедливость?.. Впрочем, простому тоже

пальца в рот не клади. Когда-то очень было принято жалеть простого, маленького. Диккенс, Кафка с Чеховым, Фаллада просто слезами обливались — такой он, мол, замечательный, добрый, скромный, а судьба обижает. Но пока простой прост, а маленький мал, они действительно тихие. Однако дай чуть вылезти, подняться. Гораздо круче нос задерет, чем тот, кто уже привык к возвышенному положению. Одним словом, люди — еще та публика. Порой даже спрашиваешь себя — не лучше ли, если б мы так и остались обезьянами. А то обрадовались — произошли!

Стван сжал кулаки, сердце стучало. Потом стер пот с лица. Ладно. Теперь все позади. И сразу успокоился. Не так, как прежде, когда утренняя злоба тлела в нем по нескольку часов.

Хотелось есть. Вчера в горячке он нахватался криля, однако сейчас никаких неприятных... Подошел к воде. Взятая на ладонь студенистая масса была похожа на протоплазму. Что-то биологическое, но так, что отдельных маленьких существ не рассмотреть. Первичная жизненная материя, из которой природа позже станет лепить классы, отряды, породы.

Несмело попробовал. Холодец и холодец!

И морская вода вполне годилась для питья. Чуть солененькая. Только чтобы не напоминать дистиллированную.

Им вдруг овладела сумасшедшая радость. Как хорошо, как счастливо. Хоть ляг, хоть иди, никому никакого отчета, ничто не изменится ни от его трудов, ни от его безделья. Все связи не то чтобы оборваны и болтаются, а их попросту не существует. Без долга, ответственности он будет встречать новый день острым чувством наслаждения, провожать тоскуя, ибо сон теперь — не убежище от скуки и досады, а перерыв наполненного бытия.

Пойду к югу, сказал он себе. Или к северу, если брошен в южное полушарие. К полуденному солнцу. За не-

сколько лет доберусь до тропиков, а там на запад или восток.

Просто жить! Без оправдания со стороны. Ведь многие так. Прикидываются, будто перед ними высокие цели, а на самом деле квартирка, да дети растут потихоньку, что и регистрируется благодушно.

Выше поднялось солнце, мягкая теплота сменила прохладу. Шоколадно-коричневый песок у самых вод был ласково податлив, его шелковые отливы звали ступить. И манила потонувшая в мареве полоска горизонта.

«Интересно, весь ли земной шар таков — море по пояс и отмели без края? Или где-то большая суша, бездонный океан?»

Полтораста раз день сменялся ночью над безмолвием песков и воды. А может быть, двести или сто тридцать — Стван намеренно сбивал себя со счета. Шел со вкусом, ощущая каждый миг абсолютной свободы. Сначала по утрам еще вспоминались старые обиды, он отдавался привычным злобным монологам. Но, прожаренный солнцем, насидевшийся в целебных лагунах, стал уравновешенней. Улыбался ни с того ни с сего, шутил и смеялся собственным остроумам. От непрерывной ходьбы мышцы развились, руки и ноги уже не висели неприкаянными, а принадлежали корпусу. Загорелая кожа утолщилась, плотней прилегла к плоти. С удивлением отмечал, как это приятно — физически быть. Пейзаж все не менялся: равнина, мелко налитая водой, или мелкое море с часто насыпанными низкими островами. Но внутри было разнообразно. То на небольшой глубине луг огненно-красных, густо переплетенных водорослей, длинных, без начала и конца. То задавало загадку неизвестно откуда взявшееся течение, и Стван долго смотрел, как жизнь кишит в своеобразной реке, струящейся в толще вод. Научился ценить малое. Радовался, например, обнаружив полоску крупнозернистого песка сре-

ди мелкого. Когда в первый раз нашел камень, овальный, обтертый, это стало событием. Стван нес камень с собой несколько дней, перебрасывал из руки в руку, кидал, подбирал.

Но однажды в небе собралась гроза. Он сообразил, что на широкой территории его голова представляет собой высочайшую точку. Джомолунгму кембрийского мира. Поспешно выкопал яму в песке, она тотчас заполнилась пенистой водой — улегся, пережидая. Гроза, к счастью, прогрохотала вдали.

Другой раз было куда страшнее. Ночью, от какой-то тоски проснувшись, увидел, что местность еще обмелела, и его окружает не море, а бескрайнее мокрое поле, где там и здесь рассеяны пятна луж с отраженными звездами. Сделалось зыбко и неуверенно. Трагически маленьким ощутил себя перед лицом какой-то гигантской катастрофы в природе. Предчувствуя несчастье, до утра бродил взад-вперед, перескакивая через груды водорослей, через темные кучи молча копошащихся моллюсков. С рассветом вода начала прибывать, как бы выступая из почвы. Лужи объединились, превратились в озера. Резко похолодало, будто что-то сломалось и в климате. Озера сошлись, острова-отмели исчезали один за другим. И когда пришел день, Стван оказался стоящим по щиколотку в безбрежном океане. Во все стороны было не высмотреть ни клочка суши, и вода, теперь не теплая, поднималась. Провел несколько страшных часов, не в силах справиться с дрожью, ожидая, что дальше. Не позволил себе кричать только потому, что твердо определил: это большой, исключительный прилив, вызванный тем, что Солнце и Луна выстроились на одной линии с Землей и вдвоем тянут на себя земную воду. Хотя и не каждодневный, но разумом постижимый феномен космического порядка. Целых двести минут — он считал по пульсу — вода недвижно держалась ему по шею, потом море все разом стало опускаться, отдавая сантиметр за сантиметром. Холод ушел через сутки. Ми-

риады морских лилий, издохших медуз, губок и трилобитов усеяли пески. Поднятый и сметенный наводнением планктон лег на водоросли и почву, смешался с ними. Ствану пришлось подбирать себе новую пищу. Попробовал открывать маленькие серебристые раковины, нашел их съедобными.

Теперь движение к тропическому поясу приобрело деловой смысл — уйти с тех мест, где возможны наступления холода. Отоспавшийся за первые недели, Стван стал совершать свой переход и ночью, ориентируясь по крутящемуся театру звезд.

Досаждала щекотавшая шею борода — подпилил ее острым краем раковины. Когда хотелось бани, растирал себя влажным песком — крепче, чем самая жесткая мочалка.

Началась заметная прибавка тепла, в безветренную погоду бывало уже знойно. Морская живность делалась причудливее. Порой дно лагуны устилали тела-тела, приходилось в обход, чтобы не ступать прямо по шевелящемуся. Стван натывался на области, где вода была почти полностью замещена прозрачной кипящей кашей — гидры, червячки, крошечные водоросли, какие-то бойкие личинки, просто клетки, пока не знающие, во что же им обратиться. Все двигалось, пожирало друг дружку, оставляя новое и меняющееся, вероятно, потомство. Видно было, что геологически скоро жизнь выплеснется-таки на сушу. Не от чего-нибудь, а от того, что некуда деваться. Огромная энергия — химическая, электрическая и еще бог знает какая, была аккумулирована в таких бассейнах. Искушавшись там, Стван пробегал целые километры, нарочно зацепляя песок босыми ногами, разбрасывая его широкими веерами. Прыгал вверх и жалел, что нечем измерить высоту. Три стихии — свет, влага, воздух — не задерживаясь, проходили сквозь кожу, внедрялись ионами в красную плоть мускулов, слаженную неразбериху внутренних органов, делали там свою оздоравливающую работу. Накопив-



шаяся сила требовала исхода. Стван мощно, весело бил кулаком в земную твердь и знал, что хоть немного, но проваливает своим ударом эллипс вращения планеты вокруг светила.

Временами он спрашивал себя, почему бы вообще не рассыпать людей в разные секунды палеозоя — не преступников, а просто всех, уставших от городской тесноты, обилия проблем и вещей. Сюда их, в теплое, озаренное голубизной одиночество!

Он сообразил, что в формулировке приговора были слова: «...отвечая желанию...» А разве многие не пожелали бы?

Так радостно было Ствану, что далеко позади он оставил отмель, которая первой открылась ему. Затерялся, почти растворился в забвении трепещущих далей.

Где он сейчас? То ли под его стопой великий прама-терик Пангеа, которому разойтись на пять частей света? А может быть, южный сверхконтинент Гондвана, дочь Пангеи, или безбрежное древнейшее море Тетис?

Он шагал, шагал и добрался до конца отмелей. В три стороны чистый морской горизонт.

Лежал на животе, раскинув локти, положив подбородок на скрещенные пальцы. Смотрел прямо перед собой.

Почти неизменная поза в течение трех дней.

Соскучился здесь. А назад не мог — это было, как отдавать завоеванное. Кроме того, ближе к месту, где Стван плакал после суда, он становился наказанным, несамостоятельным. А чем дальше, тем вольнее.

Но некуда было дальше.

Вспоминая суд, он впервые без раздражения подумал об эпохе, которую его заставили покинуть. Да, в будущем вращается этот шар Земли. Население сосредоточилось в протянутых вверх мегаполисах, пространства

суши возвращены лесу, лугам, саванне. Чертит небо остроконечная Башня, через которую его низвергли в прошлое.

Он схватился за горло.

«Меня низвергли! Но ведь...»

Непонятно, как его прежде не осенило. В той первой жизни сколько показывали лент. Сюда, в начальные периоды палеозоя, отправляют детские сады на оздоровление. Сам сто раз видел на экране эти сценки — пухлая малышня в белых панамках и девушки-воспитательницы. Да и вообще прошлое вплоть до питекантропов постоянно навещается: палеоботаники, художники, геологи, какие-нибудь там палеогляциологи.

Стван даже отшатнулся, проворно глянув назад — сеть времен населена; может быть, и сейчас что-то шагает с горизонта по отмелям. Потом опомнился. Маленьких действительно отправляют, но позже: в ордовик либо в силур. Впрочем, если даже и в кембрий, который длится около ста миллионов лет, то, уж конечно, не к нему, приговоренному. (Кстати, по миру наверняка распространен его портрет — в том числе и тот гипотетический облик, какой Стван должен был принять после долгого пребывания на песках).

А кроме детей, других посетителей мало. В этой сфере тоже бесчисленные документы, согласования, увязки. Снова командуют умники — на сей раз по организационной части. Шагу не ступишь, пока они твой шаг на своем заседании не утвердят. Потакают лишь генетически одаренным, то есть крупным артистам, спортсменам или таким, кто вцепился в какую ни на есть нуднейшую проблему, обладая дьявольским терпением, провисел на ней, словно клещ, двадцать лет, остальному чуждый, и тем завоевал право участвовать во всем, что данной области касается: симпозиумы, концерты, путешествия во времени, поездки в пространстве, соревнования, ралли, трали-вали.

«Ну а если я обыкновенный? Мне разве от этого



меньше хочется увидеть вблизи, как выглядит извержение вулкана на Марсе, или сесть в первом ряду чемпионата по боксу?»

Окружающий пейзаж молчал, но было ясно, что ответили бы Ствану там впереди. Извините, дорогой товарищ, местечко у самого ринга займет сейчас бывший победитель мирового первенства в полусреднем, на край марсианского кратера доставят с Земли знаменитого вулканолога, который, помните, спускался в Этну. А вы, будьте любезны, разверните пошире экран телевизора, на котором либо покажут, либо нет — как уж Комитет найдет нужным.

Гениальные, талантливые, терпеливые, упорные не только все себе забрали, но остальных-то по рукам и ногам. Вот этой самой организованностью и контролем. А масса притворилась, будто положение нравится ей, хотя в действительности любой тоскует о полной развязке, о том, чтобы, как Д'Артаньян, проскакать утрешним средневековым Парижем, сшибая с ног робких буржуа...

Махнул рукой. Ему-то теперь что? Пусть их!

Несколько дней забирался далеко в море, вглядывался в линию горизонта. Ничего.

Потом подумал: гора из песка — оттуда он увидит.

На большой отмели выбрал место. Сначала кинулся носить сырой песок горстями. Остановился — зачем суетиться, впереди жизнь! Не торопясь подобрал полуметрового диаметра раковину. На нее нагружалось, что еле поднимешь. Работал до гордой усталости, потом отдыхал, валандаясь по лагунам.

А погода стояла, будто ее на тысячелетия заказали такой прекрасной. Иногда Стван задавался вопросом — не дуют ли на высоте ураганы?.. Этого ему было не узнать. Даже десять метров над почвой стали недоступны. Можно немного подкинуть тело силой мышц. А хочешь выше, строй башни, влезай на деревья, на горы. Но ни гор тут, ни деревьев.

Его пирамида между тем поднялась большой пло-

щадью на высоту ступни. Когда Стван бегал с очередной ношей на середину, края сооружения осыпались. Он стал тогда набирать планктон, цементировать. Со стороны моря налепливал мелкие ракушки — получался медленно растущий перламутровый конус.

Самое первое человеческое сооружение на третьей планете.

Горьковато даже бывало, что о его труде никто не узнает. Однако пятьсот миллионов лет — такая стена, что голой рукой ничего не перекинешь. Суше, на которой он сейчас стоит, еще подниматься и опускаться, быть залитой лавами на океанском дне, выпученной наверх в облака и выветренной. Бетонные блоки перемелются, твердейший металл изржавеет в прах, и только случай может взять да сохранить хрупкий панцирь оттиском в песчаниках, тонкую веточку рисунком в каменном угле.

Приходили смешные мысли. Собрать бы в большую яму крыль, влезть туда и засохнуть — просто назло антропологам последних перед Башней столетий. В начальных палеозойских отложениях человеческий скелет, целый! Причем современного типа! Вот бы засуетились на своих съездах. Или, например, вырезать на камне слово, и пусть его найдут в антрацитовом срезе рядом с профилем птеродактиля.

Все это были, конечно, так, шутки. Для такой проблематичной возможности собственным скелетом жертвовать не станешь. Да и вообще. Стван ничего не имел против тех мирных, доатомных ученых. Напротив, о них, застенчивых, рассеянных подвижниках научного поиска, вспоминалось с невольной симпатией. Не знали ведь, во что сложатся потом их труды, а все равно старались, ломали голову: «Что?.. Почему?» Вычисляли, таблицы составляли, клали-клали в какую-то копилку, а потом стало возможным так скомбинировать силы природы, что человек, как, скажем, он сам, птицей пролетел над бесчисленными сонмами веков. Молодцы, если вдуматься!

Пирамида росла, и наконец на шестиметровой высоте была прикреплена последняя раковина. Странно выглядело море сверху. Далеко раскинулись голубые и зеленые ровные пространства, коротенькие снизу волнишки соединились в длинные извилистые валы, белый криль окаймлял острова-отмели, как соль.

Выложенная ракушками передняя стена была уже неприступна для строителя — он правильно делал, что инкрустировал ее постепенно. Стван спустился, издали, присев на корточки, осмотрел свое творение. Оно высилось, словно ассирийский храм «зиккурат», массивное, но не без изящества. Жаль было оставлять его позади лишь вехой. Стван отдал пирамиде кусочек самого себя и, как это бывает, получил взамен. Работа укрепила плечи, хватка ладоней стала жесткой, как у плоскогубцев.

И взгляд умнее — сам чувствовал.

С закатом лег у розово-блистающей стены. Утром поел и двинул на солнце. За горизонтом ждали еще более жаркие страны, другие морские животные, и, возможно, суши иных материков.

Он прошагал пять часов подряд. Иногда было так мелко, что едва покрывало ступни, и на безбрежном просторе Стван чувствовал себя Гулливером, собравшимся увести вражеский лилипутский флот. Перламутровая гора осталась сзади золотым пятнышком, но все не было намека на берег впереди.

Ничего, это еще не конец. Вернулся на отмель, похлопал пирамиду по накаленному боку. Выспался, с восходом солнца опять пошагал, но в другом направлении.

Несколько дней так выходил. Однажды начало вечера застало его километрах в двадцати от песков. Вершина ракушечного конуса была только искоркой — почти как блески на волнах. Сделай еще единственный шаг и потеряешь свой ориентир.

Здесь на весы легла возможность вернуться к отмелям или навсегда, быть может, остаться в воде.

А море всего по пояс.

— Надо рисковать. — Голос прозвучал хрипло, мужественно. Словно у такого героя старинных фильмов, каким он всегда себя видел в мечтах. — Буду идти до ночи. На мелком месте сяду, голову на колени.

И началось новое. Двигался иногда в воде до самого подбородка. Если попадались большие глубины, обходил. Но в целом дно понижалось, и Стван начал учиться плавать. Сначала по-собачьи, потом, вспомнив виденные соревнования, — брассом. Попробовал дремать, неподвижно лежа.

Целый месяц прокатился — было понятно по фазам луны. Теперь уж не думал о возвращении, тех изначальных песков никогда и не отыскать.

Механическое однообразие движения исключало мысли о постороннем и вообще сложные мысли. Шаг, шаг, еще шаг... Помогает себе руками... Вот слегка колеблет нежным цветным занавесом медуза, а вот под ногой трилобит... Нет, еще не хочется есть. Рано... А вот тут поплывем.

Грудная клетка раздалась. Легкие вдыхали, словно два ведра.

Ночью на мягком ложе волн он спрашивал себя: а живу ли в качестве личности? Может быть, не человек, а стал уже полурастением, как дрейфующий анемон. Хотел уйти от людей и удалился так, что дальше действительно некуда.

Шелестела в ушах вода, качался небосвод. Трудно было верить, что в будущем на этом самом месте воздвигнется город, толпы станут кипеть и перемешиваться на перекрестках. Что за то время, пока он здесь в море, там — за промежутком в сотни миллионов лет — люди нервничают, столкнувшись с проблемами, спорят, затаивают обиду или вдруг понимают свою неправоту.

Что там не просто так, а всегда либо хорошо, либо плохо.

У него же ни горя, ни радости. Только дыхание.

Но однажды он провел на плаву пять дней, не встречая мели. Дно исчезло, а с ним и жизнь и пища. Гладь моря из голубой превратилась в синюю, почти черную, волны выросли, круто бросали с высоты, сама вода уплотнилась на поверхности, неохотно раздвигалась, пропуская его тело, а внизу сделалась непрочной, недержащей. Стван чувствовал, что под ним бездна, и за километр, за три, за сколько угодно, в полном мраке только мертвый ил, холодная тишина.

Терзал голод. Временами находило отчаяние. Он, однако, упорно держал на полдень.

И был награжден.

На шестые сутки волна подкинула его. Успел увидеть горизонт, над которым облачко и дернувшаяся сероватая тоненькая полоска.

Берег!

Зафиксировал положение солнца, собрав уходящие силы, вошел в четкий ритм.

Часа через два полоска приблизилась. Стван опустил голову в воду, отсчитал сто гребков, тысячу, десять тысяч. Резко сжал ноги, выставился из воды по пояс.

И окунулся пораженный.

Берег и берегом нельзя было назвать. Черная стена, абсолютно ровная, вставала из моря. Растянувшаяся на километры, обрезанная с обоих краев прямым углом. Белой линейкой фундамент, а наверху все то же, не изменившее формы облачко-конус.

Что это?

Кембрийский мир вдруг изменил Ствану. Может быть, перед ним крепость чужой цивилизации, неизвестно откуда явившейся. А возможно, что пришельцы из еще более отдаленного будущего, чем его. Не исключено, наконец, и вовсе иное — мстительные судьи не в прошлое швырнули его, а на другую планету к далеко-

му созвездию. Тогда нужно отбросить все, что думалось о море Тетис.

Тут же затряс головой.

«Бред! До созвездий мы еще не добрались. Пока лишь автоматы летят».

Усталостью вдруг как прострелило руки и ноги. Стван едва держался на плаву. Но ветер подталкивал.

К какой судьбе его несет?

Стена все-таки оказалась естественной. Метров за сто Стван увидел, что верхний обрез обрыва иззубрен, а потом стали различаться неровности самой вертикальной поверхности.

Убедившись, что никто извне не залез в наш мир, Стван и успокоился, и как-то разочаровался. С одной стороны, спокойнее, однако вместе с тем...

Правда, то были более поздние мысли, пришедшие вечером, когда он избитый, ободранный, сидел под стеной, глядя на линию горизонта туда, к песчаным отмелям.

А до этого еще надо было выбраться на берег.

Когда он плыл, издали послышался шум, постепенно превратившийся в оглушительный рев. Волны, все ускоряясь, летели к каменным обломкам под обрывом, жертвенно разбивали о них свои упругие длинные тела, вскипая, грохоча, сливаясь в высокий устойчивый белый вал, рычащий, воющий, звенящий.

Ужаснувшись, Стван захотел назад, но было поздно. Очередная волна, приподняв его, легко, как бы одним дыханием понесла. И вдруг, сама искривившись, швырнула яростным толчком.

...Сумятица движений и контрдвижений, ад бессистемных сил. Десятки ежесекундно меняющихся напоров и течений, рывки, толчки — все внутри шипящей, непроницаемой смеси. Негаданно, с жуткой злобой бьют какие-то острые углы, каменные выступы набрасываются, словно звери. Вот хрустнуло что-то в руке, вот защемило стопу в щели между двумя глыбами, а самого

переворачивает и тянет... Выдернуло! Удар по голове, как взрыв, незаслуженный, жестокий. Задыхаешься, надо хватить воздуха, но прижало к чему-то, а теперь увлекает еще глубже, бьет...

В уме мелькало отчаянными вспышками: «Конец! Конец!»

И вдруг голова над водой. Грохот стал отдаляться, стихать. Животом протасило по грубой гальке, толкнуло, мягко обняло... Оставило совсем. Просто лежащим.

Над ним отвесная стена. Он на песке, и злобный вал беснуется, уже не угрожая.

Неужели проскочил?

Осторожно, как бы собирая тело по частям, сел. Не веря, оглядел себя. Левый глаз заливала кровь; грудь, живот, ноги в глубоких порезах, шрамах, царапинах. Приподнял руку — нет, не сломана, ощупал стопу — кажется, цела.

Нервно рассмеялся. Подполз к воде, обмылся. Попробовал встать.

И сразу им овладело блаженство.

Наконец-то быть на суше! Дышать, не замечая дыхания — хоть опусти голову, хоть вбок ее, как придется. Стоять на неколебимой поверхности, которая держит, не требуя никакой заботы.

Нет, жизнь правильно сделает, когда выберется из моря. Какие возможности открываются, когда не мокро и не топко.

А сколь приятна плотность вещества. Берешь камень (Стван нагнулся), и вот он, тут, обжатый пальцами, каждый квадратный миллиметр которых ощущает его шероховатую фактуру. А все вокруг на виду, все доступно взгляду в прозрачном, как бы несуществующем эфире.

Мучительно, невыносимо захотелось есть. Он побрел, хромя, вдоль узкой серой ленты пляжа. Среди каменных глыб в воде увидел россыпь раковин колумбеллы.

Наелся. Тут же на месте откинулся на спину. Зас-

нул, даже во сне непрерывно ощущая, что он на суше, и радуясь. Встал, освеженный, опять побрел вдоль стены.

Солнце уже покраснело, нагретый за день камень лучил жару. Неумолчно ревел прибой.

Стван обогнул скальный выступ и замер. Область абсолютной черноты зияла перед ним.

Конец света?

Потом, сообразив, улыбнулся. Просто тень. Большая, глубокая, каких не было на плоских отмелях. Густая тень от черного выступа на черной же скале.

В тени лежало ущелье, врезавшееся в стену. Трещина.

Вошел, ступая по воде. Ущелье было длинным. Наверху, в узком коридорчике вечеряющего неба, висело все то же белое пятно. Теперь уже было понятно, что это не облако, а вершина гигантской горы — может быть, того кратера, откуда излился весь берег. Когда-то, тысячелетия назад, выплеск лавы опустился на море, придавил дно, поддавшееся его неизмеримой тяжести, застыл, а после — под напором волн и ветра — ровно, отвесно обрезался.

Лава пришла сюда, а вершина кратера осталась на высоте, в холодном одиночестве. Оделась снегами и отражает теперь солнечные лучи, меж тем как подножие и середина горы потонули в мареве воздушных масс.

Было очень тепло, быстро темнело.

Стван, пятясь, вышел из узкого ущелья. Взобрался на большую каменную глыбу. Сел, глядя в море. Вот это да, вот это он сделал! Он вспоминал нелегкий путь через глубокие воды и гордился решениями, которые привели его сюда, к обрыву: тем, что сказал себе строить пирамиду, потом покинуть ее. Тем, как плыл несколько суток, вовсе оставив дно. Он чувствовал, что можно будет много раз черпать мужество из этого источника.

Огненный шар свалился за горизонт, мгновенно потемнели вода и скалы. Стван соскользнул с глыбы, лег



и прижался к ней спиной, испытывая острое ощущение безопасности, домашнего очага. Покойно было слышать рокот волн; их белые гребни, будто вовсе не связанные с шумом, возникали во мраке.

С края небес медлительным коромыслом заходили звезды.

Стван заснул и во сне очутился в человеческом будущем... Раннее утро, он выходит из квартиры и тут же окунается в плотный людской поток. Воздушка — лифты, воздушка — лифты, еще раз воздушка. Сжатый в толпе плывешь по переходам, желая, чтобы это скорее кончилось. Тысячи прикосновений, от этого воспринимаешь людей только в качестве досадно мешающих объектов... Сошел на уровне километра, стал на конвейер, перепрыгнул на второй. Там и здесь обрывками радионовости. Поток человеческих тел постепенно редет. И вот Стван на пустынной улице, где слева деревья парка, справа море воздуха, а далеко внизу зелень леса. Парк огорожен древней литой решеткой, под ногами крытая булыжная мостовая. Запустение, одиночество, тишина — один из тех уголков Мегаполиса, который минуют текущие на работу человеческие реки. Улица поворачивает, переходит в крытую террасу в старом итальянском стиле. Невысокий борт из дикого камня, над головой свешиваются виноградные лозы... Мраморная скамья. Стван садится. Он знает, что через час на телевизорах Земли появится изображение этого места, дикторы передадут новость о преступлении.

— Не надо! — крикнул он и проснулся.

Светила полная луна, вода приливом приблизилась к нему.

На глазах стояли слезы, он отер их.

«Реакция, наверное. От усталости».

Нет желтого, а только синее и черное. Постоянный напор ветра, волны скорые, с пеной... И всего получалось: черная стена, синее море, синее небо, резво с шу-

мом бегущие пенные валы, грохот над камнями. Что-то смелое, решительное, не как там, далеко, на мягких песчаных отмелях.

Но не было выхода.

Ловушка!

Утром он беззаботно похромал на восток в обход обрыва — уже так привык к движению, что и представить себе не мог, что будет сидеть на месте. И через пять минут уперся. Пляж кончился, к отвесной стене скалы вплотную подошло нагромождение глыб, где в сумятице бесповались волны.

Еще не беспокоясь, пошел в обратную сторону. Здесь скальный откос был даже нависающим.

Оставалось ущелье — может быть, там пологий путь вверх, на волю.

Оскользаясь на подводных камнях и частью вплавь, Стван пробрался в глубь длинной трещины. Но чем дальше он проникал, тем теснее сходились стены. В какой-то момент они коснулись его плеч. Дальше пути не было.

Что же получается?.. Сзади и сбоков стена, впереди мельница приборя. Даже если б он решился, не хватит сил одолеть бешеные потоки, рвущиеся к берегу. Вот это номер — на всем бесконечном просторе планеты выбрал клетку. Вернее, попал. Провалился в колодец, где и должен провести остаток жизни.

А как с пищей?

За какой-нибудь час облазил весь пляж и убедился, что колония колумбеллы единственная. И больше ничего живого. Даже намек на щедрое, беспутное изобилие тех мест, где строилась пирамида.

Четыре десятка раковин, которыми можно продержаться месяц. Пожалуй, чуть больше, так как к концу этого срока маленькие подрастут.

Но если пищи хватило бы на годы, разве он плыл через океан, чтобы попасть в клетку?

На мгновение сердце сжало тоской — быть бы сейчас на ласковом просторе отмелей!

Задрал голову туда, где на страшной высоте кромкой отрезался край обрыва. Хочешь — не хочешь, а надо учиться лазать по скалам.

Пять дней Стван ждал, пока выболят до конца ушибы, растворятся под кожей кровоподтеки. Валялся на гальке, рассматривал в разных местах каменную стену и, отходя, успокоительно вздыхал: «Не сегодня». А скальная тюрьма уже давила теснотой. На шестое утро он подсчитал раковины. Их оставалось лишь на две недели.

Пора!

Подошел к стене там, где она была слегка пологой. Первые метры ушли вниз незамеченными — все время было где поставить ногу, схватиться рукой. Карабкался, нагнувшись, как бы по наклонной лестнице. Затем подъем стал круче, пришлось прикинуть грудью к камню. Раздражала неодолимая, тупая жестокость, — пробуешь тянуть, но тянешь только себя, толкнул — но лишь себя отталкиваешь. Затем стена стала почти отвесной, и Стван потратил полчаса, осторожно двигаясь вбок, где заметил покатость. Случайно глянул вниз и сразу зарекся. Всего покрыло потом — так далеко уже оказался галечный коврик.

«Какого черта меня всегда несет? Тот раз с пирамидой...»

Теперь кверху полого шло несколько метров. Поднялся медленно. Отдохнул на уступе, стоя, упершись взглядом в трещинки, зазубрины у самого носа. Вверх простерлась крутизна, почти отвесная. Прикинув к скале щекой, грудью, бедрами, слепо нащупывая над головой очередную неровность, стал подтаскивать тело повыше. Не приходилось выбирать направления — просто куда ведет, куда можно.

Выкарабкался еще на одну площадочку, сумел выпрямиться. Едва не потеряв равновесия, пошарил рука-

ми наверху, с боков. И убедился, что все гладко. Вот это номер! Он стоял, не смея шевельнуться, ощущая, как легкий ветерок сзади холодит икры. Шум прибора едва доносился.

Раз невозможно дальше, надо бы назад. Но как согнуться, присесть, если нет пространства? Если на уступе не полностью помещаются ступни. Для этого надо отклониться от скалы, а ему, балансирующему на самой грани, и голову-то страшно откинуть.

Отдохнуть?.. Но он стоит на носочках, на пальцах и с каждой секундой устает все больше.

А тридцати-сорокаметровая пропасть манила, сосала. Прошла минута... другая... Что дальше?

Автоматически Стван слегка пригнул колени, прыгнул. Правая рука скользнула по ровному, но левой он попал в ямочку с закраиной. Чудо, случай!.. Отчаянно шаря правой, подтянулся на левой. Еще несколько конвульсивных движений, он чуть не сорвался, почти сорвался. Серия дерганий, рывков, и вот Стван на узком косом выступе.

Все тело дрожит. Все-таки нет ничего более бездушно-жестокое, чем высота.

Облизал губы.

«Тише! Не надо ничего говорить».

Полдень застал его в полусотне метров над морем прицепившимся, как насекомое к обрыву. Цель исчезла — только беспощадная скала и сам он, висящий на ней. Был убежден, что погиб, приготовился в надсадный вой вогнать весь свой ужас, когда будет падать.

Одно утешало — что кратко.

Еще несколько усилий... Не потому, что хотел выше, а просто не мог удерживаться на месте, не за что. Вдруг стало светлее, открылся смутно колеблющийся горизонт.

Он лежал на краю плато. Тихо. Рев прибора не в силах был подняться сюда. Абсолютная тишина.

Добрался. Влез!

Не поднимая головы, ни одного взгляда вдаль себе

не позволив, пролежал ничком полчаса, дыша в горячий камень. И начал спускаться.

Опять была бесконечность пути, непредсказуемые рывки. Но удалось как бы отъединиться от самого себя. Это не он, не личность на стене. Просто тело мучается, готовое упасть, а сознание-то свободно витает рядом. И если тело рухнет, сознание спокойно проводит его до самого конца, до груды окровавленного мяса на гальке.

«Поднимался на отчаянии, слезу на безразличии».

А тело кое-как справлялось. Опять попало на площадочку, где он счел, что кончено, надо бросаться вниз.

— Э-э-эх!

Ноги чуть согнулись в коленях. Прыжок. Десятые доли секунды в полете. И пальцы схватились за край площадочки, а внизу под ступней знакомый выступ. Отсюда скала была уже покатой, путь легче.

Солнце упало за горизонт, когда Стван встал на обкатанные кругляши пляжа. Без мыслей прибрел к воде. Долго пил прямо ртом, слыша, как глотки толчками поднимаются по горлу. Упал тут же на месте, начал засыпать, и вдруг застонал, подумав, какой страшный вызов предъявил ему этот берег.

Гнев захлестнул Ствана, давно не испытанный. Все они! Снова они, ловкие, элегантные, остроумные, информированные, которые заняли все удобные, интересные, престижные места на Земле. Сами сейчас болтают за кофейным столиком на очередном заседании какой-нибудь подкомиссии, либо сидят на премьере спектакля, летят на воздушных лыжах... Сами наслаждаются, а он здесь, в глуши, отброшенный за полмиллиарда лет, один перед бушующим прибоем. И завтра ему опять на стену. Туда, где ужас высоты, даже если плотно поставил ноги и уверенно схватился руками. Они вот так, а он вот этак!

Забегал вдоль берега перед темным провалом ночного моря, сжимая кулаки... Назло я влезу, научусь. Назло!

Утром он опять был на стене. Опять заставил себя отключиться, оравнодушить к собственной судьбе.

Так продолжалось неделю. Посмотрев однажды на свое отражение в воде, увидел, что иссох наполовину. На лице резко проступили кости черепа, глаза сияли фанатично.

Но дальше пошло обратным ходом. Перестали кроить пальцы, взялась наращиваться тугая округлость щек. В лазании начал даже находить удовольствие. На стене превращался во что-то вроде хамелеона, способного зацепиться за любую мельчайшую неровность. Приникал к камню, распределялся на нем, почти растеклся, почти прилипал.

И наконец настал день, когда, нырнув глубоко, Стван достал со дна последнюю раковину. Поел, неторопливо прошелся узким пляжем. Ловушка перестала быть ловушкой, все теперь оборачивалось приятным и ласковым. Шагнул к стене и, думая о разных разностях, часа через два очутился над бездной, куда не доходит шум прибора.

Знакомая ложбинка, последний уступ...

Стван одолел его и, повернувшись, сел, спустил ноги вниз.

Море поднялось огромной чашей, синей вблизи, голубеющей вдаль, к горизонту. Вот оттуда он плыл почти без надежды, но все-таки не повернул назад к отмелям.

С водной глади веял ветер, камень был горячим под ним, и Стван неожиданно для себя рассмеялся. А каждый ли из тех, кому он завидовал в прежней жизни, сумел бы проделать вот такой путь, очутиться здесь наверху?

Встал, повернулся спиной к морю. Он был очень рад, что не соблазнился окинуть этот мир взглядом раньше, когда впечатление было бы испорчено мыслью о том, что надо будет спускаться, страхом.

Гранитное пологое плато лежало перед ним. Вдали

слева возвышалось образование вроде половинки яйца, поставленного торчком, светлое, почти белое. Справа камень продавился гигантской, словно стадион, чашей. Затем полоска голубого моря, через него перешеек, ведущий на другую равнину. И над нею снеговое облако — вершина в чистой небесной синеве.

И все. Яйцо, чаша, перешеек. В одном куске, монолите, не разломанно. Из-за этой цельности всю панораму можно было бы считать и маленькой, не теряйся безжизненная пустыня далеко в мареве эфира.

Счастлив, кто посетил сей мир  
В его минуты роковые...

Стван постоял некоторое время — музыка звучала в ушах.

«Пойду, не боящийся скал. В глубь кембрийского материка».

Камень, черный под ногой, впереди неуловимыми переходами менял оттенки. Краснел, растекался розовыми озерами, разливался коричневыми лугами. Здесь и там на темном возвышались белые округлые глыбы.

Ни песчинки, ни отдельного кусочка. Хочешь что-нибудь поднять — бери все плато разом.

Чем дальше уходил Стван от края равнины, тем жарче делалось. Пустыня постепенно превращалась в печь. Было понятно, что лишь толстенная кожа-подошва спасает ноги от ожога.

Сильно хотелось пить. Горячий воздух охватывал волнами. Подумалось, что, если упадешь, вскочишь сразу с волдырями.

Он остановился, и тотчас все вокруг заволокло туманом, контуры местности потерялись. Дернул головой — пелена рассеялась и сразу сошлась снова. Пошагал дальше. Туман разошелся, однако тут же надвинулся на глаза, как только Стван стал.

Сам он создает этот туман, что ли?

Прыгнул в сторону. Оглянулся и на том месте, где

только что был, успел увидеть собственный зыбкий, с одного бока разорванный контур, который миг просуществовал и растаял.

Сделал несколько прыжков, на полсекунды всякий раз останавливаясь, и сумел наставить целых три себя. Призрачные фигуры, одна за другой растворившиеся. «Значит, истаиваю я!»

А жара обжигала снизу пальцы ног, икры, даже колени. Стван попытался плюнуть — зашипит ли? Но рот пересох. Сдавливало виски, в ушах начинался колокольный звон.

Бежать?.. Но куда? Лучше к другому краю пустыни.

Пустился бегом, однако воздух яростно ударил в грудь тысячей раскаленных игл... Ладно, пойдем шагом.

Приближался наплывной вал, окаймляющий чашу-стадион. Но Стван не решился свернуть с пути. Местность то закрывалась туманом, то возникала.

Впереди была белая глыба. Стван поднялся на нее и почувствовал, что сразу расслабилось сложившееся в страдальческую гримасу лицо. Здесь, в полутора метрах над горячей плитой, господствовал иной климат.

Спуск на другой стороне каменной равнины был легче. Когда Стван прыгнул в волны, он подумал, что вода вокруг закипит. Однако первобытный целебный океан знал свое дело — через час про ожоги забылось.

С этой стороны в неширокой заводи галька была истерта в крупный песок. Прибой колебал кромку планктона, которого Стван не видел с тех пор, как простился с отмелями.

Сытый, отлежавшийся на волнах, он к вечеру опять взобрался наверх. Радостно было чувствовать, сколь свободным его сделала способность лазать.

Ветер с моря нес прохладу. Близилось время заката. Перешеек вблизи лежал мостом к другой, более обширной равнине. И там у самого горизонта высились четыре одинаковых прямоугольных горы — будто вагоны огромного поезда.



Удастся ли туда дойти? Пылающий материк кембрия — не место для прогулок. Не углубишься в голую гранитную пустыню, не доберешься, оторвавшись от воды, до тех мест, где в будущем раскинутся Париж или Заир.

Белый холм и отсюда напоминал по форме яйцо. Чаша была, пожалуй, жерлом потухшего вулкана — наверное, дополнительным кратером того, что вознесся за облака. Какой рев катился над гладью моря, когда все создавалось тут! Какой огонь дохнул в небо, как страшно, гибельно растекался в светлой высоте крошечный дым!

Пройдут эпохи. Если этим скалам не погрузиться на дно океана, они разрушатся в песок. Жизнь покроет дюны травой, будут вырастать и падать деревья. Потом придут люди, испещрят местность своими сооружениями, все станет дробным, мелким, запутанным.

Но до такого еще сотни миллионов лет. А пока что царствует одному ему принадлежащий кембрий — спокойное достоинство, чистота ничем не смущенных основ.

Стван лег на теплую скалу у самого обрыва.

Опускался к волнам шар солнца. Вот он, первобытный мир. Безмерность неба, земли. Немой голос гранитной тверди, тишина, которая будто что-то говорит. Торжественное величие самого обнаженного существования. Кажется, еще миг, и поймешь, зачем материя, время, Вселенная. Познаешь истины, не выражаемые словами, доступные, быть может, только безъязыкой мудрости инстинкта.

Стван прижался всем телом к шершавому камню, обнял его.

«Я вник. Принадлежу и слился. И если крикну от боли, мой вопль расколется плато пополам».

Но почему «от боли»?

Удивленный, встревоженный, сел. Какая боль, откуда взялась?

Что-то происходило в его внутреннем мире.

Поднявшись на ноги, он в волнение заходил взад-вперед.

«Ерунда! Отлично выдержу здесь... Хотя при чем тут «выдержу»? Я же наслаждаюсь. Что может быть лучше одиночества под голубыми небесами? Есть чем заняться — удивителен мир воды, великолепна твердь».

Едва слышным голосом снизу соглашались волны.

«Пойду и пойду себе. Мне жизни не хватит, чтобы все...»

Но Стван пошел только на третий день. Готовился. Высушенными водорослями оплел пустую раковину-рог. Наполнил водой, сверху замазал подсыхающим планктоном, приладил лямки. Решил еще до жары осмотреть ближний кратер, подойти к четырем горам — может быть, там река. Ведь должен же быть где-то сток тающих снегов. Если река, можно далеко забраться внутрь континента.

Ночью он влез на плато и с первым солнечным лучом подошел к кратеру.

Гигантская лавовая чаша еще тонула в тени. Стены полого сходились книзу, и там в центре зияло черное пятно колодца.

«Может быть, подземные залы, лабиринт. Вход в тайное тайных, самое чрево планеты».

Стван перепрыгнул через невысокий вал, сел на склон. И вдруг немного съехал вниз.

«Черт возьми!»

Камень здесь был как бы отшлифован, полит лаком. Темно-коричневая, слегка взрыбленная поверхность, которую именно рябь делала неудержимо скользкой.

Всего лишь чуть-чуть его утянуло. Еще не понимая, повернулся, чтобы схватиться за вал. Но это движение еще увело его вниз. Плавно, как по воздуху.

Теперь несколько сантиметров не хватало, чтобы вытянутой рукой достать край склона. Стван лежал на боку в беспомощной позе. Раковина с водой мешала. Он

осмотрелся, выискивая поблизости шершавое место. Не было. Укрытый от ветра склон застыл, как стекло.

Стван начал осторожно освобождаться от лямок своей фляги, снял ее, скатился еще на метр. Затаил дыхание, простертый на спине. Быстро-быстро становилось жарко. Почувствовал, что вспотел, и как только подумал об этом, ощутил, что едет. Спустился еще на какое-то расстояние, остановился. Попробовал сесть, и это усилие сбросило его еще дальше вниз.

Вот и все. Так просто и без трагедий.

А казалось, будущего еще так много.

Внизу ждала черная яма колодца. Какова его глубина?.. Пять метров, пятьдесят, пятьсот?..

Он понял, что теперь нужно обозлиться на что-нибудь. Скорее. Вытеснить ужас гневом.

— Ловко вы меня прикончили, — сказал он, глядя в небо. — Никакое не правосудие — взяли да убили побандитски. Ну пусть, не жалею. Тут я хоть сильным стал, смелым. Все равно предпочитаю так, а не толпиться у вас в городе.

Стван опять поехал и остановился. Туманом заволокло глаза. В ушах накатывал и отступал колокольный звон.

— Что, собственно, она дала людям, ваша хваленая цивилизация? Достаток и безопасность? Тогда отчего же они недовольны, а? Почему завидуют отчаянию Ван Гога, нищете Бальзака? Зачем им снятся трудности и лишения?

Рот пересох. Колокол в мозгу как вколачивал что-то.

Стван заторопился.

— Эй вы, судьи! И я мечтал о борьбе. Причем не против каких-то мертвых обстоятельств, не слогарифмической линейкой, а лично. Я да враг, и кто кого. Слышите, вы меня обманули! Не было никакого «отвечая желанию». Мне противника не доставало здесь, в кембри, как и в том обществе, откуда выкинули.

Еще раз поехал. И сердце екнуло, когда лодыжки

повисли в воздухе. Край колодца! Неправдоподобным показалось, что вот он, совсем одинокий на пустой планете, и от гибели отделяют лишь граммы неравновесия. Лежит, словно вещь, и ничего не сделать.

Боясь шевельнуться, опасаясь дрогнуть, закрыл глаза и пролежал неподвижно, не зная сколько. Потом лоб охватило жаром, веки ярко покраснели.

Открыл глаза и увидел стоящее над самым обрезом кратера слепящее око солнца.

Пристально, строго смотрело оно.

## ОГНЕННАЯ КУПЕЛЬ

Прибыл. Нахожусь.

...Еще не было слышно, как укладывается Тиран.

Надо ждать.

Бойня стихает с закатом. Но не сразу. После того, как солнце опустилось за край вулкана, минуту длится покой. Участники схватки будто ошеломлены — что, неужели пора кончать? А затем последний всплеск. Кто не дожрал, торопятся дожрать — причем и те, кого в этот же момент самих едят. Хмызник трещит, отовсюду шум, вой, хлюпанье, вопли, рев. Кругом проламываются за пищей, ползут к ней, бросаются, тянутся, поднимаются, на нее падают. Один ковыляет на трех ногах, другой ухитряется взлететь на единственном оставшемся крыле, третий, обезглавленный, судорожно бьет лапами. Победитель дохрустывает чужую башку — у той в агонии вытаращены глаза, а в зубах сжат и корчится кто-то еще меньший. Кровь повсюду булькает и заливает самое дно Бойни, кровь просачивается в почву, где подбираются к ней хищные корни хмызника.

Это заключительный взрыв, после которого тишина.

С наступлением ночи я считаю, что на сегодня спасен. Только вот Тиран.

Ага!.. Треск, грохот. Колебнулась земля. Ложится...

Позавчера я видел, что случилось с Длинной Жабой,

когда Тиран решил заняться ею. Топот и рев разнеслись на километры, два гигантских тела столкнулись, и всего через минуту треть того, что было наводящим страх чудовищем, уже перекочевало в брюхо властителя... Оставшаяся часть была живой и трепетала, когда тот удалялся.

Вчера видел Тирана. Спящего. Наткнулся при свете луны, вылезая из болота. Голова была рядом, огромная, словно стол в совещательной комнате. Из разинутой пасти несло зловонием, светились зубы, как ряд кухонных ножей. В животе его урчало, дыхание то отбрасывало, то возвращало к носу толстый побег хвоща. Надо было сразу отступить, но я застыл, стараясь понять, кого же он мне напоминает. И понял — не зверя, конечно. Человека. Какого-то деятеля, даже исторического, чей поясной портрет я ребенком видел на стене в детском саду. Та же непомерная голова с низеньким лбом, переразвитой челюстью и совершенно такие же маленькие, ни на что не способные ручки. Впрочем, зачем руки, когда такие челюсти?

Еще раз содрогнулась земля — он уронил свою башку.

Можно наконец лечь в кровавое месиво почвы. Пусть снизу жрут пиявки. Засну ненадолго, а после буду вглядываться в звезды, стараясь понять закон их хода. Надо подумать, собраться с мыслями. Прошлой ночью мне пришло в голову, что я бы вырвался, если б решился ходить возле кого-нибудь из старших — около Сундука, Рогатого или самого Тирана.

Это пятый день на Бойне.

Уже все потерял, что было накоплено на отмелях и скалах. Седьмой день. Затравлен, шарахаюсь от собственной тени.

Ходить возле старших бессмысленно. Даже если увидишь солнце, то лишь на миг, а потом опять заплу-

таешься. И ночное небо открывается кусочком таким маленьким, что ничего не дает для ориентации. Кроме того, Рогатый почти не валит хмызник, лишь раздвигает его, а Сундуку не нравится, если кто-нибудь сзади. Я и не думал, что он способен на такое быстрое движение. Высунулся возле его плеча. Он мгновенно развернулся, и хвост пролетел мимо в миллиметрах — не отскочи я, нанизало бы на один из метровой длины кинжалов.

Настоящие просеки оставляет за собой Тиран. Однако он быстр, непредсказуем, ему свойственны мгновенные повороты. Если увидит, от него не убережешься — гигантская голова торчит далеко над вершинами, оттуда сверху он берет что захочет.

На Бойне каждый боится кого-то. Одному Тирану никто не страшен. Он единственный на всю местность, самый сильный.

Я тоже один. Самый слабый.

Весь залит кровью. Она сочится из ран и ранок непрерывно, привлекая все новые и новые нападения.

Чтобы восстанавливать себя, сжираю в сутки килограммов по пять живой мелочи. Счастье, что о еде не беспокоюсь — только протягивай руку, следя, чтоб ее не откусили. Порой полусгнившая коряга одета вся живой, шевелящейся массой полусгнивших улиток, как одеялом. Сегодня видел миллион, может быть, их сразу — ствол был покрыт в два-три слоя.

Хуже всего эти повороты.

Восьмой день — теперь считаю.

В хмызнике попадаютс я шутики, относительно которых не поймешь, то ли оно растение, то ли зверь. Утром обнаружил, что в бедро на полсантиметра ввинтился стебель, снабженный, видимо, анестезирующим составом. Он явно пил кровь в темноте, и, когда я его оторвал, было впечатление, будто на кончике что-то вроде

рта. Но этот стебель ответвился от другого, такого же тонкого, тот — от следующего, и в неразберихе листьев, почек, сучков я им не сыскал конца. А днем большая ящерица, выскочив из-под моей ноги, попала в светло-фиолетовое образование вроде губки. Ящерица заби-лась, потом затихла, а губка охватывала ее тысячью ниточек-присосков. Лианы движутся с быстротой, заметной для глаза, обвивают петлями. Они крепки, словно проволока, мне их не разорвать.

Видел огромный череп Длинной Жабы. Он весь дырчатый — чтобы меньше весил, вероятно. Напоминает корзинку для бумаг.

Повороты доведут меня до сумасшествия.

Восьмой день... Или восьмой был вчера? Путаюсь.

Хмызник, куда бы ни идти, стоит плотной, охватывающей стеной. Метра три-четыре. Выше ему не подняться, поскольку его непрерывно жрут, да и сами растения душат друг друга.

Наверху ветви переплетаются так, что ты постоянно под крышей. Будь тут крупные деревья, можно было бы влезать, определять направление к горам и вулкану. Но тонкие стволы гнутся, сразу оседаешь в чащу.

И потом еще эти повороты.

Девятый день... или десятый.

Сегодня меня увидел Деятель... то есть Тиран.

Дрогнула земля. Рядом, проламывая хмызник, опустилась трехпалая лапа. Серо-желтые корябанные когти, каждый у основания толще бараньего рога, глубоко втиснулись в почву. Брюхо уходило вверх, и там, как два сомкнутых ковша экскаватора, повисли челюсти. Маленький глаз зыркнул на меня, оцепеневшего. И все. Лапа переступила, хвост диаметром в нефтеналивную цистерну потянулся — поехал мимо. Темная морщинистая кожа напоминала кору дуба.

Он меня не сожрал. Однако не был сыт — брюхо висело огромной порожней складкой.

А хмызник нейтрален только внешне: кровь льется, экскременты падают и вместе с недоеденными лапами, шеями, хвостами составляют густую кашу, которой с удовольствием питаются корни растений. Идти тяжело. Нога иногда погружается в эту кашу даже по щиколотку.

Однако самое жуткое — повороты.

На Бойне нельзя больше секунды смотреть в одну сторону. И поскольку у меня сзади нет глаз, приходится непрерывно поворачиваться, успевать, если надо, отогнать кого-то, отскочить, убежать. От бесконечного дергания кружится голова. От восхода до заката рывки, никакой возможности что-то сообразить, сосредоточиться.

Только что опять слышал подземный рокот. Возможно, земля колеблется и днем, но этого не заметить, потому что я уже в горячке, в полубреду. Кроме того, в светлое время на Бойне оглушающий шум: свистят, жужжат насекомые, рев, вой, треск.

Думаю, почему они кинули меня сюда со скользкого склона кратера. Кончился срок в кембрии?

Так или иначе, очнулся на берегу. Кругом трава, кусты. Восторг охватил, катался в экстазе. Небо еще только светлело, солнце не успело разогреть всю нечисть. Взобрался на холмик, огляделся. Показалось, что место примерно то же самое. Но, конечно, через миллионы, сотни миллионов лет. Увидел, что малого, зловещего кратера не существует, а дальний, прежде увенчанный снегами, сохранился. Сделался, правда, мельче, ниже, став действующим вулканом — клуб черного дыма над ним. Ущелье превратилось в реку, широкую, медленно текущую к морю. А все пространство между ней и цепью голых возвышенностей у вулкана, было залито зеленью. Чаша, долина в сотни квадратных километров. Чья-то черная башка торчала над водой в ре-



ке, еще одна высунулась из кустарника, и я возликовал — не один, мол.

Помню, оглядел себя с гордостью. Плечи, руки, грудь — все в отчетливо обозначенных мускулах, сыромятно-гибких, готовых в любой момент взорваться силой. Решил, что вот здесь-то мое настоящее место, что вполне способен принять вызов, который посылает мне этот новый мир.

До чего все глупо.

Коричневый кожистый мешок, висевший на пальме, вдруг развернулся. Опомниться не успел, сделалось темно, голова моя с висков сжата зубами. Перед носом отверстие глотки, как труба вентилятора. Выдираюсь в панике. Что-то хлопает рядом. Ветер. Оказывается, большой летающий гад сдуру решил проглотить. Вырвался, по щекам льется кровь. Огромная тварь шипит, бьет крыльями. В ту же секунду сзади хватают за пятку, из воды вылезает еще кто-то и торопится ко мне с пастью, как раскрытый чемодан.

Кинулся в хмызник, и все. Оказался на Бойне...

Перед самым вечером меня здорово укусил Куриц — животное размером с курицу и на нее похожее, но без перьев, все покрытое чешуей. Странно, что столь мелкая тварь нападает на такого большого.

Передние лапы этого существа кожной складкой соединены с туловищем, так что помогают ему немного под держаться в воздухе, когда прыгает. Рот маленький, ороговевший, почти клюв. Хвост — нелепый, чешуйчатый обрубок.

Прогнал, но ранка на плече саднит и ноет.

Ужасный день — кажется, двенадцатый.

Куриц прицепился ко мне. Выкусывает из моего тела кусочки, убегает и возвращается.

Утром он налетел снизу, пешком. Тяпнул за икру. Не до мяса, но куска кожи не стало. Возникла розовая

ямка, где крошечными капельками стала проступать кровь. Пока я рассматривал рану, Куриц в двух шагах заглывал то, что сумел урвать. Я бросился на него, он отскочил. Опять я кинулся, Куриц отпрыгнул, однако не убежал совсем.

Но ведь мне невозможно посвящать все внимание этой твари. На меня вдруг пошла ожившая колода — здесь масса зверей крокодильего типа. Метнулся в густую заросль, и сразу адская боль на лопатке. Это Куриц сверху. Ощупал — ямка, на этот раз более глубокая и сильно кровоточащая. Снова за ним, но его не отогнать. Он постоянно рядом, в нескольких метрах. Заходит сзади, использует каждый момент, когда я отвлечен. Пробовал сам убежать, хоть и стыдно — от такого ничтожества. Он не отставал, преследовал и перед закатом ухитрился откусить верхний сустав мизинца на ноге вместе с ногтем.

Тут уж кровь просто хлынула. Тотчас захромал. Удалось залепить это место комком тягучей смолы, но ходил, опираясь лишь на пятку. От боли не могу заснуть...

Вулкан где-то неподалеку. Недавно опять раздавался глухой рев — значит, жерло кратера в десяти километрах, не больше.

А горы должны начинаться еще ближе.

Четвертый день... то есть четырнадцатый.

Наверное, схожу с ума... Может быть, это галлюцинация, но Куриц заметно вырос — уже по пояс мне. Сегодня долго и серьезно просил его отстать от меня. Приводил доводы — мол, я человек, во мне будущее. У него на конце клюва присох кусочек чего-то темного, скорее всего моя плоть. Было впечатление, что слушает со вниманием, даже сочувствует. И только когда он когтем задней ноги стал чесать круглый выпуклый глаз прямо по роговице, я опомнился.

На ровном сухом месте эта мерзкая тварь у меня и двух минут не прожила бы. Убил бы камнем... То есть что значит «убил»? Я бы только подшиб, а потом еще терзал часами.

Но нет же камня. Болото, чаша.

Не знаю, который я уже день на Бойне.

Кажется, сдался. Сижу, забившись в чашу. Затылок, плечи, спина объедены. Ослабел от потери крови. Куриц где-то рядом. Проголодается, будет меня доедать.

Жуткая казнь. Неужели я ее заслужил?

Ну, допустим, там, в человеческом мире, я действительно был неумным, некрасивым, обидчивым, без упорства, таким, на которого ни в чем нельзя положиться. Предположим. Но можно ли, на самом деле, уничтожать человека за то, что нет воли? Это же болезнь, инвалидность. Если цивилизация хвастает великими достижениями, ей нужно добиться, чтобы неудачники тоже чувствовали себя хорошо. Но она предала меня. Именно этим предательством рождено мое преступление.

Рев вулкана еле слышен. Видимо, завело опять от края Бойни на середину. Да, все равно!..

Тиран избавил меня от Курица.

Сгибая живые стволы, ломая подгнившие, перед нами явилась гигантская нога. Куриц — он сидел и чесался — проворно прыгнул и попал как раз под вторую опустившуюся ногу. Надо мной нависла разверстая пасть, стеклянно блеснули влажные клыки. Секунду Тиран смотрел в упор — во взгляде было даже какое-то выражение. И царственно проследовал дальше.

Сижу. Нет сил подняться.

У Тирана глаза почти человеческие. Расположены не по бокам головы, как у мелких ящеров, но вроде «на лице». Направлены вперед. И маленький зрачок выде-

ляется на фоне глазного яблока, не заполняя его целиком, составляя белую часть — иначе, чем у лошади или у собаки.

Все еще под крышей растений, в полумраке зеленой клетки. Но есть слабая надежда.

Надрал большую кучу коры длинными полосками и сплел подобие рубахи. То есть сперва получилась как бы узкая простыня. Раздвинул в середине дыру для шеи, сложил пополам, проделся, перепоясался корой же. Теперь сзади защищен хотя бы от самых мелких укусов. Во-вторых, подобрал большой мосол — ребро крупного животного. Все-таки защита.

Как будто бы двадцатый день.

Хмызник представляет собой неразбериху ужасающего множества разнообразных растительных существ. Мхи, лишайники, псилофиты, папоротники, хвощи, плауны, саговники, а вперемежку с ними и высшие: сосна, пихта, буковые и березовые, ива, клен, вяз, магнолия, какие-то травы, платан, глициния, фисташки, акация и еще сотни мне совсем неизвестных — дня не хватит, чтобы в уме перечислить, что видишь только в радиусе протянутой руки. Формы веток, рисунки коры неисчерпаемы. Листья круглые, овальные, вытянутые, тонкие, почти просвечивают, и листья-лепешки, крошечные, с тарелку и с дверь размером, шестиугольные, резные, глянцевые, шерстистые, пупырчатые, дырчатые, мятые и ровные, липкие, колючие, маслянистые, гнутые и скрученные. Шишки, спорангии, сережки всех мыслимых видов. Кругом сыплются споры, летит пыльца. Все плодится на глазах. Все борется за свет, душит окружающих, задыхается само. Поэтому та же береза не созревает до полного дерева, а тонкими извилистыми стволами напоминает скорее лиану. Оборот живой материи

чудовищно, по-сумасшедшему скор. Вряд ли что-нибудь существует здесь более года-двух.

То же и в зверином царстве. Видел, как убегало нечто плоское, покрытое ромбическим щитом, сея за собой вереницу желтых яиц. Сзади, гонясь, их подбирало двуногое, из которого, в свою очередь, сыпались на ходу светло-серые шарики, тут же расхватываемые. Голодуха среди изобилия, суета, непрерывная драка. Невозможно поверить, что в этой панике может когда-нибудь возникнуть и развиваться человек.

Над хмызником, словно над поверхностью моря, вышляется только голова Тирана. Да еще есть длинношеие тонкие животные с гусиным клювом. Остальные же, малорослые, похоронены в жаркой, зловонной массе. Густая, плотная чаша не позволяет увидеть что-нибудь издали, загодя, любая ситуация сваливается неожиданно. Поэтому, нахватавшись лягушек, сразу залезаю туда, где потемней, стараюсь спрятаться хотя бы от больших.

А ведь где-то совсем недалеко вулкан, пологие лавовые склоны, небо, прохладный ветер.

Заметил, что Тиран ходит не один, а сопровождаемый свитой. Это была третья или четвертая наша встреча. Он появился, задержал на мне долгий взгляд и двинулся туда, где, возможно, видел свою жертву. А через миг, возникая из чащи, исчезая в ней, в ту же сторону проследовало несколько десятков всяких. Двуногие, четвероногие, горбатые, с прямой спиной и проваленной, в чешуе или покрытые щитками. Крупные шагали впереди, мелкие прыгали, переползали за ними. Тоже иерархия. Для самых больших я был бы подходящей добычей, но каждый лишь тарасил зенки и продолжал путь, как если б взглядом Тирана на меня было наложено табу. Они пожирают остатки его обеда: тонны живого мяса, которое еще бьется, ломая хмызник, когда хозяин

уже наполнил брюхо. А в конце концов сожрут его самого.

Кустарник еще долго вздрагивал, когда никого уже не было видно. Вероятно, прикрытые листвою, там пробирались совсем ничтожные.

Третью ночь подряд снится странная сцена. Будто сижу в комнате со сводчатым потолком, напоминающей монастырскую келью. Поздний вечер, горят две восковые свечи. На гвоздях развешана одежда: фрак зеленого сукна, плащ с металлическими пуговицами, порванный и зашитый. Еще какое-то тряпье. А передо мной рояль.

Убил большого зверя.

Он кинулся. Я успел увидеть боковым зрением, прыгнул в сторону и как-то автоматически ударил его тяжелым мослом по голове. Зверь был метра два длиной, на низких лапах. Напоминающий дракона с острова Комодо. Удар оглушил его, но головы здешних такие крепкие, что и кувалдой не возьмешь. Во всяком случае, он махнул длинным хвостом. Не подскочи я, оказался бы на земле и в его клыках. Ударил снова, попал в глаз. Это его замедлило, но все-таки опять с ревом бросился на меня. Тут удалось стукнуть его по шее, где череп соединяется с позвоночником...

Сейчас ночь, а до сих пор дрожат руки, и не могу успокоиться. Решил было совсем не выходить из самой густой чащи. Но нельзя же. Из-за того, что все время мокрый, валяешься в грязи, кожа воспалена. На боках и на спине пролежни.

И повторяется тот же сон. Вижу келью, свечи горят и оплывают. Две скрипки на тумбочке и непонятная трубка-рожек. Каменный пол из ровно уложенных квадратных плит. Книжная полка и беспорядочно наваленные томики у окна, за которым синие сумерки. Там дальше крепость, что ли, — вал, форты... Старинный

рояль, на нем рукописные ноты, как из музея. Чернильница, куда сунуто гусиное перо. Руки мои на клавишах. Сердце замирает предчувствием — вот-вот будет понято самое великое в жизни, откроются освобождающие истины, душа вознесется в знакомый, но вечно удаленный рай.

Пролежни понемногу превращаются в язвы.

Может быть, правильное больше не мучиться, умереть. Ясно, что этот меловой период с его паникой и дикой дракой не для человека.

Вечером мимо проходил Тиран. Остановился и долго смотрел на меня. Будто собирался что-то сказать.

Ночью, внезапно проснувшись, понял, что в сновидениях становлюсь Бетховеном. Как странно... Это 1825 год, если верна моя память. Недалеко до смерти. Терзаемый бедностью композитор вынужден покинуть квартиру на Крюгерштрассе, переселиться к окраине, в бывший монастырь. Уже создан весь венок симфоний: беспечная Первая, гордая Вторая, «Героическая»... Позади сиреневые волны «Лунной сонаты», «Ода к радости» из Девятой. А жизнь почти невыносима. Осаждают кредиторы, болезни измучили. В ушах постоянный шум, сквозь который даже с помощью рожка (трубка на столике) он не разбирает слов собеседника. И тем не менее руки на клавишах.

Но почему я?.. Мне и к роялю-то почти никогда не приходилось...

Если, согласно предположениям некоторых, мир является четырехмерным пространственным образованием, а частицы — нити в нем, через поперечные сечения которых движется наше сознание, если все времена таким образом существуют одновременно, то Бетховен играет

вечно. Жгут Жанну д'Арк, разрывы снарядов под Верденом смешали человеческую плоть с землей, и сквозь все это звуки «Лунной».

Встал все-таки. В этой рубаше как-никак легче. Видимо, три последних дня были кульминацией моего падения. Надо подумать, как же стану здесь жить, как не поддаваться слабости.

Я ведь хотел одиночества — во всяком случае от своих современников. Мне ненавистна была эта копошащаяся масса, где каждый старается показать себя, вылезти, одолеть хоть в чем-то одном, если ему широкий спектр не по силам.

Но Бетховен, Бетховен почему...

Зачем он приснился, пришел ко мне? Может ли быть, что и у меня, в самой глубине сознания, таится жажда делать мир лучше?

Проклятье! Выход из Бойни совсем близко.

Наконец-то удалось высунуть голову над переплетением ветвей, оглядеться. Почему меня раньше не осеанило — связать несколько тонких стволов, соединить эти связки треногой и влезть?

Насколько здесь воздух другой, над хмызником!

Запомнив направление, мне нужно проломиться в чаще хотя бы метров тридцать, потом снова связывать и взбираться.

До склонов километра три-четыре, не больше. Если все пойдет хорошо, завтра свобода.

Упади! Свались ничком... Дыши! Ты вымылся и чист. Так, снова бросайся в ручей!

...Тиран не хотел отпускать, вся Бойня держала. Мне не позволили днем взбираться над хмызником. Даже



самые маленькие кидались с голодной яростью, как только были заняты руки. Другой комодский дракон свалил ударом хвоста — содрогаюсь, вспоминая, как боролся с полным, скользким телом.

Но особенно Тиран.

Уже повышалась местность, стало сухо под ногами. Хмызник редел, большими кусками открывалось небо. Я вышел на ровное пространство — вдали вулкан, а между мной и лавовыми полями темным пятном уселся Он, тираннозавр. Я взял правее, к обрывам, он тоже. Влево — и он левее. Пришлось вернуться в чашу, ждать полной ночи.

Факел над кратером указывал, куда. Луна освещала дорогу.

Поднялся. Вдруг треск ветвей, темная масса нависла, загораживая звезды. Смутная — только на высоте белели зубы. Пустился бежать, и он за мной пятиметровыми, как бы неспешными шагами. Слышал, галька летит из-под когтей. Он нагнал, схватил было, не юркну я в сторону. Многотонное тело пронеслось по инерции, Тиран не может останавливаться, как мы, грешные. Воспользовался, снова помчался, словно заяц. Отвык бегать в тесноте Бойни — забытое ощущение ветра на щеках. Он опять нагонял, молча. Луну скрыло облачком, рытвины перестали обозначаться. Споткнулся, покатился, вскочил. Его шаги ближе, обрывы уже недалеко. Уступ! Меня взнесло, будто на крыльях — счастье, что научился по скалам. Белкой вскарабкался, повис на пальцах, сердце выпрыгивает.

Он тоже преодолел уступ, но с задержкой. Повозился подо мной. Потом... меня бросило в жар. Явственно услышал, что он выругался.

Как такое может быть?

Доносилось его дыхание. Видимо, ждал, что упаду.

И только минут через пятнадцать посыпались камни и ухнуло вниз. Серое пятно удалялось и растворялось.

Ушел.

Носом в стену я вполз выше, оказался на ровной площадке. Нащупал ствол дерева.

Свет и простор! Освежающий ветер. Несколько часов подряд меня никто не ест. Можно не оборачиваться ежесекундно.

Если лицом к северу, слева до горизонта море, а впереди холмы и возвышенности, которые голубеют под солнцем. С правой стороны дальние вершины, сзади широкий серебряный рукав реки. Вся территория создана деятельностью вулкана, но сам он не так близок, как казалось. То, что я видел ночью из хмызника, — не пламя, а столб дыма, подсвеченный снизу красным. А сейчас кратер загорожен от меня пологими склонами.

Это жизнь! Это чудо!..

И близко под землей горячая лава. На некоторых участках обжигает кожу ступни. Кое-где из трещин вырываются столбики горящего газа — их, кажется, называют фумаролами. Вообще местность очень бойкая, может взять да и взорваться, взлететь. Как вулкан Кракатау.

Рев из кратера доносится избирательно. Вот слышишь отчетливо, а полсотни шагов в сторону, и ничего. Время от времени почву сотрясают подземные удары.

Утром вспомнил свой переход через океан, ужасно захотелось плыть, нырять. Обошел стороной хмызник, стал спускаться по обрывам. Но еще издали стало ясно — не кембрий. Широкий песчаный пляж весь истискан следами; пикируя на волны, летают птеранодоны. Их в небе были сотни, а еще дальше на скалах увидел такое место, где вообще черным-черно — видимо, курятник, где они кладут свои яйца. Если минуту смотреть в одно место на море, обязательно мелькнет черный хребет, и один раз вынырнула харя с такой зубастой пастью, что и Тирану не стыдно бы.

Все время думаю, как же он мог выругаться.

Определил место для ночлега. Это над хмызником возле фигового дерева. Площадка-поляна заросла травой, журчит ручеек, а пониже фумарола. Сначала думал, будет запах серы, но вечером убедился, что газ сгорает на выходе — в темноте был виден голубой огонек.

Обнаружил соседа. Нелепое существо, которое питается листьями и стеблями. Короткие ноги — низко посажено на землю. На спине вырост наподобие паруса. Животное расправляет его, чтобы охлаждаться во время жары и нагреваться утром. По-моему, именуется эдафозавром. Зеленого цвета. Единственная защита — застывать неподвижно. Жив только благодаря тому, что родился здесь, не на Бойне.

Кто меня удивил, так это небольшой зверек, весь покрытый шерстью. Что-то среднее между кошкой и обезьянкой. Очень проворный, со смышенной мордочкой. Постоянно шныряет по деревьям, в траве и как будто нарочно лезет мне на глаза. Неужели в эту эпоху уже млекопитающие?

Вот здесь, значит, мне и жить, рядом с хмызником?

Странно все складывается. Еще три дня назад был бы безумно счастлив вырваться с Бойни. Думал, только бы мне воздуха, простору. Теперь вырвался и спрашиваю — что же делать?..

То есть как — что? Видеть, чувствовать! Мало ли что?

Хотел залезть на кратер и отступил, не смог. Отступил перед звуком.

Дошел до самого верха склона и убедился, что вулкан расположен в середине кальдеры. Подо мной был амфитеатр километров до пяти в диаметре. С плоским

дном, где в центре невысокий, но сильно дымящийся кратер.

Спуститься после моей практики на скалах не представляло труда. Стены кальдеры, правда, непрочны. Несколько раз вызывал маленькие лавины. В одном месте, когда почва вдруг вырвалась из-под ног, так хлопнулся со всего маху на спину, что из легких вышибло весь воздух. На миг подумал — они склеились, никогда не смогу вдохнуть, погиб...

В чаще кальдеры ни травинки, ни души. Только страшный рев.

Крик вулкана вблизи внушает ужас. Сверху, со склона, рев кажется однородным, а на полпути до кратера начинаешь различать составляющие. Это свисты, ворчанье, бульканье — что-то живое. То высокие, то низкие звуки становятся преобладающими, непрерывно плывет, пульсирует целое, которое начинаешь ощущать пространственно — кусками звука, целыми стенами, зданиями. Они падают на тебя, вот-вот задушат. Изменения тональности и силы непредсказуемы, нарастающий хаос. На фоне грохота вдруг отчетливый свист. Он усиливается, несется, поглощает другие, охватывает тебя, жмет и жмет, угрожает жизни. Со страхом ждешь, что же он сделает дальше, а к нему уже подобрался другие звуки, обгоняют, растворяя. Все это уже сжало тебя до какого-то предела. Но передышки нет. Снова скрутило, давит, так без конца.

Еще ближе к горе рев действует уже мистически. Чувствуешь себя опасно рядом с первозданной, неконтролируемой мощью, которая может смять тебя, даже и не заметив. Ощущение, что вот-вот случится катастрофа.

Я терпел минуты три, потом побежал прочь. Был уверен, что оскорбленная мощь догонит, накроет лавой...

Дно кальдеры напоминает облезлый, потрескавшийся асфальт. В западной части неожиданным ярким пятном озерцо голубовато-зеленого цвета. Запах серы. Заброшенность.

Вечером, уже дома, то есть на площадке, где эдафозавр, вспомнил про того ученого, который лазил в Страмболи и Этну.

Ну и что? При чем тут я?

Боже мой, неужели меня опять затягивает? Как тогда на краю отмелей. Ведь то был страшный риск. Меня же только чудом нанесло на материк (или остров?). Могло увлечь и в совершенно безбрежный кембрийский океан, к центру. И там, став беспомощной игрушкой ветров, волн, так и жил бы (будь пища) всю остальную жизнь на плаву.

И я же не мог совсем исключить такой вариант, когда отцеплялся взглядом от своей башни. Выходит, во мне тоже есть мужество.

Или лучше вообще не думать о том чертовом профессоре?

Ужасно! Адская боль!..

Грохот и рычание странным образом уменьшились, когда я подошел вплотную. Видимо, здесь какие-то акустические эффекты — например, стены кальдеры отражают звук на середину расстояния между ними и кратером. Во всяком случае, вблизи можно было терпеть. Сама гора тоже не трудна. Умеренно крутой склон только изредка прерывался обрывами ошлакованной лавы. Да еще мешали обманчивые фестоны очень мелкой спекшейся пыли, жутко хрупкие, которые, казалось, только и ждали, чтобы кто-то наконец дотронулся. Думаешь, перед тобой глыба камня, пытаешься встать на нее или опереться, а «глыба» тут же рассыпается в прах и течет, увлекая тебя обратно. Так или иначе я все это преодолел, добрался до самого края.

Вот это вид!

Внутренние стены темно-коричневого и темно-фиоле-

тового цвета опускались с наклоном градусов семьдесят, то есть почти отвесно и недоступно. Жара, запах шлака, напряженный рев, какая-то мусорность, неприбранность и то, что сам черен, грязен от подъема, создавали ощущение, будто находишься возле большой топки. Но оно сразу пропало. Потому что на глубине, которую не очень-то и определишь, ворочалось нечто огромное, живое. Полужидкая тяжкая масса, раскаленная до ослепительно желтого сияния, которую я видел в просветах между клубами дыма. Эта масса не то чтобы скромно ютилась там в пропасти, а лезла наверх, дышала, выпучивалась и снова опускалась — мускул затаившегося чудовища.

Стены кратера дрожали от напряжения. Свесившись, я заметил, что естественный карниз косо спускается к площадочке подо мной, а оттуда подобие тропинки ведет к балкону из шлака, прилепившемуся еще ниже. Было похоже, что тот ученый воспользовался бы.

На площадке воздух обжигал, словно кипяток, голова кружилась, но все-таки я добрался и до балкона. Теперь пылающее варевое было всего метрах в пятнадцати от меня. Поверхность этой массы кипела взрывами. То там, то сям желтизна уступала место белизне, затем внутренний удар, и вверх взлетал выплеск, который уже потом, на уровне моих ног или пониже, падал на сверкающие капли. Стены кратера отсюда казались неодолимыми. Я испугался, что сейчас потеряю сознание в этой жаре и в шуме. И вдруг!..

И вдруг вся поверхность расплавленной массы разом побледнела. Раздался вой, и огненное озеро прыгнуло вверх. Одним рывком почти до моей площадки. Спустился я еще чуть ниже, точно меня слизнуло бы лавой.

Огонь дохнул, сжигая кожу. Меня словно подбросило. Ринулся вверх, схватился за какой-то карниз. И это оказалось фестоном пыли. Господи! Я врылся и несколько секунд сохранялось равновесие — руки и ноги перебирали с той же скоростью, с какой обрушивался шлак.

Затем позади взрыв, сзади меня облило дождем лавы. Наддал, вырвался на твердое место и с воем, которого, конечно, было не слышно здесь, навверх-навверх...

С той поры восемь дней лежу на животе у ручья. Ничего не ем, только пью. Спина, затылок — уже лопнувшие пузыри, гной, боль.

Какие же мы, люди, все-таки маленькие, бессильные.

Только что подошел эдафозавр, ткнулся мордой мне в бок. Круглый глаз, расположенный на голове сбоку, смотрел и ничего не выражал, да и вообще у пресмыкающихся нет мимики. Но что-то он чувствовал, раз подошел вот так. Мною вдруг овладел сумасшедший смех — нелепейший зверь, тупик эволюции, выражает сочувствие. «Ты же мне друг! Друг!» — кричал я.

Сегодня добрел до заводи, образованной моим ручейком. Наклонился к зеркальной глади, чтобы напиться и... отшатнулся. Таким неожиданным, искаженным было увиденное там лицо. Над правым глазом шрам, пересекающий бровь, и еще один, глубокий, на подбородке — в этом месте не растет борода. Мочки уха нет, в растрепанных волосах седина.

Но главное — выражение. Взгляд злой, в нем неотменная обида.

Откуда это все? Кто я такой?

Человек по имени Стван.

Когда умру, там далеко, в человеческой цивилизации, карточка со сложным шифром будет вынута из Всемирного списка.

Однако нет никого на свете, кому в этой связи придется вынуть кусочек из сердца.

Но почему? Почему?! Я ведь, между прочим, скромный. Даже в тридцать пять лет, если на улице кричали «Эй!», я оглядывался — думал, меня. А попробуйте крикнуть «Эй!» одному из тех, кто возникает в величественном подъезде какого-нибудь Координационного

Комитета, в распахнутых дверях института. Уши такого человека и не воспримут возгласа. Пожалуй, даже в пятнадцать лет не воспринимали. Он и тогда держал себя под контролем, в нем все было предсказуемо. И хотя он больше на машину похож, его ценят, знают, уважают. В то время как меня...

Отчего?.. Возможно, оттого, что во мне нет любви и веры, чего-то, основанного не на разуме, а глубже.

Мой отец постоянно в командировках, а если дома, то ненадолго, и всегда уныло озабоченный. А мать вообще исчезла, лишь произведя меня на свет. В детстве мне никто не внушил, что я нужен миру, что есть люди (сами же родители), для которых мое счастье дороже самой жизни. Поэтому я пусто шел через свои первые годы, и не было обмана любви, который многоцветным, трепещущим сиянием обволакивает жестокую реальность мира, намекая, что жизнь полна прекрасной тайны. Сколько я себя помню, смотрел вокруг холодно, трезво, неприязненно, без розовых очков. Устроил так, чтобы не иметь детей.

Но с другой стороны, почему же я оборачиваюсь, когда кричат «Эй!»?

— Эй!

Я не то чтобы обернулся — подскочил, будто подомной взорвалось.

Эта площадка с одного края окаймлена деревьями с большой смоковницей в центре, а с другого обрезана глубоким провалом. И там внизу стоял Тиран.

Я впервые видел его на открытом месте при ярком свете. Пасть с черными, резинчатыми губами была совсем рядом, и тут мне снова бросилось в глаза сходство этого динозавра с человеком на портрете в детском саду.

Было непонятно, как ему удалось преодолеть все ус-



тупы и взобраться так высоко на склон. Впрочем, я сразу отметил, что до меня ему не дотянуться.

— Так что?

Под массивной нижней челюстью Тирана свисал сморщенный кожаный кадык. Двумя пальцами маленькой передней лапы тираннозавр зажал какую-то коричневую палочку. В другой, левой лапе было что-то белое. Вроде тряпочка... Нет, бумажка!

Тиран заглянул в нее:

— В чем дело? Не понравилось на Бойне?

— Вы разве разговариваете? — спросил я строго.

— Да, — отрезал он. — И слышу выдающимся оратором.

— Оратором? — Это было загадочно. — Где, когда?

— Не будем об этом. — Он покачал гигантской башкой. — Так зачем вы убежали? Некрасиво.

— Ну, видите ли... — Я замаялся. Объяснять ему, что здесь, на Бойне, не та борьба, о которой я мечтал?

— Противно утопать в дерьме? Свобода, а? Человеческое достоинство и тому подобные штучки? — Поднес бумажку ближе к глазу. — Смех... Что это? Ах, да, тут в скобках! — Глухо заржал, что, видимо, означало смех. — Вообще, беда людей в том, что вы воображаете, будто самостоятельны в своих поступках и должны быть вознаграждаемы за хорошие и наказываться за плохие.

— А не так?

— Нет. Человек — всего лишь система, реагирующая на воздействия извне. Для любого поступка можно найти причину, которая сводится к рефлексам по Павлову. Рефлексы зависят от электрохимии организма, а она-то ни перед чем не ответственна, одинакова у низших и высших. Так что никаких особенных достижений в вашем человеческом мире. Талант и воля — та же электрохимия. Одним словом, остались бы с нами, с ящерами. Чего уж там?



— При чем рефлексы? — Я возмутился. — Люди работают, создают.

Это было удивительно. Он не говорил со мной, а зачитывал не только заранее написанные у него (или для него?) рассуждения, но и ответы на мои вполне спонтанные реплики. Однако как же он мог знать, что я скажу, или те, кто для него писал, как могли? Зачитывал, иногда спотыкаясь на некоторых словах и, судя по тональности фраз, не очень понимая смысл того, что произносил. Совершенно непостижимо. Рехнуться можно!

— Да, работают. Но это зависит от контроля со стороны, который может быть и враждебным и дружественным. Раб пашет из страха перед плетью, при коммунизме к труду побуждает общее уважение. Оно тоже контроль.

В кустах за смоковницей что-то зашелестело. Оттуда высунул мордочку тот бойкий зверек. Делая какие-то знаки, он силился привлечь мое внимание. Я повернулся к нему, но Тиран рявкнул так оглушительно, что я чуть не свалился с площадки.

Зверек исчез. У Тирана сигара выпала из пасти и закатилась под большой камень. Он почти лег, пытаясь выковырять ее оттуда передней лапой. Встал, отшвырнул камень и, ворча, растер огонь задней трехпалой ножищей.

— Ходит тут всякая млекопитающая шушера, вмешивается. Никакого достоинства... Так о чем мы?

— О достоинстве. — Я отошел подальше от края уступа.

— Нету. — Прочел по бумажке Тиран. — Это к слову. На самом деле достоинство в людях — результат нашего незнания. Вот, допустим, великий музыкант, ученый или герой сражений. Окружающие боготворят их, воображая, будто эти выдающиеся личности сами себя создали. И не думают, что здесь просто гены, то есть электрохимия организма, что здесь контроль среды. Ка-

кой смысл восторгаться Моцартом, когда у него такой отец, такой слух и такой музыкальный Зальцбург вокруг? Моцарт просто не мог быть другим, хоть тресни.

— Почему не мог? Что ему мешало быть повежливей с архиепископом Колоредо? А в Вене? Отчего он не старался понравиться Иосифу Второму? Он же вполне мог не «оригинальничать», как тогда о нем говорили, а с непревзойденным блеском писать привычные публике вещи. За них он получал бы больше.

Тиран углубился в свой листок.

— Как раз меньше именно тех благ, которые им выше ценились. В основе так называемого достоинства лежит тот же невраждебный контроль. Восхищение немногих знатоков было композитору дороже, чем милости австрийской знати. Вот он и старался не сегодняшнему дню угодить, а скорее завтрашнему. Однако такие обстоятельства скрыты от публики, и ей кажется, что музыкант, стихотворец сами по себе такие замечательные. Между прочим, те, кто интимно знает гения, — жена, дочь, сын — обычно от него не в восторге.

Из кустарника до меня донеслось что-то вроде «здесь» или «дети». Но я не мог догадаться, при чем тут дети.

— Однако нельзя отрицать, что среди людей есть эгоисты и наоборот. Например, Ян Гус.

— Ерунда! — Тиран фыркнул, как лошадь, и продолжил чтение. — Если человек жертвует собой, это всего лишь означает, что ему приятней влезть на костер, чем унижаться на воле. Вот он и выбирает приятное, то есть усердствует в личных целях.

После этого высказывания дискуссия зашла в тупик. Я стал спрашивать себя, не человек ли он на самом деле, сосланный в прошлое, как и я. И в то же время передо мной, конечно же, было животное. Шкура на голове и спине бугорчатая, серая, в морщинах, похожая на слоновью. Лоб — даже, собственно, не лоб, а заты-

лок — переходил сразу в хребет, и там ниже, между лопатками, скопилось какое-то количество пыли, песку, где пророс клочок травы с одним длинным, мотающимся стеблем.

— Ну так что? — Тиран приподнял голову и тотчас глянул в бумажку. Вернетесь?

— К вам?.. А почему вы стараетесь оставить меня на Бойне?

— Просто так. Было бы с кем поговорить. Кругом-то все примитивные.

— Неправда! — Меня внезапно осенило. — Вам недостаточно знать, что вы самый сильный из всех существующих и тех, кто еще будет. Хочется еще быть самым лучшим. Поэтому обидно, что я не пожелал составить компанию.

— Конечно, самый лучший. А как иначе? За нас вы можете не беспокоиться. Мы, динозавры, еще далеко зайдем в вашу человеческую историю. Покомандуем у вас там, поуправляем. А если выкорчуют нас когда-нибудь, к хорошему это не приведет. Избалуетесь, пожалеете о нас и опять призовете.

— Значит, вы считаете, после вас эволюции нечего делать?

— Еще бы! — Он кивнул. — На первый взгляд у вашего Бетховена какие-то высшие стремления. Но если копнуть «Лунную сонату» поглубже, там те же первобытные инстинкты: желание обладать существом иного пола, голод, самозащита. Разница между мной и Бетховеном в том, что у меня все сильнее выражено. И я не стесняюсь. Вообще все новое — позабытое старое.

В подтверждение своих слов он поднял толстенный хвост и ударил им по земле так, что камни брызнули в разные стороны.

— Копнуть поглубже! — Я встал, вдруг охваченный гневом. Какая-то перерослая курица осмеливается сравнивать себя... И еще эта трава на спине, сломанный, болтающийся стебель. — Копнуть поглубже!.. Если этим

заниматься, докопаясь только до собственной пустоты. Похотью не объяснишь, почему Джульетта заколола себя. Когда эгоист поднимается на костер, это значит, что родилось новое качество, а эгоизма нет в помине. Те, кто предлагает копать, обычно доводят глубину только до самих себя. А отчего не дальше — до амебы, а то и до облака раскаленных газов, из которого еще не сформировалась Земля? Где там желание обладать существом иного пола?

Тиран слушал, помаргивая. Забывшись, он опустил лапу с бумажкой, и порыв ветра вырвал ее из неуклюжих пальцев.

— Это бессмыслица — сводить все сложное к простому, высшее — к низшему. Боковая проекция цилиндра будет прямоугольником, верхняя — кругом, но сам цилиндр — ни то, ни другое и не сумма первого со вторым. — Я перевел дух. — «Все новое — хорошо забытое старое!» Прекрасно! Допустим! Но где в черной жиже Бойни театр и химические лаборатории? Покажите мне в хмызнике хоть один оркестр. Развитие характеризует мир — вот! Летит в космосе первичный шар Земли, все раскалено, мертво. Но разлились моря, суша оделась растениями, закишела вами, зверьем. Однако это не конец. Непрерывно поднимаясь, жизнь порождает разум и высшую форму материи — мысль. Ну что вы мне ответите, когда у вас нет листка? Отвечайте, не молчите.

Кусок почвы возле моей ноги неожиданно вывалился. Желтые когти с полукруглой каемкой царапали обнажившийся край скалы, стараясь удержать многотонную тушу. Мгновение пасть Тирана висела над площадкой, я отскочил вглубь. Дунуло гнилым ветром, челюсти хлопнули. Раздался разочарованный рев, и все с грохотом обрушилось там, под обрывом.

То был последний аргумент. Теперь властитель Бойни медленно удалялся.

Я стоял ошеломленный и испуганный. Кто-то снизу тронул меня у колена.

— Минуточку...

Приподнявшись на задних лапках, ко мне тянулся знакомый зверек.

— Надо было спросить его про детей. — Зверек кивнул в сторону, куда упал Тиран. — Мы-то лелеем своих маленьких, а он яйца кинул и все.

— Ты кто такой?

— Я?.. Проплиопитек — неужели не узнали? От меня вот этот произошел. — Передней лапкой он показал на верхушку смоковницы. Там с ветки на ветку перепрыгнул другой зверек, уже совсем похожий на кошку. — И вот эти все.

Оглянувшись, я увидел, что возле площадки собралась целая компания. Стоя на четвереньках, обезьяна средних размеров объедала ягоды с нижнего полузасохшего сука. Из-за пальмы выглядывало другое создание обезьяньего вида, но потяжелее, помассивнее, с костью в руке. И еще в кустарнике светлела чья-то мускулистая спина.

— Вот, знакомьтесь. — Шустрый зверек подвел меня к первой из обезьян. — Ореопитек. Видите, зубищи какие. Что у пантеры... Поддай руку, не стесняйся.

Ореопитек, смущенно опустив глаза, неловко оторвал от земли заднюю ногу.

— Да не то! — Мой знакомец оттолкнул протянутую конечность. — Это же у тебя нога, пойми наконец!.. Все время пугает. Видите, тут отставлен большой палец и тут. Ну челюсти тоже не ваши, не человеческие... Дай-ка челюсть.

Он бесцеремонно протянул лапку и, нажав двумя коготками на щеки ореопитеку, ловко вынул у того из рта нижнюю челюсть. Причем во рту животного зубы были белыми, свежими, а извлеченные оттуда стали вместе с челюстью тусклыми, серыми, корябанными, как экспонаты палеонтологической коллекции.

Ярко светило солнце, и все было жутко странным.

— Обратите внимание. Здесь клык, а рядом про-свет, где зуба нету. Это чтобы клык верхней челюсти помещался. Но такое устройство не позволяет нижней челюсти двигаться вправо-влево. Перетирать что-нибудь зубами он не может. Например, твердые семена. Одним словом, родоначальник больших обезьян.

Он вернул челюсть владельцу. Ореопитек взял ее ногой, вставил на место. Во рту зубы опять стали блестящими, новенькими с иголочки.

Мы подошли к существу, которое рассматривало кость, неуклюже держа ее обеими руками. Животное попыталось ее сломать, попробовало на вес. Лоб был мучительно сморщен, собран в складки. Потом существо выронило кость, присело на корточки, подобрало камень.

— Ну правильно! Правильно. Конечно, камень крепче. — Мой проводник вздохнул. — Удружил ему профессор Дарт, назвал «австралопитеком», «южной обезьяной». А ступня почти человеческая. Ходит не очень хорошо, а вот бегают — попробуйте с ним на стометровку. Зубной ряд без просветов. Вообще-то он собиратель живности, но может и зерна растирать во рту. Возник в Африке, а распространился до Китая. Немалый путь, да? Пороха ему не выдумать, а соображает. Дарт, который первым обнаружил останки, сам потом жалел насчет «обезьяны». Но в зоологии названия не меняются. Как припечатали, так и навсегда.

— Не меняются? — Австралопитек поднял голову. Взгляд маленьких, глубоко посаженных глаз был тяжелым, упорным. — А почему питекантропа переименовали в «человека прямоходящего»? Что он, огнем умел пользоваться?.. Так при мне климат другой, теплый. — От бедра, скованным движением, он протянул мне руку. Ладонь была деревянной плотности. — «Южная обезьяна»! — Он дернул головой вверх, показывая на



верхушку пальмы. — Вон от того обезьяны произойдут. А от меня-то вы, люди.

Зверек на пальме весело захохотал, обнажая острые, словно кинжальчики, клыки. Взлетел на самый край длинной ветви, двумя лапками взял прямо из воздуха крупное насекомое — мы только тогда и стали его видеть. Сунул в рот, вкусно хрустнул.

— Тьфу! — Австралопитек неловко сплюнул. — Знал бы этот ваш Дарт, как нам пришлось. С деревьев спустились, а животные все сильнее. Антилопу, лошадь не догонишь — четыре ноги, не две. У леопардов, львов клыки, когтищи. И все равно выжили, размножились. Так что вы не очень там, в цивилизации.

— Что в цивилизации? — спросил я.

— Ну вообще. — Он помолчал. Провел пальцами по груди, заросшей густой шерстью. — Жарко ужасно. Все время мокрый. Сбросить эту шкуру, сразу легче бы побежал.

Кисть австралопитека была голая, а от запястья начинался как бы рукав шубы.

— Да, сбросить! — То был голос человека, стоявшего в кустах к нам спиной. Бугристые полосы мышц тянулись у него от головы к плечам, образуя подобие бычьей шеи. Он говорил, не поворачиваясь. — Вы-то сбросили, а нам каково? В ледниковую эпоху в Европе?

Я шагнул было к нему, чтобы заглянуть сбоку в лицо. Но проплиопитек задержал меня.

— Не надо. С ним же беда! Неандерталец.

— Ну и что?.. Ах, да!

— Зимой морозы. — Неандерталец смотрел в сторону и вверх. — Утром вышел, только черные ветви кустов торчат над поземкой. Где тут найти пропитание. На медведей, на бизонов — от каждой охоты двоих-троих не досчитывались. Но любой — до конца, где поставлен. — В его голосе звенели слезы, не вязавшиеся с грубым могучим торсом. — Что против нас?.. Миллиарды тонн льда. А мы — кучки голых на белой пу-

стыне. И вынесли, продержались почти двести тысяч лет. Потому что любовь, совесть и долг. В снегу по пояс несли своих мертвых, чтобы похоронить. В пещеру вернешься, там детишки голодные. Холод, сырость, сквозняки, зубы болят, ревматизм скручивает. А потом еще спрашивают, отчего у нас не было искусства. — Он вдруг резко повернулся (я отскочил). — Какой объем мозга?

— У меня?

Снизу проплиопитек толкнул в бок.

— О присутствующих не говорят. Вообще у ваших, *Homo sapiens*.

— Тысяча триста... В среднем тысяча триста пятьдесят кубиков.

— У нас полторы. Тоже могли бы сочинить законы термодинамики. Но где там.

— Значит, — сказал я, — у вас отец никогда не бросал детей? Или мать.

— Бросать детей?

— Да. И в орде не бывало, что одни стараются вылезти наверх, подняться над своими же?

Руки неандертальца сжались в кулаки, он поднял их — напряглись могучие мышцы. Затем опустил.

— Идите сюда! Смотрите!

Повинуясь, я продрался через невысокую заросль. Встал. И отшатнулся.

Сразу за кустарником у моих ног открылся провал. Пропась, о которой я прежде и представления не имел. И весь ближайший склон заполняли люди, карабкавшиеся по крутизне. Лица и лица, но не современные мне, а древние. Я видел алантропов с маленьким, сдавленным с боков лбом, человека из Брокен-Хила, чье надбровье двумя валиками резко выдавалось вперед, курчавых негроидов с Маркиной горы, рослых кроманьонцев, массивного гигантопитека далеко внизу, синантропа, повязавшего сзади длинные прямые волосы.

У женщин на руках были дети, мужчины лезли на-

верх с копиями, гарпунами, рубилами, другим каким-то скарбом.

Все замерли, увидев меня. Секунды тишины, потом огромная толпа выкрикнула на общем дыхании:

— Ты!

Непрерывно бьют подземные удары. Нужно уйти отсюда километров за сто, туда, где нет вулканов. Сначала, конечно, опомниться, оправиться, восстановить силу и энергию, которые накопил в кембрийском море. Тогда и хмызник не страшен.

Полежу еще несколько дней, потом тренировка.

...Ничего не вышло. Явилась Звезда!

В тот день дважды вставал, прогуливался, хотя ветром шатает. К вечеру на своей поляне. Тьма здесь накатывает сразу, без сумерек. Небо быстро становилось бархатным, утих теплый ветер с моря, на траве посвежело. Рядом в кустах укладывался спать эдафозавр — негромко постукивали один о другой шипы его паруса, будто жаловалась на судьбу одинокая старуха пенсионерка. Лежа на боку, — на спине пока еще исключается — заснул и около середины ночи проснулся. Ни от чего. Просто так. Просто сердце сжало предчувствием.

Приподнялся. Опять, что ли, подкрадывается влатель Бойни?.. Нет... Канун мощного извержения?.. То же как будто бы нет.

А тоска не отпускала. Показалось, собственная кожа стала тесной и давит. Не зная, куда деваться, потихонечку перебрался на западную сторону склона, посмотрел на море. Тихо, спокойно — ни шума оттуда, ни белых гребней во мраке. Вернулся, лег на живот.

И тут оно произошло.

То есть сначала меня ослепило. Режущий свет ударил, я зажмурился. Потом глаза привыкли, открыл. Не-

что странное со зрением — вижу то, что ночью невозможно. Отдельные травинки в подробностях, чешуйки на стволе ближайшей пальмы. Повернул голову.

Небо из черного стало серо-голубым, а в зените яркая слепящая точка нового светила, утопившего в своем блеске другие звезды. Что это, откуда?

Мелькнула дурацкая мысль: зачем-то меня мощным прожектором осветили из будущего. Но ведь быть не может такого прожектора, чтобы весь мир.

День открылся в середине ночи!.. Весело!

А Бойня внизу начала между тем пробуждаться. Из саговников выбрался заспанный эдафозавр. У здешних, поскольку они пресмыкающиеся, морды неподвижны и равнодушны. Но в данном случае на физиономии соседа была озабоченность. Он сделал несколько нетвердых шагов и расправил парус, решив, видимо, что надо поскорее нагреться. Зверь вертелся так и эдак, однако лучи Звезды, находившейся прямо над ним, все время оказывались параллельными плоскости гребня. Зашевелились и растения. Поспешно раскрывались цветы, вытягивались стебли, и эта перестройка била в глаза, потому что пришелица взялась светить не с горизонта, как солнце на восходе, а сразу с зенита. На поляне застрекотали кузнечики, донесся из хмызника протяжный рев, и полностью вступил полуденный хор Бойни.

Однако то был ложный день. Потому что голубоватый свет не грел. Освещенные места получались холодных синих оттенков, а в плотных, резко очерченных тенях преобладали нейтральные цвета. Так или иначе насекомые бросились на стебли и листья, насекомоядные — на жуков и бабочек, вегетарианцы занялись зеленью, хищники — вегетарианцами. Только все катилось через пень-колоду. На моих глазах под обрывом некрупный ящер перегрыз шею молодой йонкерии и вместо того, чтобы рвать зубами мясо, застыл, упершись головой в окровавленную тушу, словно окаменел. Эдафозавр хотел взяться челюстями за лилию, но никак не

мог приноровиться на поперечный захват — беднягу сбивали непривычно густые тени.

Станным образом тогда мне еще казалось, что небесная гостья имеет отношение только к нашей местности — здесь, видите ли, светит, а там дальше, за горами, нет. И больше всего я думал о том, как же можно было ощутить ее приближение заранее. Судя по яркости, Звезда вспыхнула в двух-трех десятках световых лет от Земли. Колоссальный взрыв грянул в космической пустыне задолго до того, как я родился, как попал в прошлое. И все время, пока грелся на отмелях, плыл через море, зона света расширялась, ее граница неслась, пожирая пространство, отхватывая за секунду свои триста тысяч километров. Примерно три часа назад чуждый свет вступил в пределы Солнечной системы — я ничего не ощутил. Но минут за сорок до того, как озариться холмам и вулкану, когда сияющей волне осталось бежать вдвое больше, чем от Земли до Солнца, что-то предупредило меня, заставив проснуться.

Но что?.. Что могло обогнать свет?

А неправдоподобный день катился. Пылающая пришелица опустила в море. В хмызнике сделалось черно. Замолкли на Бойне мычание, рычание, стоны, ящеры укладывались спать. Небо стало темно-бархатным, но почти тут же начал бледнеть его восточный край, и вскоре из тумана показался красный диск настоящего солнца.

Я чувствовал себя не в своей тарелке, да и все живое вокруг тоже. Во всяком случае, листва деревьев развернулась в обратную сторону, эдакозавр установил наконец в правильное положение свой парус на спине и начал нагреваться. Вдали над зарослями появилась, исчезла голова Тирана. Однако невыспавшиеся охотники, как и добыча их, нетвердыми движениями напоминали пьяных.

Для меня новый день тянулся бесконечно — ожидал почти, так как все еще представлялось, что, ответив

вчера, Звезда погаснет. Мучительно долгим был закат. Потом солнце село в волны, все стихло, я, сидя в траве, все еще воображал, что с пришельцей покончено. Но вдруг светлое пятнышко возникло в небе, стало расти книзу, превращаясь в волнистую линию. Понял, что из-за горизонта гостьей уже подсвечивается столб дыма над кратером вулкана. И через несколько минут Звезда не то чтобы величаво выплыла, а резко разом включилась, словно электрическая лампочка в комнате, преобразив небо и землю, светя уверенно, безапелляционно, как бы утверждая, что хотя не всегда так было, но отныне навечно надо забыть, что некогда после захода солнца воцарялись покой, сокровенная темнота и сон.

Теперь только до меня доходит смысл происходящего.

Рождение сверхновой вблизи Солнечной системы!

Не здесь лишь, а на всем глобусе планеты изгнана ночь. От полюса до полюса недоумевают растения, ошеломлены моллюски, рыбы, звери. Настоящая ночная тьма наступит только через полгода, когда солнце придет в ту часть небосвода, которая занята пришельцей (вернее, когда мы зайдем за другую сторону солнца). Но так будет недолго — два светила опять разойдутся, создавая вечный день. И это еще не все! Уже сейчас безгласно грохочут незнакомые барабаны иных радиоволн, непривычно мощный поток ультрафиолетовых лучей поджаривает нас изнутри, нарушая сбалансированные процессы в клетках, а позже к лучам добавятся еще сверхэнергичные частицы и либо вовсе лишат Землю жизни, либо радикально перестроят ход эволюции.

Трагедия! Космическая вселенская катастрофа!

...Пятые сутки Звезда над Землей. Не могу выкинуть из головы совершенно идиотскую мысль — если б я не один здесь был, а еще несколько человек со мной, что-то можно было бы сделать.

Но что? Что, олух ты царя небесного?!

...На Бойне мелкие ящерицы, влезая друг на дружку, образовали кучу. Нижние давно раздавлены, а со всех сторон продолжают наползать. Сегодня куча уже выше моего роста. Черви свиваются в клубки размером с футбольный мяч — эти мячи повсюду. На пляже огромный мертвый ящер, кажется, тилозавр. Бесконечно длинная шея протянулась на песке. В нормальном состоянии, конечно же, никогда не вылез бы из воды. Хмызник поредел, четырехметровые хвощи осели, будто из них выпущен воздух.

По ночам ишу, где укрыться от беспощадного света. Негде!

...Во время ложного дня некоторые пальмы собирают на макушке свои зеленые ветви-листья в некое подобие веника, который потом опадает. Хвощи все полегли. Березы и бук, правда, такие же, как были до Звезды. Эдафозавр перестал кормиться, подолгу стоит неподвижный. В воздухе тишина, ни жужжанья, ни звона. Поникшая трава покрыта ухвертками, тлями, пауками, бабочками — некоторые шевелятся. Песок у моря окаймлен прерывистой серебряной полосой — выброшенная прибоем дохлая рыба. Поскольку внизу под обрывом держатся лишь некоторые деревца, сейчас из конца в конец можно просматривать долину, где я пропал, преследуемый Курицем. Не такое уж большое пространство, а сколько сюда вместились переживаний.

...Двенадцатые сутки со Звездой. Путаю, что день, а что ночь, — чтобы понять, чтобы это понять, нужно всякий раз сосредоточиться, долго соображать. Бойня стала звериным и растением Освенцимом. Одни лишь березки стоят. Из-под груд упавших хвощей там и здесь чья-то голова, хвост. То ли спящие, то ли мертвые чудища. Пнул ногой башку Сундука. Страшный зубчатый

гребень не шевельнулся, только в открытом глазу что-то мелькнуло — может быть, впрочем, лишь тень от меня. Тиран куда-то пропал. Вероятно, раскидав всех других, освободил для себя где-нибудь в хмызнике глубокую яму.

Похоже, эволюция действительно пойдет иным путем, и меня никогда не вызовут к людям. Просто потому, что они не появятся.

Неужели я последний человек на Земле? Дошли, до развились до гигантских пресмыкающихся, а дальше всё. Цивилизация перечеркнута. Робинзон не попадет на свой остров. Ни Дон Кихота, ни Джона Донна. Все рушится, падает, умолкает, в том числе и «двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из двухсот сорока четырех орудий».

Никто во Вселенной еще не был так ограблен, как я, — лишить человека всей человеческой истории! Для чего жить дальше?

...Кажется, семнадцатые сутки мы при Звезде. Хмызник полег весь. Упорно держатся только березки, и...

И они действительно держатся!

Как понимать... О господи!..

Словно подрубленный в коленях, упал-сел возле березы.

Почему раньше не мог догадаться? Ведь все это было, было!

Так как меня послали в прошлое, значит, цивилизация возникнет уже после Звезды! А раз так, то в небе она, та самая Сверхновая, чье появление в согласии с гипотезой, теперь подтверждающейся, возвестило конец веку динозавров.

Наоборот, все будет: сфинкс с гордым лицом женщины-фараона Хатшепсут, английские столетиями выхоженные парки и трамвайные парки в Сан-Франциско, Первый концерт для рояля с оркестром Петра Чайков-



ского и первый воздушный шар в воздухе. Все! Именно благодаря гостю оно настанет очень скоро — всего лишь через какие-нибудь сто двадцать миллионов лет. А не случись пришельцы, могло бы отложиться на добрых пятьсот.

Свет Звезды во благовремени ослабнет, ящеры оправятся. Но через несколько тысячелетий к Земле не торопясь подойдет жесткое излучение, вымрут отдаленные потомки сегодняшних чудовищ, и мы, млекопитающие, взойдем на престол.

Как дивно! Какое счастье! Я горячо приветствую вас, будущие люди, искренне люблю всех: неграмотную пожилую женщину — коренщицу в московской рабочей столовке 20-х годов XX века (по-моему, коренщица — та, что ножом резала капусту и морковь в суп, низшее лицо на кухне), люблю Перикла, чернокожего шахтера в алмазной копи ЮАР, Сен-Санса, Бердяева, Маркузе, Плеханова, девчонку-официантку с сияющими глазами, что мерзнет вечером возле Медиссон-Сквер, надеюсь хоть издали увидеть выходящего после концерта безголосого певца, своего кумира, седовласого, хрупкого от старости профессора Сорбонны, знатока истории ранних Капетингов, нищего голого факира в Бомбее, всю толпу у токийской воздушки, Чернышевского и Черняховского, Чосера, Чаплина и Че Гевару. Дорогие мои и замечательные, сердечно и страстно поздравляю вас с тем, что вы будете быть!

...Сверхновая точно начинает гаснуть. Заметно не столько по ней, сколько по тому, что над горизонтом в ночном бессолнечном небе появляется слабый контур знакомых созвездий.

Как величественно! Я на грани времен. Позади архей, когда начальная жизнь лениво теплится, едва тащится сквозь медленные миллиарды лет, неторопливые протерозой и палеозой с медузами, рыбами, земновод-

ными, чуть более ускоренный, как бы очнувшийся мезозой, которому тоже отдай его полмиллиарда, а впереди новая решительная энергичная эра, поспешный выход гомонидов, стремительное развитие человека, взрыв цивилизации и культуры.

Закатывается солнце, уже поднялась на востоке гостья, а подо мной — я уперся в нее ступнями — планета Земля, где сию минуту жизнь вступает в иную фазу. Надо же, как повезло, а! Думаю о себе торжественно и отстраненно: «Он видел Звезду».

...Вокруг все приходит в себя, адаптируется. При Звезде живность в основном спит — это вроде договора. После захода солнца редко увидишь валандающего ящера, да и он не уверен, что поступает правильно. А в солнечный настоящий день Бойня такая, как была. Рев, хохот, писк, охота всех на всех. Хмызник поднялся, однако прежней высоты не достигает. Еще полеживают псилофиты — по ним ультрафиолет ударил сильнее, чем по высшим.

Вот так, значит, оно и было — Пришествие Звезды. И единственный из *Nomo sapiens* — я — свидетель.

Увы, настоящее чувство к человечеству возникло у меня в момент, когда я его чуть не потерял. «Что имеем, не храним, потерявши, плачем». Только сейчас окончательно выкорчевались из души недоброжелательство, злоба и, главное, зависть. Теперь ни к кому, ни по какому поводу. Свободен.

Если б позвали, у меня нашлось бы что рассказать. Не пустым бы вернулся.

...Обожженная спина почти зажила. В эти три звездные недели совсем забыл о ней, спина воспользовалась и поправилась. Больно лишь, когда сближаю на груди локти, — сзади шрамы натягиваются. Но это мелочь.

Дух излечился — вот что! Снова хочу, желаю, жажду, верю. Полон энтузиазма

...Сверхновая появляется в небе уже не в полночь, а пораньше. Стала так неярка, что ее трудно отыскивать среди других неярких звезд.

У меня чувство признательности, почти любви к ней.

...Опять вулкан дает себя знать. Участились подземные удары. Я уже к ним привык, последний сильнее всех. Надо уходить — пологими холмами туда — за горизонт.

Но еще слаб физически. Правда, успокоился после звезд, совсем не дергаюсь.

Разговор с Тираном был, конечно, бредом. Хмызник способствует рождению галлюцинаций. Там, над гниющим месивом, клубятся ядовитые пары, свиваясь в видения. И слышны голоса.

Нет никакого Тирана. Просто раза три-четыре видел обыкновенного тиранозавра (*Tyrannosaurus Rex*). Весьма распространенное в эту эпоху примитивное существо с жестко закрепленными членами, у которых мало степеней свободы.

Первобытные тоже привиделись. Вообще я немного сошел с ума и теперь поправляюсь.

Послушайте, вы, судьи, там наверху! Я уже совсем не тот, каким был брошен от вас в бесчеловечные века. Плыл через океан, поднялся на скалы, спустился в кратер вулкана. Меня грызли и ели, чуть не утонул, едва не разбился вдребезги — огонь, вода и медные трубы.

Чего вы еще хотите?

Надо снова стать сильным и ловким.

Кажется, мой восьмидесятый день в меловом периоде. Потихоньку прихожу в себя. Вот уж не думал, что

предстоит такое, когда очнулся на тех самых первых отменях.

В эти дни много шагом и много бегом — до пятидесяти километров подряд по склонам. Так буду всю неделю.

Эдафозавр начал меня признавать, подпускает близко.

Вечером меня, обессиленного, не оставляет привидевшийся образ — крутой склон, на котором люди. Неужели у человечества есть цель?.. Если нет, то для всех усилий простое объяснение — борьба за существование. Человечество начинает с этой ожесточенной борьбы, а затем каждый в соответствии со сложившейся электрохимией организма лишь реагирует на сложившуюся обстановку. Один выводит лошадь бороться поле, другой, с помощью оруженосцев, одевается на турнир. Медяк убивает детей, Грибоедов пишет «Горе от ума». Все уже определено грубой фактологичностью вещества, предшествующим ходом дел, никто не может поступить иначе, чем поступил. Материя правит, а невероятная сложность всего происходящего есть лишь многократно опосредованное следствие простых законов атома. Ни на ком ни вины, ни заслуги.

Так думал когда-то я сам, но это ошибочно.

Охотничья добыча, переселения народов, уголь, поднятый из земли, войны, искусство, путешествия, государственные договоры, восстания, революции, борьба за равенство и свободу — все подчинено незримой цели.

Преодолеть диктат материи — вот путь человечества!

Эту дорогу, осторожно спустившись с дерева, начал австралопитек. Продолжали люди с реки Соло, ловкий кроманьонец, и снова, снова. Да, конечно же, скачки электронов с орбиты на орбиту в осуществлении равнодушного завета природы! Да, ураганы, засухи, колеба-

ния земных плит (гибель Атлантиды) — таков бездумный мятеж материи. Больше того! Еще один взрыв сверхновой вблизи Солнца может разом все зачеркнуть — предписал же он гибель гигантским пресмыкающимся. Такое может случиться. Где-то в черной бездне сожмется космическое тело, уступая силам, которых нашей науке, пожалуй, никогда не удалось бы до конца познать, а затем грянет взрыв, стремительно расширяясь. Водород, гелий, протоны, субчастицы, скорости, температуры, давления — все вне сознания, морали, свободы, достоинства, просто так, ни для чего. И в результате на спаленной Земле гибнут лучшие, быть может, цветы Вселенной. Это так. Однако если б людям миновать рубеж, как отвели угрозу молнии, чумы, если б успеть взойти на уровень, где они и Звезды не страшились бы, тогда вечность, абсолютное будущее за ними.

Я это знаю. Я побывал за пятьсот миллионов лет до цивилизации. У меня масштаб.

Вообще, пора подвести итоги. Буду честен перед собой. Кембрий и мел не для меня. Хочу в человеческий мир. Уверен, попади я в ранние века, не в свою современность, нашел бы себе место.

А пока яростная тренировка. Вся планета сейчас тот же хмызник. Значит, надо сделать себя таким, чтобы он не страшил, чтобы, пересекая его, далеко уйти от вулкана. Отыскать спокойное место в высоких горах. И там ждать.

Знаменательный день — полгода я в мелу (плюс-минус несколько суток).

Сначала, вскоре после Бойни, пополнел, а теперь снова худой, но от здоровья. После восхода солнца, не переходя на шаг, не отдыхая, пробегаю сорок километров, на закате — еще двадцать. Ежедневно полтысячи раз приседаю, могу теперь с места подпрыгнуть на

метр двадцать. Как циркач, закидываю колени на плечи, сплетаюсь. Кончиками пальцев беру из воздуха пролетающую стрекозу и... выпускаю. Сделал кремневый нож, вырезал им деревянное подобие шпаги и упражняюсь.

Эдафозавр теперь почти что домашнее животное. Когда зову особым шелканьем, он поворачивает голову в мою сторону. Доволен, если похлопываю по бокам.

Из коры и лиан сделал грубое подобие человеческого тела и тренирую каратэ, самбо. Кидаюсь своему манекену в ноги, прыгаю на него сверху, бросаю за спину, протергиваю между ног.

Мое высшее достижение в фехтовании — с ладони подбросил вверх четыре камешка, успел коснуться каждого «шпагой» и упал на землю плашмя, пока все они еще были в воздухе.

Эдафозавр упорно не позволяет брать себя на руки. Я сплел сумку, пробую сажать его туда, он отчаянно верещит и бьется. Но не могу же я сам уйти, а его, дурака, оставить здесь, у самого вулкана.

Под утро земля заколебалась — бесшумно, как мертвой зыбью на море. Потом взошло солнце, я поднялся на самую высокую точку склона. К востоку еще столб дыма. Значит, и там вулкан.

Надо двигаться немедленно. Со страшной быстротой пересечь хмызник. Бежать в глубь материка, от берега, где может слизнуть цунами. В степь, в саванну.

Надо, но сию. Еще на Бойне, сразу после Курица, я случайно, со страху, покалечил небольшого ящера. Увидел рядом, испугался и, обозлившись, хватил дубиной наотмашь. Он, хромая, поспешно убрался в густую заросль. Теперь думаю — не может ли быть, что

сам именно от него произойду через сотню миллионов лет? Что ненужно причиненная боль как-то войдет к нему в гены и много позже обернется моей неприспособленностью к миру? Если так, значит, я закольцован, обречен вечно являться в цивилизации ненужным, неудачным, свершать там свое преступление, быть низвергаемым в прошлое, тут опять наносить роковой удар ни в чем не повинному животному и из-за этого удара, уже народившись на свет в своей современности, вновь преступать закон.

Горькая, обессиливающая мысль... Неужели же ничему не пропадать бесследно? Разве никогда не высохнет ни единая капля пролитой крови, а бесчисленные войны, бесконечные пытки и мучительства первых ранних тысячелетий уже сложились в такой задел зла, какого человечеству не избыть во веки веков? Страшно, если таким масштабом отдаются все наши деяния.

Но, с другой стороны, в Башне собрали почти что черный ящик. «Эффект бабочки», «эффект кольца» не подтверждены. Как раз планировались исследования, когда меня судили.

Двухсотый день.

Готов, как стрела, когда лук натянут.

Натренирован. Вспомнил чуть ли не все, чему учили в школе. От «равнобедренным треугольником называется...». Смог бы лить металл, лечить водянку, делать механизмы. Бегло мыслю на двенадцати языках. Высоко подбрасываю кварцевую глыбу, ловлю на голову и отскакиваю, когда коснулась волос.

Завтра в путь. Левее вулкана, между берегом и скалами, где птеранодоны сидят подобно гарпиям собора Парижской богородицы, и дальше направо от моря.

Эдафозавр будет в сумке за спиной — плевал я на его протесты.

Не успел.

Ночью был свирепейший подземный удар, самый сильный из всех, что до сих пор. Сначала низкий, обнимающий рев, который заставил меня проснуться в ужасе. Потом будто снизу в землю бухнула гигантская кувалда. Подбросило, и я сел. Колебалась почва. Грохот камней, треск деревьев, шелест листы.

Бойня тоже пробудилась, оттуда неся многоголовый хор тревожных воплей.

На рассвете в полусотне шагов от своей площадки увидел трещину. Впечатление, будто без дна. Сколько ни бросал камней, они проваливались в темноту, исчезая бесшумно, как опущенные в глубокую воду. Ширина метров около восьми. Начинается на западном склоне кальдеры и, перепоясывая его, тянется на восток в хмызник. Я прошагал сбоку разрыва километров десять и остановился там, где он углубляется в болото. Сероватая густая жижа медленно скатывалась с обоих краев, и этот странный ров с жидкими стенами уходил вдаль. В хмызнике стояла полная тишина — перепуганное зверье прекратило видимо, жратву, попряталось.

Вернувшись на склон, почувствовал сильный запах аммиака и сероводорода. Некоторые фумаролы превратились в маленькие самостоятельные вулканы — конус, откуда пульсациями подается лава.

Поднялся на свой наблюдательный пункт и огляделся.

На горизонте, куда ни глянь, дымы и дымы, близкие и дальние. Вспомнил, что как раз в меловом периоде лава заливала пространства в двести и триста тысяч квадратных километров. Видимо, обречена огромная территория.

Бойни нет, а с ней погребены и все мои проступки. Эффект кольца, эффект бабочки исключаются.

Ночью опять сильнейший толчок. Грохот, шум во-



ды, переходящий в рев водопада, конец света. Потом солнце осветило полностью изменившуюся местность. Все, что от трещины, затоплено. Скрылось под мутной, белесой, парящей водой.

Бойня на дне. Море подошло к самому склону.

Дым над «моим» вулканом поднимается километров на тридцать — сижу в тени, которая достигла излучины реки. Дым настолько плотен и тяжел, что кажется не летучим веществом, а ожившей полутвердой материей, которая каждую минуту может застыть. Вокруг этого проткнувшего небо черного столба венец непрерывных молний. Величественное зрелище.

Принимается и, разом оборвавшись, перестает стремительный ливень.

Ощущение, что откололась половина континента. Мне конец, но ужаса нет. Я на капитанском мостике мироздания. Отсюда все видно. Вот сотни тысяч лет, миллион, очертания материка были такими, а теперь на новые миллионы все будет иначе. Какие-то государства, страны возникнут, знать не будут, что я видел, как рождались их территории. Я почти что помогаю, почти что помешиваю варево истории в дымном котле времени.

Сидим на холме, а вокруг уже сомкнулась лава, перехлестнувшая через стены кальдеры. Горизонта не видно, дым и пар. Неподалеку из моря поднимается еще черный столб, взлетают массы породы — подводное извержение. Воздух дрожит от соединенного рева двух чудовищ.

Новые потоки лавы вокруг нас подаются на ту, которая уже затвердела коркой. Но деревья и кустарники не попадают в жидкий камень живыми. Когда раскаленная стена приближается, жар заранее охватывает растение. Листья все разом скручиваются, истлевают,

ствол гнется, чернеет и вспыхивает факелом еще до того, как его коснулась наступающая волна.

Теперь-то эдафозавр не возражает против моих рук. И рядом опустился птеродактиль... то есть птеранодон. Некрупный, молодой. Слабый летун, но в свистопляске воздушных порывов сумел-таки вырулить сюда. А зачем? Кажется, имея крылья, поднимайся выше и выше, окинь взглядом всю панораму и вдаль от гибнущего края. Это так, но, возможно, он не хочет покидать родины. Пожалуй, и на Бойне была своя радость существования. Пытаюсь прогнать птеранодона, но он жмет-ся к ноге.

Уже виден тот вал, который приближается, чтобы поглотить верхушку нашего холма.

Жар нарастает.

Обнял обоих зверей, хочу своим телом подольше загородить их от огня.

Ну что же, я не последний. Еретики еще пойдут на «милостивую бескровную смерть», раскольники «в огненную купель».

Кажется, я, наконец, присоединяюсь.

## **...И МЕДНЫЕ ТРУБЫ**

Первый раз смотритель поклонился барину, когда по двору еще водили распаренную тройку. (Тот в избе из ковша воду пил.)

— Ваше сиятельство, сударь, повремени. Шалят очень на гари. Злодейство еще от Емельки не переведется никак. У нас компании сбивают, кому ехать — купцы или по казенной части.

Был проезжий важного росту — до сажени вершков пяти не дотянул. Подорожная от Тобольского генерал-губернатора, но следовал без прислуги, сам, чего при таких-то подорожных не бывало. И лик не крупитчатый, округлый, а загорелый, худой. Взглядом не медленно,

с сознанием себя водит, а резко упрет в одну сторону и в другую. Стилль твердый.

Ковш положивши, вытер рот рукою.

— Запрягай!

Вещей две клáди. Сундук — одному поднять впо-ру — он оставил в кибитке, шкатулку же брал с собой, вынимал оттуда подорожную, чтобы смотрителю переписать.

Как запрягли, еще пробовал урезонить проезжего смотритель — что случись, с него тоже спрос.

— Ваше сиятельство, по крайности хоть пистолеты...

Тот прервал его знаком руки.

— Выводи!

Сам в карман и рубль кинул. У смотрителя дух захватило. Знатнее езживали — прислуги только на трех повозках. А чтобы серебряным рублем, не помнилось.

И ямщик с седой бородой (а все Васька) тоже на мзду взнадеялся. И тут же подумал, как бы с деньгой в трясину не угодить. Разбойничать нынче пошли уж очень разные — иной и ямщика не побрезгует зарезать.

Поехали. Барин сидит, скалится на хорошую погоду. По-русски чисто говорит, однако на русского не похож, а больше на иноземца, какие приезжают звезды считать, нашу землю мерить. Ну, улыбайся-улыбайся. Как бы заплакать не пришлось.

К пятой версте миновали гать, где по сторонам хвоя сосна с тонкой осиной друг дружку не видят, да пушица-трава. Еще через версту зачернелись заплывшие обуглины на старых дубах — тут пожар ливнем гасило. И вот она сама гарь. Сверху черные стволы, снизу малина, сморода. Самое для душегубства место — тут и выскочить врасплох, тут и скрыться.

Оглянулся Васька на барина — тот вовсе заснул.

А как посмотрел ямщик вперед на дорогу, грудь сперло.

Шагах в десяти сосна бесшумно падает поперек.

Кони сами остановились, дрожат.

— Ваше благородие, просыпайся! Беда!

Соскочил Васька с облучка. Растерялся. В лес бежать, так это прямо злодеям в лапы. Оставаться на месте — чего хорошего дождешься?

Являют себя с правой стороны из кустов двое, с левой — три мужика. Которые первые вышли, один совсем зверина. Грудь бочонком бороду подпирает, ноздри рваные, глаз кровавый. Руки до земли, в кулаке топор.

— Поднимайся, барин. Будем с тобой поступать, как государь наш, Петр Федорович, приказывал.

А который рядом, ладный парень, чернявый, молодой. Глянул на него ямщик, понятно стало, что его-то самого убивать не будут. А все равно со страху помрешь, как начнут с приезжим ужасное делать.

Однако тот духу не сронил. Спрыгивает на траву спокойный.

Зверина-мужик поднял топор, закричал жутко:

— И-и-изх!

Васька глаза шапкой прикрыл.

Хрип... Тело об мягкую дорогу хлопнуло. Кто-то сопит, топочет лаптями.

Выглянул ямщик из-под руки.

Топор стоит воткнутый по самый обух в поваленную сосну. Зверь-мужик на земле животом кверху. Чернявый воздух хватает, держится за грудь.

Барин же на ногах, и на него трое насели. Про двоих Васька понимает — те, о которых слыхал. Братья-близнецы — беглые с Демидовских заводов. Эти с топором и с ножом. И третий с волосом рыжим заходит полоснуть саблей сзади — ржавая она. От Пугачева сколько годов пролежала в земле.

Однако проезжий под одного из братьев уже нырнул, бросает его за спину. И глядь, на траве все пятеро. В куче. Хотят расползтись, а барин поднимет и обратно. Да еще стукнет поддых так, что у человека глаза на лоб.

Ямщик смотрит — не мерещится ли ему все?

Барин же командует, ругается. Всю дорогу молчал, теперь разговорился.

— Вережка есть?.. Вяжем злодеев... Клади в кибитку, в Ирбит отвезем, в управу. Там с них спросят.

Заплакал Васька, как взялся за чернявого. Да что станешь делать? Поклали одного на другого, как поленья. Злодеи те зубами скрипят, червяками выгибаются.

Проезжий к лесу кинулся. Сосну взял у комля, оттащил с дороги. А дерево вполобхвата!

— Давай! Трогай! Чего спишь?

Только взяли кони, соскакивает.

— Стой! Стой, говорят, куда разогнался?.. Песку по дороге не будет?

— Песку?

— Ну да, песку! Коням-то тяжело.

— Коням? — Ваське не понять, о чем речь.

— О, господи! А кому, тебе, что ли?.. Снимай давай!

Это про разбойников.

Васька слез с облучка. Себе не верит.

Сняли, покидали на траву. Те лежат связанные. Ни живы, ни мертвы. Тоже слово сказать боятся.

— Поехали!

Вскочил на кибитку, за полог взялся — поднять от солнца.

Кони опять взяли. Только миновали сосну, опять кричит:

— Стой!.. Стой! А веревка? — Соскочил. — Вережка-то как? Жалко, хоть и резаная.

Ямщик уже начал понимать. Прокашлялся.

— Знамо дело — работа.

— Вот я и говорю. — Пробежался быстро до злодеев и обратно, остановился, глядит. Вернулся к Ваське.

— Как думаешь, раскаиваются?

У Васьки горло запнуло. Сказать ничего не может. Барин опять к разбойникам. Остановился над рыжим.

— Что, сожалеете небось? Бес, видно, попутал.

Другие молчат, а мужик-зверь выдохнул:

— Дьявол ты, не человек.

Проезжий будто не слышал.

— Раскаиваетесь, а?.. Молчание — знак согласия.

Выходит, раскаиваются. — К ямщику. — Как думаешь?

Васька только рот разинул.

— Ладно. Давай тогда развязывай. Не сиди! Нечего время терять.

Развязали. Солнце на полдень поднялось. День ясный, небо высоко. Снизу от зелени дух идет — живи сто лет. Весна.

Пятеро стали подниматься. Не знают, куда глаза девать.

— Ну что, мужики, — говорит барин. — Все тогда. Топор вон возьми.

Побрели они, один об другого толкаются. Проезжий шагнул было к кибитке. Остановился. Снова не садится.

— Эй, подождите!

Те стали кучей.

Барин шагает к ним. Ткнул пальцем на чернявого.

— Пойдешь ко мне служить?

— Я? — Шары выкатил.

— Ну да. Обиды от меня не будет.

— Служить? К тебе?

У чернявого губы задрожали, оглядывается на ямщика, на товарищей. Закраснелся. Один из братьев локтем его.

— Ну!

Тогда шапку тот срывает. Об землю.

— Ваше благородие... Да как ты нас... Да мы...

— Согласен. — Барин к мужикам. — Тогда прощайте. А ты садись. Меня разбудишь, когда Ирбит покажется. Отдохну — нынешней ночью мне не спать.

Но барин проснулся сам, когда стали к городу подъезжать.

— Тебя как величают?

— Федькой.

— По отцу?

— Сын Васильев. Да вот мой отец. — На ямщика показывает.

— Ваше благородие, государь! — Ямщик тройку останавливает, соскакивает с облучка. — Заставь до смерти богу молиться, не выдай. Крепостные мы плац-майора Шершенева. Меня, старого, на оброк отпустил, молодых же всех в землю — медь копать. А там воды до пояса — года по три живут, не боле. Вот и согрешил парень — в бега кинулся.

Проезжий в ответ спрашивает:

— Тебя как по отчеству?

— Иваном отца звали.

— Василий Иванович, отведи тройку с дороги. Нам поговорить надо.

На поляне барин сел, шкатулку с собой вынесенную открыл, принялся рассказывать дивную историю. Был он рожден природным бароном в жаркой стране за океаном, куда от Руси плыть месяца два. С детства имел любопытство к наукам, от древнего народа, майя называемого, узнал, как соблюдать себя, чтобы сила и прыткость. Войдя в возраст, поехал от своей горячей родины в край Аляску. Там возле берега прохлаждался на малом корабле, был унесен в студеное море и, много претерпев, попал на сушу возле великой реки Колымы. На той реке стоит селение Армонга Колымская, где он ради своего чудесного спасения крестился в православную веру, в честь восприявшего его казацкого воеводы, взявши имя Степана Петровича. (Говоря это, барин осенил себя крестным знамением.) Теперь едет в Санкт-Петербург просить государыню русского подданства.

Дивно сделалось отцу с сыном — барин-то им, холопам, про себя. Но, правда, уже не первое он сегодня чудо являл. И по крайности убедились, что не дьявол.

Потом, шкатулку отперев, проезжий развернул гра-

моту на барона, прапрапрадеду жалованную князем Андорры, другие важные бумаги от императоров, королей. Вынимал также камни, полезные корни, еще от его родины сбереженные. Под конец же показал в шкатулке перья гусиные, чернильницу, сургуч. И твердой речью:

— Что с нами дорогой случилось, Василий Иванович, забудь! Как выехали, мол, так и доехали: нас никто не видал, нам никого не попало. Нынче же ночью напишу на Федора бумагу, будто продал мне его плац-майор, а в губернской канцелярии купчая заверена. Той бумаги, однако, никому не стану показывать, пока за Нижегородскую губернию не заедем.

Васька с Федором только кивали, удивлялись.

— А теперь, Василий Иванович, благослови сына. Столица не близко, свидитесь ли когда?

В ту зиму страшный гулял на Невской перспективе холод. С полдня солнце склонялось к шпилью Адмиралтейства огромное, красное. Нева вся парила со льда светлым морозным дымом, от людей, от лошадей дыханье выскакивало большими белыми фонтанами. Из иностранных посольств старались вовсе на улицу не выглядывать. В Зимнем, в княжеских, графских палатах беспрерывной топкой так накалили высокие голландские кафельные печи, что не тронь.

А на главном проспекте столицы все равно всякой славы и всякой судьбы народ. В закрытом возке едет флигель-адъютант, мужик в желтом нагольном тулупе везет битую птицу на господский двор, другой на роспусках сена навалил. Толстая барыня с прислугой вошла в лавку, где заморские изделия — торопится купить розенвассеру, розовой воды в свинцовой фляге. Капитан кавалергардов с большого похмелья крутит ус, диковато озирается — нет ли взгляда непочтительного, а то он готов и шпагу окрасить.

Кто поплоче одет, да не мясом обедал, того сразу



прихватывает мороз. Через тридцать-сорок шагов оттирай себе щеку либо становись греться у тех костров, что будочники разжигают возле Полицейского моста, на Большой и Малой Конюшенных.

Хоть днем, хоть в вечер красив же с этими кострами каменный державный град Петра. И как разросся, расстроился! Будто еще совсем недавно блаженной памяти императрица Анна Иоанновна рядила сразу за лютеранской кирхой устроить сад-гартен для гоньбы оленей, кабанов, зайцев — великая любительница стрельбы была. Но какие зайцы?! Нынче сзади кирхи ровные улицы одна за другой, где в пять часов пополудни зажигаются масляные фонари на чугунных столбах изящной фигуры.

Возле кирхи же стоит двухэтажный дом на десять покоев, принадлежащий славному кондитеру из немцев Нецбанду. В эту зиму снял его барон Степан Петрович, нареченный недавно самой государыней, Екатериной Второю, Колымским. Немало пришлось ему хлопотать аудиенцию. До самого Безбородько доходил с подарками. Но добился, преуспел. Стал в назначенный день и час среди толпы напудренных вельмож в большой приемной зале Зимнего дворца, роскошней которого и в мире нет. Матушка-царица осчастливила долгим разговором. Пожелала узнать, очень ли оробел, когда унесло от Аляски, как это чувствуется, если сильный голод — в животе болит или только скучно. Спрашивала, знатная ли река Колыма, годится ли для судоходства, чем продовольствуются в Армонге царские люди, нельзя ли местных жителей употребить в земледелии или лучше пусть в охоте на дикого зверя продолжают упражняться. Приезжий на все давал толковые ответы. Довольная императрица пожаловала его табакеркой, алмазами украшенной. Был зван на куртаги. Дамы придворные, легкомысленные танцорки, многие заразились любовью к статному иноземцу. Веером открыто примахивали к себе, мушки клеили у губ особым образом,

давая знак, что, мол, свободна, кровь горяча, хочу с высоким блондином иметь амур. Но Колымский оказался подвержен другому соблазну — карточному. Хоть в отважную игру садился, хоть в коммерческую. И проигрывал. Причем так изрядно, что крупные столичные картежники стали приглядываться, а нельзя ли его распрять тысячи эдак на три.

Назревал скандал.

Сначала сели в доме барона за «фараон», потом решили сразиться в холопскую «горку», где успех зависит только от бодрости игрока, так что храбрый, имея одни лишь номерные, сорвет банк, а робкий и сомнительный потеряет даже с сильными картами.

Кроме хозяина, были князь Смаилов, известный санкт-петербургский шалун, кавалер Леблан и Бишевич, человек подлого рода, но великого достатка откупщик.

И после ужина Колымский, против всех ожиданий, стал забирать чуть ли не всякий кон. Гребет и гребет к себе широкими, словно у холопа, ладонями. Добавит в большую кучу, холодно оглядит партнеров — серые глаза будто чужие на загорелом по-мужицки каменном твердом лице — и ждет очередной сдачи.

Проигрывал больше всех князь Николай. А не того был закала, чтобы обиду сносить. Знающие неохотно садились с ним играть. Идет карта, Смаилов вежлив, а нет, может и побить партнера.

К одиннадцатому часу он отдал Колымскому около тысячи и стал писать записочки. Кавалер и откупщик уже заимели интерес следить, как же в конце концов обойдется своенравный князь с хозяином.

Пробило полночь. Барон держал банк, Смаилов был за рукой. Ставку назначили двадцать рублей. Князю открылась козырная десятка с фалью, а в поднятых он нашел еще туза с королем. Получалось, игра его. Бише-

вич, которому открыли козырную даму, отказался, как-валер с двумя мелкими заявил себя в боязни. Перебить князеву карту могли лишь три фали подряд у Колымского — случай столь редкий, что на него и считать нельзя. Осторожно, чтобы затянуть барона, Смаилов «пошел в гору» на двадцать. И тут же поправился, назначив сто.

И барон равнодушно придвинул кучку империалов.

Все смотрели на князя. Три кона подряд он торговался с Колымским до конца и проигрывал на проверке. Он побледнел, у него стала дергаться щека. Леблан и Бишевич каждую минуту ждали, что он, придравшись к чему-нибудь, вскочит, порвет карты.

— Иду на двести. — Князь развязал галстук, бросил его на пол.

— Отвечено! — Колымский отсчитал деньги, положил на банк. — Вы пишете записки, князь.

Смаилов бешено глянул, но сдержался. Закусив губу, написал на клочке бумаги «восемь сот», показал барону.

— Принято. Поднимаю еще на столько же.

Трещали свечи, Леблан с откупщиком затаили дыхание. Чтобы продолжать борьбу, князю надо было добавлять цену выездной столичной кареты. Он плеснул себе вина в бокал, сжав зубы, уставился на свои карты.

— Ну? — нетерпеливо прозвучал голос хозяина.

Смаилов поднял на барона ненавидящий взгляд.

— Прошу положить карты. — И тотчас спохватился. Глупость! Раз уж решил кончать скандалом — он именно так и решил — стоило идти до проверки.

Но Колымский уже открыл на столе свои — четыре мелких.

Откупщик крикнул. Леблан после минутного молчания захлопал в ладоши.

Князь, багрово покрасневший, вскочил.

— Нет, господа! Дело нечисто, так не торгуются. —

Он потянулся к денежной куче барона. — Я этой игры не признаю.

Однако Колымский опередил. Мгновенным мягким движением вставши, положил Смаилову руки на плечи.

— Что вы сказали, князь? Дурно себя чувствуете?

И кавалер с откупщиком ясно увидели, как быстрым, коротким движением кулак барона ткнулся Смаилову пониже груди. Туда, где часы с брелками на ремешке. У князя замутнели глаза, падая на стул, он стал ловить воздух.

— Федька! — Хозяин обернулся к дверям. — Воды! Князь нездоров.

Мгновенно распахнулись обе половинки дверей. Чернявого слугу будто ветром вдуло в залу.

Колымский плеснул воды в лицо Смаилову, расстегнул ворот рубашки.

— Ничего, оправится. — Он прошелся по зале из угла в угол. — Признаюсь, господа, поклонник я физических упражнений. Чтобы не впасть в дородство. (Взгляд в сторону толстого Бишевича.) Как древние нас учили — в здоровом теле здоровый дух. К тому же полезно, чтобы вору ночному не поддаться, честь защитить от обидчика. Побыв во многих странах, обучился искусству без оружия сразиться со злодеем, даже с двумя-тремя. Вот, к примеру, замахиваются на меня...

Бросил на спинку стула отделанный мехом шлафрок, остался в рубашке, в кюлотах. Шагнул к Смаилову.

— Князь, замахнитесь.

— Эй, хо... холопы мои! — Смаилов, приходя в себя, тщился встать.

— Ну, смелее, — подбодрил хозяин. — Поднимите руку!

Рывком поставил Смаилова на ноги, сам задрал правую руку. Партнеры не поняли, каким манером то произошло, но князевы башмаки с серебряными пряжками мелькнули под потолком. Макушкой Смаилов только-только не ударил в пол, а через момент уже

стоял, как прежде, но с растрепанными волосами, блуждающим взором.

Бант у князя соскочил с косички. Багрово-красный Смаилов силился что-то сказать и не мог. Только шлепал губами.

Колымский небрежно толкнул его в кресла, вскинув голову, остро глянул на француза с откупщиком.

— То было против хама, мужика. А если оскорблен дворянином... Федор, шпагу, пистолеты!

Взял поданную слугой шпагу, передернул плечами, разминаясь.

— Кавалер, прошу, сударь. Обнажите ваше оружие и нападайте... Ну!

Леблан неуверенно поднялся.

— Так... Крепка ли ваша рука?

Клинок сверкнул перед глазами француза, лицо барона вдруг оказалось рядом. Какая-то сила вывернула рукоять из пальцев Леблана, шпага его взлетела, а барон уже стоял на прежнем месте. И все это было сразу: лицо Колымского вблизи, возвращение хозяина на середину залы. Только шпага кавалера долго взлетала и опускалась.

Правая рука вся онемела у француза.

— Или пистолеты...

Слуга тем временем поднял со стола туза пик, наткнул на торчавший в стене гвоздь.

Колымский отошел к столу — отсюда до цели было шагов десять. Взял один из трех пистолетов, расставив ноги, чуть потоптался, как бы проверяя, прочен ли пол. Медленно поднял руку, прицеливаясь.

— Повязку!

У чернявого уже был приготовлен темно-красный бархатный шарф. Он наложил его барону на лицо, завязал сзади. Затем отнес в сторону шандал, освещавший карту. Теперь и партнерам ее не было видно.

— Князь Николай! — Шарф закрывал лицо Колым-

ского от бровей до подбородка, и это прозвучало глухо. — Князь, слышите меня?

— Слышу. — Голос Смаилова был дребезжащим, какого Леблан с откупщиком прежде не знали.

— Считите мне.

— Счесть?

— Ну да, до трех.

— Раз, — начал Смаилов. — Два... три!

Еще не до конца отзвучало «и», как три выстрела грянули, почти сливаясь. Барон хватал пистолеты со стола, бросал обратно с быстротой фокусника. Повязка тут же была сорвана, Колымский подбежал к стене, снял с гвоздя карту, стал совать гостям. Карта была в трех местах пробита пулями.

— Это, судари мои, память мускулов, стрельба не глядя. — Повернулся к слуге. — Все убрать, нам новую колоду!

Прошелся по зале.

— Что ж, друзья, отдохнули, развеялись. Можем продолжать?

Гости молчали. Смаилов вдруг, пригнувшись, опустив голову, пошел к дверям. Триema легкими шагами Колымский нагнал его.

— Куда же вы, князь?

— Д-домой. Устал. — Тихий, неуверенный голос.

— Нет, князь, вы не пойдете.

— Не пойду? — Смаилов посмотрел в лицо хозяину.

— Нет, конечно. — Хозяин подвел князя к столу, посадил. — Господа, обязан сообщить, что, соблюдая свое достоинство и особенно честь играющих со мной партнеров, я неожиданного выхода из игры, каковой тень на всю компанию бросает, прощать не могу. То долг мой по отношению к гостям — недопущение двусмысленностей. — Глаза заохолодели, он вел взгляд с одного лица на другое, будто прицеливался. — Случалось мне за такие экивоки отхлестать обидчика публично по щекам (рот скривился в гневе), да потом простре-

лить пустой лоб. Не скрою, из важных европейских столиц и хороших городов принужден был после дуэлей уезжать по наговорам недоброжелателей. Однако всегда возвращался по разъяснении дела. Так что здесь, любезный князь, — похлопал Смаилова по плечу, улыбаясь с нежностью, — здесь будьте вполне надежны. Ничьим внезапным удалением ваше имя замарано быть не может. — Резко повернулся к другим гостям. — Поиграем, други, раз уж собрались. — Отбежал к двери. — Федька! Буди эконома. Поваров с поварятами поднять, пусть пекут, жарят. А нам сюда кофею и вина... Князь, благоугодно ли вам начать? Ваша сдача.

От стола не поднимались больше суток. Ставку по настоянию барона повышали трижды. Кто засыпал, того хозяин будил, заставлял взять карту. Гости уж думали только, как живыми уйти. Огромный капитал проиграл откупщик, но впятеро князь. Француз лишь тем отделался, что сопротивления не оказывал, сразу отдавая за каждый кон — сперва наличными, потом записками.

Кончили в седьмом часу утра.

Проводив партнеров, Колымский взял с вешалки шубу, принял бобровую шапку из рук подскочившего Федора. Небрежно запахнувшись, вышел, побрел мимо обывательских трехэтажных домов. Мороз чуть отпустил. Иней светлым пухом лежал на ветках подстриженных лип вдоль широкой Невской перспективы, дымкой одел камень зданий, отчеканивая углы, грани.

Вельможный Санкт-Петербург еще крепко спал, по проспект шевелился почти неслышным теньевым движением. Исполняя вчерашним вечером наказанное, бежали с поручениями комнатные девки, казачки, черный трубочист шагал (за спиной мешок, где сажа — тоже важный товар), прилежные лошаденки везли ко дворцам припас из пригородных усадеб, фонарщик плелся — в руках масляная бутылка и лесенка. Молочницы-чухонки несли к базару горшки со сметаной, дворники сгребали снег.

Барон повернул влево, оставляя за спиной Адмиралтейство, пошагал приподнятым над мостовой бульваром. Просторные луга у Фонтанки были завалены штабелями бревен — с весны рядили гатить низкий, топкий берег, ставить набережную. Город почти кончался здесь — за рекой только конные дворы Преображенского полка, а после уже темный финский лес.

На другой стороне проспекта у открытых ворот к Аничкову дворцу вереницей выстроились сани с сеном, ждали с ночи, когда допустят. Колымский перешел туда. В глубине хозяйственного сада тускло светились оранжереи, шел сбор фруктов к царицыну завтраку... Трудно поверить, что не так уж далеко в будущем вдоль этой же стены к Публичной библиотеке, что на углу, где Садовой улице пролечь, пройдут гордые студентки филфака ЛГУ, толковые, острые на язык ребята-электронщики, которым создавать компьютеры тридцатых поколений. Люди станут совсем другими, а вот Аничков дворец таким же не изменившимся войдет, словно мыс, в море времен. Резко рисовался контраст между благородной простотой, спокойствием дивных, навечно пребудущих строений юного Петербурга и самодурством, суетливостью тех, кто живет и властвует в них сегодня.

Камень умней!

В тот же день к вечеру барон отправился на Большую Морскую к Смаилову. Князь, сказавшись больным (да он и был болен), потщился не принять. Колымский расшвырял прислугу, ворвался, предъявил, ссылаясь на нужду, записи к расчету. Сумма была невероятная, скоро собрать Смаилов ее не мог, предложил в оплату одно из родовых имений. Вступать во владение пришлось хлопотно. Указом просвещенной государыни карточные долги взимать запрещалось. Составили фиктивную купчую. Сломленный князь всему подчинялся, но дело тянулось до весны.



Выехал барон в новоприобретенную усадьбу только в мае. Впереди карета с гербами, сзади кибитка для камердинера Федора и эконома Тихона Павловича. Тертого, пожившего этого мужчину из петербургских мешан Колымский от Нецбанда переманил.

В нежной карете двигались не шибко — две упряжки в день верст по шестидесяти. На шляху то и дело царского курьера тройка, щеголь в атласном кафтане рысит с визитом к соседке-помещице, погорельцы бредут с сумой — огнем бог наказал. Обозы, обозы с кирпичом, тесаным камнем. А более всего возов, рогожей покрытых, где юфть, сало, полотна, пенька — эти в Кронштадтский порт.

Останавливались у крестьян. Барон, по причуде своей купцом одетый, беседовал, как с равными. В доме мужика-однодворца позвали с полатей парня молодого, тоже ночевщика, ужинать колбасами. Тот видом чистый ангел. Волос русый до плеч, лицом тонок, бел, глаза ясные. Сказался крепостным актером. Умеет акцию, на клавире, танец, может делать театральную машину. В Санкт-Петербургском оперном доме пел Солимана в «Трех султаншах», аплодисменты имел, похвалы удостоивался. Два же года назад барин-старик отозвал в имение, велел научить пению, танцу да италиянскому языку девицу четырнадцати лет, каковую сдать ему неповрежденной в нравах и сердце.

— Сдал ли? — спрашивает его барон.

— Сдал, — отвечает парень. И заплакал.

Этого, Алексей ему имя, было решено тоже взять, оброк за него платить барину.

Поздно, как все по лавкам легли, наговорившись, Колымский вышел на крыльцо.

Отрозвела, погасла вечерняя заря, пахло березовым листом. Майские низкие звезды сияли над головой, словно вывешенные в глубокую черноту неба. От тишины и отсутствия наземного света казалось, будто после ого-

родишка за непробивными кустами бузины мир кончался. Будто здесь же, в двух шагах, земная твердь обморочно опрокидывается в эфирную пропасть Вселенной. Но Русь, хоть и невидимая, была. Раскинулась во все стороны. Ему ли не знать, человеку у крыльца! Как в глухой сибирской деревеньке зимой оттерли его, нагим явившегося, он и лес валил, и землю пахал, с коробом легкого товару ходил по селам, сам на лесной дороге купца останавливал, городскую управу ночью взламывал ради бумаги, печатей. Насмотрелся...

Вдруг треснула ветка поблизости, что-то двинулось в кустах.

Колымский повернул голову — корова? Или кто любопытный из соседских мужиков?.. Шагнул туда, и тотчас странная, во что-то гладкое одетая фигура тронулась с места.

Легкий, сразу стихший звук шагов.

Перескочил через кусты.

Человек, как бы облитый чем-то серебряным, стоял на шляху возле старой липы. И одежда и повадки не мужицкие. При свете звезд стало различимо лицо незнакомца. Узкое, с большими глазницами. Не русское.

Мгновение, и мужчина в серебряном ступил в тень, под липу. И исчез. Как растворился.

Колымский ринулся к липе. Никого... Шлях и поле за ним пусты... Был и не стало.

Кто? Неужели слежка? Но почему? Если до царицы дошло насчет Смаилова, послали бы поручика — доставить на допрос.

Постоял, закусив губу. А может, и не было ничего. Галлюцинация, как в меловом периоде с тираннозавром, которого видел, слышал разговаривающим с сигарой в зубах. Нервность от перегрузки.

Но, идя в избу, знал, вспоминаться будет серебряный.

— Сим объявляется... во владение его сиятельства... Обязаны иметь к нему полное повиновение и беспрекословное послушание. — Из губернского штата чиновник с глубоким поклоном подал бумагу Колымскому. — Вот вам, крестьяне, ваш новый господин. Усердствуйте ему, он вас своей милостью не оставит.

Толпа опустила на колени. Торжественно было. У самой лестницы на террасе кучкой стояли управляющий из поляков со льстивой улыбкой на губах, приказчики, дворецкий, главный конюший, староста.

Вперед, на коленях же, вдруг просунулся древний старик. На голове редкий пух, члены дрожат — такому терять нечего.

— Батюшка-государь, — зашамкал, — пожалей нас, сирых. Прежний барин да управитель жениться парням не велит, девок сперва зовут на смотрение. (У толстого управляющего перекосило рот.) Милостивец наш, дозволь...

— Дозволяю!

Старик осекся растерянно.

Барон с кресла встал.

— Мужики, теперь ступайте в поле, трудитесь. Дело летнее.

И повернулся. Ушел в дом.

Приехал новый господин, еще не рассвело. Сразу стал смотреть имение, сопровождаемый сорванным с постели управляющим Аудерским. Готовились к тому, что он нагрянет, но раннее появление застало всех врасплох. К полудню Аудерский от страха и усталости еле держался на ногах.

— А всего к услугам вашей светлости...

Выхватывал листок из кипы списков и описей.

«Камердинеров да казаков — 12

Офицантов — 9...»

Начали с дома. Прошли двусветный зал (хрустальные люстры, подсвечники на стенах бронзовые в виде грифов), заглянули в князев кабинет (бюро красного

дерева с финифтяными бляхами на замках, прошлогодние «Санкт-Петербургские ведомости»), спальню (кровать на возвышении с кружевным и атласным пологом, мраморные колонны по углам). Всюду навощенные полы блистают, пыль выметена, мухи все до одной вымаханы, чистота, свежесть.

Барон шагал скоро, задерживался в местах неожиданных, стрелял вопросами:

— Чьей кисти портрет?

— Эта дверь куда?

В буфетной подергал замок на железном ящике, где заперт сахар. (Как ни наказывай дворовых, все равно, пся крев, будут лазить.) Обвел взглядом полки с дорогой псудой.

«Ямбургского завода бесцветного стекла кубков...

Глазурованного фарфору, ножей да вилок...»

Барон глазами по сторонам. Слушал невнимательно. Крестьян отпустивши, пообедал быстро, велел заложить коляску. Пока запрягали, направился во флигель, где людская и дворовых квартиры. Не понравилось. Стены закопчены, на полах солома. Спросил, по сколько семей в одной комнате.

Из этого флигеля выйдя, показал на дверь в подвал — арестантскую. За всякие провинности тут содержалось наказанных человек тридцать. Одни на короткой цепи к стене прикованы, иные в колодках, с рогатками на шее. Когда подходил новый барин, изнутри гам, но, как замок звякнул, умолкли. Сидят в - темноте, только глаза белеются.

Управляющий объяснять:

— Этот спор затеял со старостой. Не из дворни, ваше сиятельство, пахотный. Неслух. Волком глядит.

Барон знаком остановил его. Поднял взор в низкий потолок.

— Всех освободить! Рогатки, колодки сжечь.

Просто у барона все решалось. Прибежал, глянул и тут же, не досмотрев, не дослушав: так-то и так-то.

От этой легкости Аудерский стал понемногу приходить в чувство. У Смаилова он управлялся не у первого, встречал уже ту манеру — лишь бы сказать.

Пошли к правому флигелю, в коем окна изнутри заделаны решетками. Князев дворецкий вынул связку ключей.

— Для барского удовольствия. — Управляющий осклабился. — Князь большие любители были.

Первая дверь, скрипя, отворилась. В комнате молодая женщина, статная, брови двумя дугами нахмурены, губы закушенные, большие глаза на белом лице горят испугом, гневом. Волосы — каштановая река с плеч.

Барон, вдруг покрасневший, опустил взгляд.

Стали открывать другие двери. В коридор вышли женщины, девушки. По одной, по две из комнаты, из иных по трое. Бледные, нездоровые, все в одинаковых сарафанах, и каждая по-своему хороша. Выйти вышли, на барина нового пялятся, слово сказать боятся. Одна за другую прячутся.

Откуда-то голос:

— Лизавета, скажи барину, скажи!

Из первой комнаты красавица вперед шагнула:

— Батюшка-барин, помилуй! Воды нет, в грязе живем.

— По месяцу не выпускают! В церкви сколько не были!

Колымский поднял руку.

— Идите все по домам. — Повернулся к управляющему. — Решетки из окон выломать!

Ехали в село, солнце уже садилось за полем.

— Овсы здесь для собак сеем, — управляющий объяснил. — Князевой псовой охоты на всю губернию лучше не было.

— Сколько собак?

— Восемь сот, ваше сиятельство. Овса идет на прокорм с лишком две тысячи четвертей.

Миновали за полем порядочный дом с башенкой, вы-

сокими воротами. Село раскинулось над речкой — по-верху, вокруг церкви, избы крепкие, дранкой крыты, у берега же одна солома серая.

Барон соскочил с коляски возле первой хижины. Столичный ловкий кучер тут же и осадил коней. С главной улицы, сверху, староста с десятскими бегом — ожидали с хлебом-солью.

Двор неприбранный. Изба покосилась. Из сарая пегая кляча робко-робко глянула, переступила смущенно — под тонкой, продырявленной оводами кожей мослы горбом.

Вошли в избу. На столе пареная репа. Хозяин, хозяйка да ребятишек орава за ужином. Тощие все, мелкие. Ни говору, ни гама, только мухи гудят. Увидели барина в белом, шитом золотом камзоле. Детвора во все стороны, баба упала лбом в пол, мужик стал, глаза вытаращил.

На дворе топот вразнобой — староста с десятскими подоспел.

— Сколько детей? — барон спрашивает.

Молчит мужичонка. Одеревенел. Староста тогда,дыхание укорачивая, от дверей шаг.

— Кабы не мерли, до двух дюжин, батюшка-барин. Куды они их сеют?

Мужик потупился. И все ему невдомек барину в ножки поклониться. Стоит пень пнем.

— Много бесхлебных?

— Государь наш, да есть. Которые еще с Тимофея-полужимника за макуху берутся. Сей-то час репку бог послал.

Барон управляющему, выходя:

— Выдашь муки ржаной по мешку, масла конопляного по пять фунтов, солоду на хвас по десять.

— Кому?! — Аудерский бегом за барином. — Ваше сиятельство, по этому краю наподряд лежебоки-мошенники...

И тут же понял, что ошибка. Колымский повернул-

ся — в жизни не видел управляющий такой злобы в глазах.

— Обсуждать?.. С барином спорить?!

Две железных руки схватили повыше локтей, сжали, земля вырвалась из-под ног. Со стороны видели, как управителя восьмипудовая фигура поднялась, пролетела, ударила в забор, повалила его. В то же мгновение барон одним прыжком настиг.

— Где твой дом? Тот вон? — Схватил Аудерского за отвороты камзола, дернул кверху — треск, и два клок материи остались в пальцах. Перехватил за плечи, поднял опять, бросил в коляску. (Как только рессора выдержала?) На старосту зыкнул: — Садись!

Лихой кучер, ничего более не дожидаячи, лошадей разом вскачь. Барон на сиденье, камердинер на запятки, староста еле успел возле него прицепиться. Галопом вывернули в узком месте меж рекой и двором — народ с дороги кто куда. Рысью в гору напрямик через овсы.

Кучер остановил. Староста на колени сразу.

— Твое? — На башенку барон показывает Аудерскому.

Управитель стать не может. Барон выхватил его из коляски.

— Твой дом?

— Ва... ва... — На губе розовая пена. То ли с испугу великого обкусил, то ли внутренность повредилась.

Колымский подскочил к воротам, ударил ногой. Треск. Щеколду внутри сорвало, две половины поплыли. У сараев гора раковой скорлупы, ее розовые аглицкие свиньи хрупают. На гумне раскрытом стеной стоят высокие аккуратные одонья еще прошлогодного хлеба, дров поленица — в три зимы не истопишь. Под навесом крыльца баба пухлая в душегрее на кресле сидит. Проснувшись, рот раскрыла крикнуть строго да так и осталась. Из конюшни выбежал раскормленный малый — рожа мятая, заспанная, в волосах солома.

Барон управляющему.

— Подойди сюда. — Ненавистным голосом. — Ну! Аудерский, согнутый, приблизился.

— Видишь дом?.. Слово еще поперек, по бревнышку разнесу. — В глазах бешеные молнии. — Яма останется. И ты в той яме сгниешь!

Постоял, через раздутые ноздри дыша. Вернулся к лошадям, на коляску ступил, Аудерского подманивает к себе пальцем. И спокойно теперь, холодно:

— Отчеты все, книги сдавать будешь моему эконому для проверки. Завтра после молебна соберешь дворовую прислугу, конюхов, стремянных, доезжачих, псарей, щенятников. Объявишь, псарню, конский завод продаем. Из людей отберешь плотников добрых, колесников, кузнецов, шорников да тех, кто в плотники и прочие хотят и годятся. Которые в пахотные мужики попросятся, тех на пашню вернуть. Завтра же приказчика послать в город, пусть ищет охотников лесу продать.

Уехал. Староста с набежавшими мужиками еле впяттером донесли Аудерского в дом. Хрипел, что его, мол, шляхтича, так обижать не след, но, опомнясь, те поносные слова против барина оборвал. Положили в постель, вскинулся — наказанные-то у него не отпущены. Послал сына снимать с цепей, колодки сбивать.

С другой недели лакеев, официантов, псарей, девок разных, коих без счету везде толклось, послали косить, оттого для барщинных два дня урезав. Новый господин одеваться по утрам изволил сам, кушал в большой зале один вельми скоро и скудно на изумление. Четверти часу не просидит за трапезой, на коня и в поле, в лес. Землю ему раскопают, где скажет, он берет горсть глины, песку, смотрит. Вскорости на той глине явились из столицы люди ставить кирпичный завод. За ними стекольного дела знатоки с обожженными лицами, с Урала мужик — по литью мастер, двое немцев — позументщик и часовщик, из Лондона-города англичанин. Всяк ехал со своим инструментом, со скарбом. Англичанин привез страшной тяжести железа, сгрузить барон ука-



зал в диванной прямо на штучный пол. Аудерский после своего летания в воздухах, хоть и пополам согнутый, но приехал утром в контору, двое мужиков помогали от коляски. Так, не разгибавшись, начал щелкать на счетах. Из города повезли купленный казенный лес — за англиским парком над рекой Колымский повелел поставить деревню. На спас яблочный обложили на три венца полста изб.

Интересовались бароном соседи из мелкопоместных. Останавливалась перед террасой неуклюжая карета, породный помещик ждал, что подбегут лакеи, откроют дверцу. Не дождавшись, выходил сам, озирался недоуменно. Без уверенности ступал на широкую лестницу. Наверху дворецкий двухаршинного роста. На зеленом, серебром шитом кафтане пуговицы с бароновым гербом, в руке трость с набалдашником слоновой кости. Стоит не сбоку у дверей, чтобы гостя пропустить с поклоном, а посередке. Глаза оловянные выпучены.

Приехавший набирался куражу, закидывал голову, выпячивал пузо.

— Доложи-ка, любезный, барину, что гвардии отставной поручик...

— Их сиятельства барона в доме нет.

— Ну так я подожду. Распорядись отпрягать.

— Не приказано.

— Как не приказано?.. Распорядись, говорю! И мне, пожалуй, закусить с дороги.

— Не приказано.

В оловянных глазах пустота. Помещик медлил, мялся.

Перестали с визитами. Роптание, конечно, пошло. Но мнения разные.

— Помилуйте! Обедает с экономом за одним столом. До чего же этак дойдет-то? Дворню всю разогнал. Но это ж дурость так себя унижать. Дворянин есть подпора престолу — вот чем он занят, в то время как другие

сословия трудятся на одну только собственную пользу. За то дворянину и честь, за то прислужгой окружен.

— Однако матушкой-государыней сказано: «От пашен не отлучать!» У иного лакеев сотня, а на тягле одни старики. Оттого и разоряемся.

Были о Колымском в столице слышавшие.

— Нравственности, говорят, самой дурной. Дерзок, силен, росту высокого, через бровь шрам, на подбородке другой. Словом, все качества, душевные и телесные, составляющие скорее разбойника, чем барина.

— Заметьте, сударь, между тем государыней принят, обласкан. Жалована табакерка с их величества портретом.

У Колымского же стали ладить пильную мельницу. Уральский мастер с подручными свозят болотную руду — нашел-таки ее барон — плавильную печь кладут, стекольщики амбар получили, тоже там маракуют. Артель собрана уголь жесть для всяких надобностей, мастер-позументщик поставил стан проволоку тянуть, второй немец стекла шлифует.

На полях страда. Пойменного лугу в имении пять тысяч десятин. Побольше половины сметали в стога, барон велел рыть ямы, хоронить туда сырую еще, не сушеную траву. Зачем — никому не ведомо. Ржи в тот год поспели ранние, за покосом сразу и жнитво. Яровые догоняют, а тут овсы убирать, и сеять пора. У непривычных дворовых на вечерней заре всякая жилка ноет. Тяговые мужики, правда, вздохнули — помилуй бог, два-то дня прибавлено для своего надела!

Нового господина боялись все.

Главное — укрытия от него никакого. Всем пренебрег: охотой, карточной забавой, иным каким ни то барским гулянием. Оттого может собственной персоной во всякий час на всяком месте негаданно. Из лесу с Федором, камердинером, выскочит, коня осадит. Мужик и мигнуть не успел, барина словно ветром из седла выхватило, и вот он уже рядом. Лик тверд, будто из камня

тесанный. Нагнулся, в борозду руку запустил: «Мелка пахота! Землю царапаешь только». Взглянет, как гвоздем пробьет. В тот же миг опять на коня, и сгинули двое.

— Ты почему здесь?

Колымский поднял подсвечник. Сам в халате после умывания, готовый сбросить его, свалиться на кровать.

В темноте тонули дальние углы спальни. На открытой постели сидела Лизавета. Поднялась, как он вошел.

Шагнул ближе. С того дня, когда впервые увидел девушку в комнате флигеля, думал о ней не переставая. Встречал дважды. Первый раз — сгребавшей сено на покосе. Не в лицо узнал — платок ниже бровей, — а по гордой повадке. Он собирался поблизости брать грунт на пробу, но, испуганный ее присутствием, ускорил. И еще было на покосе же, когда проезжал мимо и остановился глянуть, верно ли заделывают силосную яму. Тут вовсе не увидел сначала. Догадался, что рядом, только по странному напряжению сердца, по тому, что со знойной, пыльной, помутнелой суши июньского вечера вдруг сдернулась пленочка, все сделалось ярче, цветнее. Как соскочил, спины вокруг согнулись. Он огляделся, ища, не ошибся ли в своем чувстве. Она в двух шагах от него тоже склонила голову. Опять Колымский смешался, подбежавшему сотскому ничего не сказал. Его даже злило. За последний год выработал холодную, спокойную уверенность в себе. И вдруг этот трепет, пересохший рот. Федор, уже всюю хороводившийся с крестьянскими двужилыми девками, рассказал о ней. Четырнадцати лет была за красоту отобрана князем у мелкопоместного дворянина. Одинока. В селе и среди дворни никого близких.

Теперь стояла рядом. Освещенное живым движущимся огнем лицо розовело, темные ресницы строго опущены.

Колымский слышал удары своего сердца. Мелькнула невероятная мысль — может быть, и прав сумасшедший натурфилософ двадцатого века в Америке, выступивший с теорией, будто женщины и мужчины происходят от разных животных. Ведь нельзя же действительно, чтобы вот эти губы, плечи, грудь — все столь желанное, окончательно совершенное — природа кроила из той же обыденности, что и мужскую грубую плоть.

Охрипший, вдруг повторил:

— Ты на что пришла?

Она, глядя вниз и в сторону, сказала:

— Наше дело господам угодить. — Потупилась — мол, воля твоя, барин, меня не спрашивай, как хочешь поступай.

Струйка горячего воска пролилась Колымскому на пальцы. Он выпрямил подсвечник.

— Мне подневольной любви не надо.

Вспыхнула, повернулась, ушла в темноту. Там легкий скрип.

Помедлив, бросился за ней. Неверной, колеблющийся свет выхватил очертания двери, обитой, как и стены, цветным ситцем. Открыл рывком. Маленькая комната вся в иконах (вспомнилось — управляющий говорил, что возле спальни образная). Лестница вниз.

Вернулся в спальню. Задумчиво поставил подсвечник на столик у постели. Вдруг схватился за горло обеими руками.

— Умру!

Вдохнул судорожно. Больше двух лет пришлось поститься в безлюдных эпохах. В Сибири и потом в Петербурге сдерживал себя от совести, от почти религиозной жажды стать наконец безупречным. Отверг авансы развязных придворных красавиц, уж больно у них все было просто: пройти в соседский покой, вернуться.

И вот нахлынуло.

Открыл высокую раму окна. Томительный, душный запах цветущего шиповника тянул из парка. Образ Ли-

заветы еще витал здесь, в комнате. Замотал головой — как можно было отпустить?.. А не отпускать — уподобиться окружающей своре гаремщиков?

Однако ночь! Ночь эта! Как ее переживешь?

Почти машинально скинул халат, туфли. Взял в шкаф темное полукафтанье. Перегнулся через подоконник.

Всходила луна. Цветник перед домом сиял чуть мертвенным синим серебром, глубокую черноту держали аллеи.

Мягко прыгнул в засыревшую теплым вечерним паром траву. Шагом мимо фонтана, бегом к главным воротам. Старичок сторож дремлет у полосатой будки, лунный блик облил, загибаясь, штабель кирпича, приготовленного класть ограду.

С дороги в пологий овраг, заросший раkitами — тут уж на полную силу.

Поднялся из оврага, пахнуло полынью и сжатой рожью. Издалека долетел крик перепела, что-то большое, бесшумное вылетело на фон звезд — сова. Дорога, белая, уходила к лесу, мягкая пыль сжималась под ногами.

Дальше, дальше от Лизаветы, от темных бровей, от пахнущего свежестью и сеном тела ее. Бежать до изнеможения, усталостью подавить страсть.

Версты оставались позади за верстами, дыхание наладилось, длинный шаг, широкий взмах рукой. Быстрее, еще быстрее! Свернул в поле, пробился сквозь молодую дубовую рощу, опять на дорогу. Давно уже не бегал так. Мерный ритм успокаивал. Какие-то мгновения ощущал себя снова тем Стваном, который один на всей планете шагает ночами по отмелям, плывет в океане, свободный, простой, как водоросль.

Дорога втекла в деревню — ни огонька, ни звука. Промчался по ней, и только вдогонку, когда он был уже за околицей, залаяли и стихли собаки. Река, брод. Луна уже стояла высоко, в светлом круге возле нее мерк-

ли звезды. Опять деревня, черной кучкой избы, и снова простор, стога на лугах.

За спиной было уже километров сорок пять. Почувствовал усталость. Поднялся на холм, вдали что-то мерцало. Даже остановился — так странен был этот свет среди холодных полей, уснувших деревень.

Спустился в лес. Своя усадьба была уже далеко, направление к ней знал только по звездам. Впереди нижний край неба чуть светился, пошел на этот свет. Показалось, что слышит музыку, донесшуюся обрывком. Высокая оштукатуренная стена преградила путь. Подпрыгнул, взобрался. Сквозь деревья увидел огни, освещенные окна белого здания.

Соскочил. Осторожно сквозь кусты. Открылась площадь широкого двора, вся заставленная каретами. Там и здесь кучками прислуга — лакеи, кучера. Смех, гомон.

Пошагал в обход двора. Из открытых окон второго этажа лилась мелодия полонеза. Присмотрел могучую липу, стоящую близко к стене, влез. Теперь окно было рядом, оттуда полыхнул жар. Сотни свечей в люстрах, оркестр на хорах. Красивые, разгоряченные, потные лица, парики, взбитые, напудренные прически. Мужчины в камзолах, в английских фраках с короткими фалдами, на женских платьях оборки-оборки. В руке веер. Даму в кринолине, в черных брабантских кружевах вел в первой паре полный брюнет.

Спрыгнул.

Перед фасадом здания раскинулся регулярный парк — фонтан и статуи и полукругом, посыпанные песком аллеи, вазоны, мраморные бюсты.

Шепот на скамьях. Из беседки звук поцелуя.

Вышел к большому пруду. Каменные ступени спускались к воде. Рядом боскет, там шорох.

— Позвольте вас обнять, топ соеиг.

— А вот и не позволю! Мне маменька наказывала пока не допускать такие вольности.

Поспешно шагнул прочь, натолкнулся за деревом на двух обнявшихся.

Дальняя музыка стихла.

От дворца по главной аллее бежала толпа, впереди полный мужчина с орденской лентой. Он остановился в двух шагах от Ствана.

Восклицания, смех, крики: «Тише! Тише!»

Стихли. Полный брюнет огляделся, взмахнул белым платочком.

Тотчас где-то поблизости грянула пушка, громко вступил оркестр, спрятанный в кустах. За прудом в небо поднялись сияющие, сыплющие искры колеса фейерверка. По пруду будто сам собой плыл помост весь в цветах, несколько обнаженных мужиков и молодых баб на нем в принужденных позах — аллегория.

— Божественно!.. *C'est charmant!*

Над самой головой Ствана по натянутому шнуру скользнул огонь, загорались масляные фонари. Стван вдруг оказался на свету — странная фигура в разорванном кафтане, взъерошенный, мокрый, босой.

Поблизости стоявшая дама в кружевах отшатнулась в ужасе. Полный брюнет брезгливо отступил.

— Кто таков?.. Эй, слуги!

Двое дюжих, тотчас откуда-то взявшихся, кинулись.

Знакомым путем по аллее двора Стван наддал так, что преследователи будто на месте остались стоять. Перелез через стену, и стало смешно — в этом веке ни пешему, ни конному с собаками его не догнать. Может вот так покрывать ночами десятки верст, добираться, куда хочется, и возвращаться. Знать про всех, разгадывать тайны, наказывать жестокого, мстить за поруганных. И все ведь воля, жесточайшая работа над собой, тренировка, то, что переплыл кембрийский океан, что в мелу за год пробежал около двадцати тысяч километров, добился такого владения телом, что ни вулкан, ни чудища-динозавры уже не пугали.

Усмехнулся, одернув себя. Не нужны ему помещичьи тайны, на важное времени не хватает.

Опять в полной тишине оставались позади немые, будто вымершие селения. Черные завалившиеся избы, там вповалку согнутый сохою, поротый мужик с гудящими от усталости руками-крючьями, баба с выражением вечного испуга на лице, кривоногие ребятишки. На сто, на триста таких деревень дворец, парк со статуями, музыка Монтеверди, резвящееся, танцующее барство. Эх, Русь! Сколько же этому еще быть, сколько еще тянуться заленившейся истории через рабскую безнадежность?

Истаивала ночь. В предрассветных сумерках сдвоился контур берез. На травах холодок стягивал водную пыль тумана в крупные капли. Нога, сбивая их, оставляла на лугу след-дорожку. За спиной верст пятьдесят, Ствана уже шатало.

Август прокатился.

Началась молотьба, скотину выгоняли на поля. В новых избах за английским садом настилали полы, навешивали двери. Целая деревня поднялась за лето — уже накрыты крыши, а на нижних венцах еще не успели потемнеть белые зарубы. Днями тут работало человек до двухсот бывших дворовых. Тех, которые во флигеле двумя-тремя семьями в душной комнате, завидки брали. Слух ходил, будто барин будет в поставленных избах селить купленных в Петербурге людей. Плохо ли так-то — на все готовое?

Управляющий Аудерский разогнулся, но кулаки, привычные у мужиков зубы считать, в ход не пускал. Сидел в конторе, все в имении уже делалось без него. Бабу свою пухлую и толстого же отрока отправил в город. В начале сентября бил челом барину, чтоб отпустил его. Барон отпустил. Аудерский просил двадцать подвод для имущества. Дал двадцать. Смотрели из



большого зала, как проезжает мимо усадьбы бывший управляющий. Федор прошептал за спиной барина:

— Может, вернуть пяток передних телег, Степан Петрович? Там главная кража.

— Ладно... Пусть едет.

Каждый вечер собирались эконо́м, Алексе́й, Фе́дор и сам Ко́лымский. Еще с августа стали звать старосту. Рядили, когда, куда и что и как, чтобы утром давать наказ сотским, десятским от села и от дворни. На стенах княжеского кабинета цветные листы — почвы, посевы, — барином рисованные, и черная доска. Хозяйство было уже не простое: поля, скотина, металл лили, стекольное производство шло, немцы-мастера да англичанин тоже своего требовали. Ломать голову приходилось, чтобы все сразу валом валило. На той черной доске барон мелом ставил значки — здесь молотьба, там леса перевозка, тут кирпича. Набиралось, что не тотчас сочтешь. Мелом же Ко́лымский выводил стрелы, соединял значки. Алексе́й для сотских и десятских писал списки, которые те утром по неграмотности своей должны были крепко затверживать. Не все запоминали, гоняли мальчишек верхами спрашивать: «После стекольной-то куда народ?» Поначалу путаницы было много. На вечерних советах староста первое время только отдувался, всего и вытянуть из него: «Воля твоя, батюшка-барин, а мы уж...» Потом стал в те бароновы стрелы вникать, тыкал корявым пальцем: «А ежели те подводы отсюда...»

Засиживались при свечах долго, а после Ко́лымский со страхом ждал, не скажет ли Фе́дор чего о Лизавете — с таким-то, мол, ходит, от такого-то к ней сваты, собирается под венец. Теперь уже знал, отчего не пошла вон из усадьбы. Нет у нее в деревне никого. Сирота. Купил ее дворянин на ярмарке в Нижнем с матерью, да та померла. Сейчас Лизавета с дворовыми ходит на поле, а прикармливает старик повар. Хлеба даст, остаток шей от барского стола нальет.

На первую пятницу октября актер Алексей избы в новой деревне пометил номерами — углем писал. Дворовым было сказано, в субботу на рассвете собраться перед террасой. И одиночкам и семейным. Собрались. С детишками и стариками — целая толпа, как на ярмарке. Алексей вынес шапку, велел от всякой семьи кормильцу тащить бумажку, бобылям да бобылкам потом наособицу. Бабы завывали было, мужики, побледневшие, переминались — не в солдатчину ли? Староста утешал: «Тяни, не бойсь, худого не будет». Вытащили сорок девять бумажек. Вышел из дому барин, привели оседланного коня. Тихо сделалось.

— Всем из флигеля переселяться в новые избы. Скарб свой забирать весь, чтобы ничего не осталось!

Глянул грозно. На коня, и только копыта отстучали за домом. Федор верхом тут же сорвался вслед.

Загомонил народ, не сразу-то все и поняли.

Колымский с Федором проехали по сжатым овсам, стали у знакомой развалюхи. Хозяин молотил во дворе — посконная рубаха вся в заплатках. Барина увидал, застыл, как и в первый раз. Ребятишки врассыпную.

Барон прошелся по двору. В сарае стог ржаной был порядочный — дал господь урожаю.

— Как тебя звать?

Баба очнулась.

— Иваном его, батюшка-государь, милостивец наш. Иваном.

— Изба у тебя плоха, Иван.

Тот потупился. Цеп выпал из руки. Коричневые крючковатые пальцы чуть шевельнулись.

— Изба, говорю, плоха... Он что — немой?

— Все больше молчит, — Федор со стороны. — Да и баба тоже. И ребятишки. Вся семья такая, барин.

— Жалую тебя за верную службу новой избой.

Баба рот разинула. Мужик опять как пень.

— Избу тебе дает барин. — Федор мужику.

Того будто дернуло чуть. Взялся за бороду. Посте-

пенно сморщивалась заветренная кожа у губ. Поднял взгляд, заморгал. Из глубины пробивалось на лик что-то вроде улыбки.

Колымский отвернулся, смигнул вдруг набежавшую на глаза слезу. (Черт, делаюсь сентиментальным!) Шагнул к лошади, тут же у телеги привязанной. Она дернула несуразной головой, пугливо переступила.

— Добрая лошадь. — Успокаивая, погладил по шее, на которой тусклую пыльную шерсть в узоры сбило застывшим потом. — Овсеца бы ей дал когда. — Нахмурил брови, от себя скрывая смущение.

В воскресенье святили избы, отслужив молебен. Там же днем Алексей, как белый ангел, развел дворовых кому куда жребий пал. Поначалу и ступить-то робели на светлые струганные полы. На закате девки, негаданно сойдясь у околицы, заиграли песню — давно того не было.

И в воскресенье пришла она.

Уже ночью Колымский, поднявшись в спальню, увидел на фоне окна темный силуэт. Жаром прокатило по груди, весь ослабел. Стараясь показать, что спокоен, придавил участвовавшее дыхание. Казалось, надо быть собранным — только так завоюет ее.

— Лизавета?

Она резко повернулась.

— Барин, позволь, руки на себя наложу. Если б ты знал, что они со мной делали! Если б знал. Князю не покорствовал, так лакеи держат. Какой только издевки не было. Всякому отдавали, кто хотел — старому, грязному. — Зарыдала, закрыв лицо рукавом. — Мне одна дорога — в омут.

Вся его стратегия рухнула. Бросился к ней.

— Лиза, что ты? Любимая!..

Судорожно всхлипывая, она вытирала слезы.

— Бога боялась. А то бы давно уж. Прикажи, наложу руки.

Упал на колени, схватил подол сарафана, стал целовать.

— Да что ты, радость моя. Это они только сами себя пачкали.

Луна светила в окна, крикнула перелетная птица, ветер качнул верхушки деревьев. Любовь.

Ранним утром смотрел на нее, уснувшую. Прозрачное лицо было неправдоподобно прекрасным. Он ли это с нею? За что ему так? Ну, есть ли теперь, чего желать от жизни еще?

Она проснулась от взгляда. Поднялись длинные ресницы. Глаза делались то темными, то светлыми, голубыми.

— Завтра обвенчаемся.

— Нет! — Отодвинулась испуганно.

— Почему?

— Лучше жизни решусь. — Покраснев, надернула к подбородку край простыни. — Тебе нельзя такую. Князевы гости нас всех брали из флигеля, нимф заставляли плясать... И деток у меня не будет — бабка сказывала, которая вытравляла.

— Все равно обвенчаемся.

— Нет, Степан Петрович. Во грехе стану жить с тобой.

Осень несла с берез желтый лист. На сжатых полях табуны всадников, собачьи своры, толпы пешей obsługi от доезжачих до музыкантов и плясунов-песельников — помещичьи охоты гуляли по округе. У Колымского двухсаженную стену протянули от сада до реки к мельнице, окружив ее, повели обратно к правому флигелю. С другой стороны стена подошла к левому. Вышло замкнутое кольцо с одним только входом — через парадные двери. Весь сентябрь внутри грохот, гром. В сад переводили кирпичный завод, построили еще одну оранжерею, клали вторую плавильную печь. В доме позумент-

щик проволоки навил целую комнату, англичанину два крепких мужика крутили, сменяясь, машину, он точил палки железные. От стекольщиков невиданной фигуры бутылей, стекла листового, пузырьков навалили два полных покоя. Из Петербурга навезли в телегах серы, медного купоросу, руд и солей разных — иное клали в большие кадки, иное так, на пол. А потом стихло на усадьбе. Вольных мастеров барин, наградивши, отпустил. В огороженном наглухо доме остались сам, ближние слуги, да девок пяток посмышленнее под началом Лизаветы.

В новой деревне бывшие дворовые месячину получили, какой не видывали век. Круп всяких, муки, другого припасу телеги накладывались с верхом. За молоком для детей сказано было приходить на барскую ферму. От такой благодати мешалось в голове. Многие пугались: «Неспроста! Он еще себя окажет».

И оказал.

Староста обошел село и деревню — велено вести детей осьми да девяти годов барину на смотрение. Зазвонел по избам бабий стон, хватались за своих малых: «Не дам, не пушу! Бога забыл, на что ему дети?» Нашелся бывалый человек, успокаивал:

— Не иначе тиатер станут играть.

— Мальчишек-то зачем?

— Мальчишки — первое дело. Для амуров. Щеки свеклой мажут, крылы прицепляют и на проволоку. Повисят — сымут.

— Долго висеть?

— Ништо — оттерпятся.

Детей собрали к усадьбе. Барон смотрел. Выбрал девочек и мальчишек четыре десятка. Их сразу увели в дом, тем же вечером вернули по избам.

На закате у колодцев разговоры:

— Лизавета там командует. Теперь барская барыня.

— И чего делали?

— Мыли... Кашей кормили. С коровьим маслом.

— Ну-у?.. И все?

— Алексей-актер, хоровод с ними водил.

— Тогда, выходит, театр... А барин?

— Что барин — приходил, поглядел. Яблок рыжих приказал принести со старой инжереи, давал. Мишку — садовника Василия младшего — гладил по голове... Барина они не боятся — не понимают.

На третье утро Лизавета с Алексеем рассадили накормленных, умытых малых в большом танцевальном зале за особо сколоченные низкие столы. Над липами парка стояло солнце, его блики рассыпались по стеклам, железкам, что барон заранее приготовил на высоком длинном столе у передней стены под хорами.

Вошел Колымский. Мужичья ребятня, привычная старших слушать, присмирела.

Барон раскрыл окно, вернулся на середину зала.

— Дети, вот светит солнце, оно несет нам силу. — Взял круглое стекло. — Можем эту силу поймать.

Наставил стекло на лужицу воды, на столе налитую. Там зажегся яркий кружочек. Зашипело, пошло паром.

Ребятишки за малыми столиками подались вперед. Некоторые встали.

Барон подошел к окну.

— И ветер имеет силу — вон ветку качает. И в травах и в деревьях она есть. И в земле солнечная сила запасена.

Отбушевала желтая лиственная метель, леса просквозились напросвет. Трижды падал и стаивал снег, потом лег прочно. Для других господ самое праздничное время — что ни день бал либо охота. Дергают крестьян в загонщики, столовый запас везти на помещичью кухню, дров да всякого иного. У Колымского же вздохнули вольно. В деревне и на селе отмолотились еще за

октябрь, теперь в короткий день чинили хомуты, сани, наостривали топоры. Девки стали собираться в избах попросторнее, прясть, лапти вязать под песню — опять заведение, какого давно не было.

Баринотом отобранная детвора из усадьбы возвращалась сытой, рассказывала чудеса. И петь в доме заставляют, и кувыраться, и танцевать, и всякие игры играть. Понаделаны тряпочные шары, на тех шарах литеры — надо шары кидать, ловить и литеры те выкрикивать. (Восьмерых, кто выкрикивать никак не сумел, барон от усадьбы уволил).

Рассказывали и про дивные стекла — видно сквозь них вовсе мелких букашек, коих в одной капле воды сто сот. Про колеса, от солнца крутящиеся, про то, как из двух чашек светлую воду сливают, и она лазоревой становится. Главное же, как поняли в деревне, был огород в новой оранжерее. Делали большие деревянные корыта на подставках, скопом носили туда навозу, песку, дерну (а в которые мелких камешков). Барон тоже с детьми носил. Сажали овощи заморские и наши. Иные корыта были стеклянные — там видать, как белые тонкие корни пробираются сквозь землю. Огород разделили детям по грядке, каждому поливать, соли разной сыпать, как указано. От проростков отщипывали кусочки, смотрели через круглые стекла — зачем, неизвестно. Всей той заботы — танцев, пения, игры, шаров тряпочных и огорода — выходило на три четверти суток. Под масленую все были отпущены домой. Оказалось, читать могут — даже и девки. От такой страсти в деревне растерялись. Старики качали головой: вроде такого еще не бывало.

По праздничному времени над рекой, как в дальние, еще до Смаилова годы, устроили гору. До великого поста там от света до вечера шум, гам, песни. Но бароновы выученики, хоть до санок куда как охочие, только и спрашивали тятку да мамку, когда же обратно в усадьбу. Больше всего разговору у них про тамошние

чудеса и какой у кого на огороде овощ. Называли неизвестное: «картофь», «куруза».

За зимние месяцы, как еще при старом барине заведено, управитель Тихон Павлович отпустил мужиков в извоз. Повозвращались, дело к весне, скотина, лошади отошали. Сенцо, известное дело, пополам с соломкой, а у кого и с крыши дерут. Тут приказ — снег, землю отбрасывать с тех канав, куда траву валили, брать по три воза на корову. Открыли, ахнули. Трава, хоть потемнелая, комканая, но свежа, коровы ее рвут — толстым суком не отогнать. И сразу новое — на барской и на своей мужицкой пашне ставить в снег легкие хворостяные изгороди. На сей раз взялись, не одинаясь, со всем рачением, дружно. А потом последняя команда. За зиму управитель со старостой всю господскую землю разбили на участки. Барщинные дни были объявлены упраздненными, крестьянским и бывшей прислуги дворам обрабатывать полученный надел барской пашни за треть урожая. Иной семье больше пятнадцати десятин падало. Лошади тоже барские были даны за необходимый выкуп. Ну, кинулись мужики пахать, боронить, сеять! Многие, от такого простору ума решившись, сутками не входили в избу, неделями. Только молились за долгий Колымскому век — не приведи господь, помрет, тогда наследники жадные, либо в казну. На той отчаянной работе трое получили «грызь».

А на усадьбе дети всю весну складывали каменный дом. Сами кирпич выжигали, вязали оконные рамы, как барон да специально взятый старик плотник показывали, стеклили (стекольному литью тоже учились), навешивали двери. Настелили крышу и в том доме поселились, только по воскресеньям домой отпускаемые. Тогда же барон отправил в деревню девок, стряпух и прачек, поначалу оставленных. Дети в черед стали стирать, варить щи и кашу. Овощи, в оранжерее выращенные, тоже ели, много хваля. Приносили родителям в избы, навязывали отведать.



Лето пришло — сушь. По губернии недород. Урожаем сам-три помещики один перед другим хвалились. В бароновых же владениях даже безмощные, отвыкшие от крестьянских трудов дворовые собрали сам-шесть.

Святили хлеб первого умоления. Колымский кланялся в церкви истово, когда надо, на колени. Осенью на барском гумне, куда по счету свозили урожай с участков, управитель Тихон Павлович отмеривал обещанную третью долю. Неподъемными мешками мужик рвал и рвал зерно с земли, а его все было много в куче.

От бароновых учеников доходило, что изготовлено в усадьбе колесо, от коего искра бьет, и той искры силу дети по бумажкам учатся считать — сего последнего взять в ум уж вовсе невозможно было. А потом перестали мальчишки с девчонками говорить, чему учит барон, что заставляет делать. Как отрезало. Из тех, кого Колымский отобрал, осталось всего три десятка душ...

Полетели белые мухи, стала река; улегся санный путь. Но в селе никто не спешил отпроситься в извоз. Впервые с незапамятных годов хлеба у всех было, что и половины хватит до нови. Взялись чинить избы, сараи, поправлять заборы. По воскресеньям выходили мужики из церкви, останавливались в кружки. Рожи красные, распаренные, тулуп нараспашку — не сходится на сытом пузе. Постояв, хмыкали, крутили бородами.

Коли так и дале пойдет, что же будет?

Однако ничего особого не было.

На второй год при малом пожаре в усадьбе сгорел (так сказывали) доезжачего сынок. Его спасаючи. Федор-слуга сильно обгорел, однако, бароном леченный, оклемался. На третьем году синей водой отравилась (так сказывали) бывшего повара дочка. Тут жаловаться — бога гневить. И в деревне то свинья младенца съела (старуха слепая в страду не доглядит), то ло-

шадь копытом, то в болото, а чаще всего горячкою. Повыли, конечно, матери, а отцы рассудили: «Бог дал, бог взял. Барину же Колымскому многие лета». Сам он, как отпевали девку, стоял у гроба. Голова непокрытая — только теперь заметили, что седая прядь ото лба назад.

И снова спокойно потекла жизнь в имении. Мужики уже были богатенькие, от рекрутчины очередной откупились. Многие ставили новые избы, выделяли сыновей. Кое-кто начал на дне сундука под холстами прикладывать рубль к рублю — для вольной.

Барон, ни во что в деревне не мешаясь, опять засел со своими малыми. В них — на тринадцатом-четырнадцатом году — уже была большая отличка от деревенских. Ростом сильно обогнали однолеток. Балуюсь, могли и взрослого побороть. Кверху прыгали, над землей вертелись и опять на ноги. Девки их были не стеснительные. Краснеть, рукавом закрываться — такого от них не дождешься. По крестьянскому делу ребята из усадьбы отстали, но сноровистые. Если чего не знают, показать, и быстро сумеют хоть копны ладить. Главное же — повадка. Стан прямой, шаг легкий, руки точные, ухватистые, разговор свободный, без запинки, скорый. Взгляд тверд.

Родители перед этими детьми уже робели.

Долгими зимами напоздали на Россию снега — от Архангельска до украинских ковыльных степей, — веснами и летом откатывались обратно за студеные моря к обледелым полночным островам, где людям во вечные века не жить. Потемкин-князь ходил воевать турка — двести музыкантов у него в обозе, кордебалет, мимическая труппа, сотня пригожих девок-вышивальщиц, ювелиров два десятка. Усатые гренадеры рыли степную целину, строили подземные залы для балов. Но желаемое свершилось. Последний крымский хан,

Ширин-Гирей, не надеясь на запуганный Стамбул, уступил свои права Екатерине.

Ее благословенное царствование пошло на третий десяток. Всемиловнейше были подтверждены исключительные права дворянства на владение крепостными, с купцов сняли презрительную подать, которая делала их неотличимыми от рабов. Давно еще сказала царица, что желает сделать свой народ столь счастливым и довольным, сколь человеческое счастье и довольствие простираться могут на сей земле. И сделала. Таких подарков история не знала еще — Египту и Древнему Риму не тягаться. Если на европейскую мерку, так целыми странами с населением наградила Григория, а потом и Алексея Орловых, Потемкина. В Зимнем дворце, в особом апартаменте возле спальни, сменяли один другого любимые сыны ее народа. Завадовский был осыпан золотом и бриллиантами, Зоричу жаловала титул графа и обширнейшие земли в Белоруссии, Корсаку, певцу (этот был, правда, иностранец), миллион. Ланского за пылкость — дворцами, деревнями на целых семь миллионов. Сильный Ермолов, юный, нежный Дмитриев-Мамонов и многие иные тоже были не обижены. Десятками и сотнями тысяч мужиков порадовала верных слуг отечества. Каждый при великой императрице благоденствовал. Для статс-секретаря Безбородко в далекой Италии отыскивали красавиц, за большие деньги везли в Северную Пальмиру, и добрые имения отдавал он тем, которые умели его, стареющего, особо раззадорить. Обласканный матушкой-государыней, завел привычку, в «винт» играя на своей даче, залпами из пушек возвещать о каждом ремизе противника. Двоих пушкарей подряд при такой забаве разорвало. Ну и пусть! Бедна, что ли, натурой необъятная Россия? Пол-Европы от нашенских щедрот кормится — целые сосновые леса, вековые дубовые рощи уплывают за границу, золото, серебро, дешевый хлеб — наши-то крестьянишки, господь с ними, поголодают, не привыкать. Но зато слава по

всему свету. Зато у вчерашнего лакея палаты, что не всякому королю, герцогу равняться. И дворянские дети по-французски.

Истинно парадиз.

— Федя, а Федя, бросай кирку!.. Слышь меня, довольно.

— Слышу, Степан Петрович. Да все равно когда-нибудь помирать.

— До этого еще проживем... Кончай. Давай руку, поднимайся, хватит. Нам вообще хватит, больше не надо. Забьем ящик и спускаем к реке.

— ...А зачем деревья все наклоненные? От руды?

— Руда ни при чем. Урманный лес, почва зыбкая... Теперь направо берем — вон она, наша протока. Пропустим, не выберемся отсюда.

— Дикие места, Степан Петрович, жуть. Тут людей небось не бывало вовек. Только зверь.

— Еще загребай. Скоро разлив. Передохнем ночью.

— Какая ночь? Ночи-то нет. Ну, забрались мы, Степан Петрович. Солнце вовсе не заходит. И звезд нет.

— Господа! Господа, чуть не забыл! Новость — барон наш вернулся. Третья неделя, как засел у себя. Опять у него грохот, гром. Дым зеленый поднимался — в деревне видели.

— Вы мне про барона не говорите. Сколько живет, ни визита, ни приглашения. Как будто меня нет. Я такого не прощу.

— Сколько ж его не было?

— Вот, считайте, с февраля. Приехали с камердинером на двух телегах, словно мужики. Ящик привезли отчаянной тяжести. Загорелые оба, черные.

— Как же губернатор такие наглости терпит? Дво-

рянин — и на телеге! А стена? Может, барон фальшивые деньги... Или шпион турецкий.

— Да на что фальшивые при его богатстве? Это уж вы далеко хватили, Гаврила Федорович. Опытами занят. Подобно Ломоносову желает очесами разума проникнуть в утробу природы.

— Эх, Сергей Иванович, у тебя у самого каждый день книжка в руках. А от чтения прилив в голове — всякому известно.

— Все к развращению умов. Детям крестьянским подлым не грамота нужна, а простота и невинность нравов. Опыты! А вот каков он в другой материи, где ревность на богоугодные дела?

— Так-то так, други мои. Но мужик не ленится, по десятине в день скашивает у Колымского. В «Экономическом магазине» про картофель бароном опубликовано.

— Вот и я говорю. Девки у него какие в доме — слух был — рослые, красивые на подбор. Неужели не продаст хоть пару? Я б сотни по три не пожалел.

— По три-то?! За выученных — кто ж вам отдаст. Нынче за рекрута четыреста просят.

— Господа! Господа, довольно! Играть-то начнем ли, нет? Не наше дело другие грехи осуждать, нам бы за свои у бога прощения допроситься... Эй, Петька, карты!

Он проснулся на широкой постели один. Лизавета неделю назад отпросилась в дальнюю деревню к дядьям.

В проеме распахнутого окна светлое небо чертили стрижи, которым скоро улетать. Запах полыни, ромашки снизу из сада — осень.

Нежился, одолела сладкая лень. Вчера уже в полночь, дежурный спросил, когда будить ребят, и получил ответ: «Никогда!» Последние двадцать дней слились на усадьбе в непрерывный аврал. Все ученики и

сам ставили электростанцию. То есть она была уже почти готова — с прошлого августа опытным путем выводили формулы, рассчитывали обмотки генератора, набирали сердечники, мучились с центровкой роторного вала. Но к его приезду все еще лежало в разных местах бухтами провода, лопатками турбины, изоляторами. И хоть мощность всего сотня киловатт, пришлось бросить привычный распорядок. Первые два дня еще пробовал продолжать вечерние чтения, но мальчишки засыпали, даже когда Мольер в лицах. Работы были вроде некрупные, но требующие неотрывного внимания. Проваливалось то там, то здесь — грелась обмотка в моторе, сгорали в лампочках угольные нити. Проверяли и снова брались переделывать. В поисках ошибок девушки оказались выносливее парней, но и они, румяные красавицы, сдали, осунулись к концу назначенного срока. Однако вчера к ночи загудело ровным, вибрирующим звуком, зажегся свет в механичке, уже не людской, а электрической силой сняли на токарном станке ровную стружку...

Солнечные прямоугольники оконной рамы легли на паркет. Часы с бронзовыми амурами прозвонили восемь.

Подумалось, что ребята спят все до одного, но в наступившей тишине ухо уловило дальний рокот... Сережа, «главный электрик», встал, гоняет турбинку.

Иногда он пытался ставить себя на место учеников. Что они чувствуют, просыпаясь утром, зная, что могут изобрести еще никому на свете не известный двигатель, что весь день будут отмыкать дверцы к ошеломляющим и тоже никому не ведомым тайнам природы? Дом, сад, огород, поле, всякая вещь и всякое растение полны загадочной силы, которую, кроме них, открыть некому. Такого не будет у детей его современности — грандиозное городское окружение уже создано умными взрослыми, школьникам остается только учить. Его же воспитанники все сами. И при этом знают ведь, что в соседних

барских домах девушки-кружевницы сидят, привязанные к стулу, что их порют, проигрывают в карты. Но ученики бароновы не озадачиваются собственным положением. Привыкли.

Где-то стукнула дверь. Встают.

Опять начинается. Десятки спрашивающих взглядов. «Степан Петрович, а если окислы железа... Степан Петрович, а когда... почему?» Размеряешь дневное время по минутам, но постоянно, как бы из ничего, возникают новые темы. Вот выйдешь сейчас из спальни, и сразу затянуло в поток, из которого не выберешься до глубокой ночи. Установлено, что с вопросами к нему обращаться только в два послеобеденных часа, а в остальное время расписание. Но не выдерживают — кому действительно надо, а кто из детской ревности. В результате копится и копится гора неоконченного.

Вот он «посеял» для физиков возможность «открыть» радиоволны, а все нет и нет.

Да еще разные пятнышки.

Случайно узнал, что Григорий, бывшего лакея сын, по воскресеньям с родителями вовсе перестал разговаривать, в хозяйстве не помогает, высокомерен. Или, например, с девчонками. Подросли, влюбляются. В него, в своего учителя. То и дело ловишь особый взгляд украдкой, вспыхивают, бледнеют, когда обратишься. И вообще много всякого. Вчерашним утром на стене поймали неизвестного — оказался дворовым князя Соколова-Щербатова. За обедом Алексей сказал, что в пруду за оранжереей всплывает дохлая рыба. Удивлялся, невинная душа — с чего бы?

Глянул на часы. Все еще лежа, отбросил льянную простыню.

Итак, что сегодня, кроме расписания?

Послать письма трем-четырем соседям поважнее. (Кому именно, скажет староста, который все обо всех знает.) «...ради перестройки усадьбы, не имея возможности принять, счастливейшим себя почту...»

Наиболее заносчивых мальчишек прикрепить в деревне к одиноким, больным, беспомощным. Гриша пусть ходит к парализованной старухе прачке. Чтоб обмывал, выносил, чтоб в грязи, в гною. (И самому дать пример сострадания, смиренности.)

Пойманного княжеского дворового отпустить с запиской, будто пьяным подобрали возле дома.

Сделать, чтобы в левом флигеле вибратор Герца работал в момент, когда в правом народ будет возле колебательного контура.

Для физической лаборатории ночью готовить призмы.

Вечером во время чтений вскользь сказать, что юным девушкам свойственно влюбляться сначала во взрослых мужчин, что позже это проходит.

Уран перенести, где нет грунтовых вод.

— О, господи, разве все переделаешь? — вырвалось вслух.

Вскочил, чтобы начать собственную гимнастику — обороты в воздухе, всякое поднимание, ломание своего восьмидесятикилограммового тела.

И замер.

Счастлив!

Именно.

Такого, значит, жаждал всю жизнь — быть всем нужным, ни минуты свободной, заниматься чем-то большим, возможности делать этот мир лучше. Этого, оказывается, ему и не хватало, когда шагал по бесконечным отмелям Пангеи, пробивался в мелу сквозь хмызник.

Как странно — счастлив! Все некогда-некогда, и вдруг узнаешь.

Приближающиеся голоса. (Поспешно накинул халат.) Быстрые шаги.

Двери распахнулись. Толпа.

— Степан Петрович!..

— Степан Петрович, контур искрит!



— Без тока, Степан Петрович! Неужто поле столь далеко себя раскинуло?

Так легко уходят травы назад и даже обманчиво вниз, если на молодом, застоявшемся жеребце. Кажется, будто в гору и в гору.

Впрочем, конь-то не слишком застоялся. Федя вменил себе в обязанность проминать баринова жеребца по часику на зорьке. Интересно, что друг-помощник сам придумывает работу, сам установил свой режим. Бывает, о чем-нибудь распорядишься, а Федя с легким упреком: «Да что же, Степан Петрович, я еще позавчера. Как можно?»

На мягком шляху придержал коня. Опускалось солнце над лесом — уже не больно было смотреть на его нежно краснеющий лик. Тихо. Природа замерла. Не шевельнется листок душицы под ногой. Бабье лето.

В физической лаборатории оставил ребят шумно обсуждающими обнаруженный феномен. (Алексей с ними, чтобы провести чтение.) А сам в деревню. И как-то занесло в сторону, сюда, на пригорок, прорезанный шляхом.

Позади чистые березовые и зеленоствольные осиновые рощи. Впереди поле, за ним лес могучими синими уступами. Кажется, будто ты на самой середине земли.

Неожиданно заперло дыхание. Мелькнул у леса светлый сарафан.

Лиза!

Нет, никак. Она же не пойдет, поедет.

Усмехнулся. Обязательно разве ему самому к старости? Можно было послать, просто дожждаться завтрашнего дня, когда явится. Это предлог. На самом деле измучился — ведь на два-три дня, сказала. Поэтому и приехал сюда, надеясь увидеть облачко пыли на дороге.

Тронул коня стремями.

Ах, Лиза, Лиза! Что-то в ней первоначальное и во внешности и в характере. Она словно вода, цветок — нечего добавлять. Кажется, будто природа трудилась из поколения в поколение, вытачивала овал лица, искала рисунок бровей, линию груди, талии, чтобы создать эталон понятия «женщина». И в Лизе достигла наконец. Каждая клеточка ее тела желанна, любое движение законченно, полно спокойного достоинства. Гармонична в любом деле, ее бесконечной женственностью можно любоваться всегда, глядеть, не уставая. И жаждешь ее отчаянно и в благоговейном трепете стесняешься своего желания, себя ощущая рядом с ней каким-то ненатуральным, сделанным.

Еще раз окинул взглядом длину уходящего шляха. Ничего. Тишина.

Уже на закате, пропустив деревенское стадо, спустился с верха у старостиной, крытой новеньким тесом избы. Давно не был здесь на улице, порадовало, как обстроились мужики за последний год — развалюх ни одной.

Приезд негаданный. Ефим Григорьевич едва успел выскочить на крыльцо, встретить.

Вошли, и сердце крупно, бегло забилося.

С хозяйскими дочками за длинным столом Лизавета.

Перед женщинами груда грибов, в руках ножи.

На миг растерялся. Поздороваться спокойно, показывая, будто не удивлен, знает о ее возвращении? Или как?

Она встала. Вспыхнувшая, как бы уличенная и рассердившаяся на себя, на него за это чувство. Бровистрелы нахмурены, на белое чистое лицо бросилась краска, глаза отчужденно, строго вниз. Поклонилась.

— Здравствуй, Степан Петрович.

В избе лоняли неловкость. Староста засуетился.

— С ночи, барин, девки отпросились по грибы. И вот Лизавета Васильна с ними.

Час от часу нелегче. Вчерашним вечером уже была здесь.

— Ну-ка, бабы, шустрой. Барину боровичков, черных, зажаристых.

В груди заныло безнадежностью. Только не показывать, как его ударило.

— Благодарствую, Ефим Григорьевич. Трата времени велика.

Отойдя со старостой на чистую половину, наскоро объяснил, какие лесины пилить для парового котла, в двух словах насчет соседей. (А что спрашивать, сам не наслышался ли о каждом за четыре года?) На крыльцо и в седло.

Конь взял высоким, пружинящим галопом. Через поле, мимо брошенной усадьбы Аудерского — тут бы и сделать дом-пансионат для престарелых, да все руки не доходят... Хотя, о чем он думает, избегая главного? Давно старался от этой мысли отделаться, но там внутри, на задних дворах сознания, она постоянно.

Не задалось. Только месяц было обоюдной любви. И словно отрезало, когда начал школу для ребят. Не доверчивый взгляд, удивление, сутки за сутками ни слова.

— Что ж ты все молчишь, Лиза?

— Для того, что стану вздор врать, тебе наскучит. Гораздо умен.

Твердо отказалась учиться грамоте. Из гордости — сначала он подумал. Но позже выяснилось, что не так.

Почти незаметную усмешку он стал замечать, когда разговорится в ее присутствии. Будто она прозревает неправду в нем, какую-то незаконность, фанфаронство. Будто женственность как высшая мудрость природы дает ей понять тщету и мелкость его желаний. (Но ведь не мелки же они! Ни в коем случае не о себе он раде-

ет — уйдет в сторону, откроется, в конце концов объяснит все потом.)

Так или иначе был он ей мил, когда увидела, что новый барин в отличие от Смаилова не сладострастник-распутник, изверг-мучитель, карточный игрок и охотник. А стал выказываться сверхчеловеком, все обрывалось. Уже года полтора он чувствует, что ласки его ей не в радость. В последние же месяцы под разными предложениями и совсем стала в близости отказывать: нездорова, устала, да не тот день и грех.

Конь уже шагом. Забелелась стена.

Навстречу тропинкой фигура.

— Алексей?..

— Я, Степан Петрович. Дозвольте отлучиться. К старосте зван на грибы. Ребята спят.

— Да-да, иди.

Вспомнилось, что завтра праздник, какой-то очередной «спас» — не грибной ли?

Актёр уже уходил, растворялись во мраке копна светлых волос, светлая рубаха.

Вдруг самого сбросило с коня.

Алексей на грибы к старосте! И там Лизавета. Неужели свидание?

Сжались кулаки, скрипнули зубы. Броситься вдогонку, схватить, сокрушить?

Шагнул вперед. Остановился — с ума сошел, дурак! Даже если бы и в самом деле, какое право...

Не говоря уж о том, что невозможно. Не такие люди. Это как Земле упасть на Луну. Как мокрая сухость. Противоречит законам природы.

Но любовь, чувство — это вполне может быть. Перехватил же он с полгода тому Лизаветой брошенный на Алексея взгляд — так на него самого никогда не смотрела. А тот заикается, когда она рядом, хотя учитель и дикции и акции.

Прежде этому можно было не придавать важности, а теперь оно объясняется.

И если он по-настоящему человек...

Схватился за горло. Как же он проведет эту первую ночь, уже понимая? Как не стонать, догадываясь, что не он, другой обнимет белые плечи, станет целовать глаза — то темные, то голубые?

Давно это все накапливалось и вот пришло.

В отчаянии, кусая губы, заходил взад-вперед.

Значит, опять одиночество.

Упал в колючую стернь, перекатился, царапая руки, лицо. Почему? За что ему такая судьба?

Вскочил.

Бежать!.. А куда?.. От этого не убежишь.

Опустился на сухую комковатую пашню.

А есть, наверное, за что. Кража хотя бы. Столько унес из своего времени, не лично им добытого. Впрочем, разве он вообще добывал что-нибудь там, в начальном периоде своего бытия? Постоянно в полусне. Подтолкнут — шагнет. Выучили его, переходил с другими с задуманного проекта на проект пассивным исполнителем, вечным иждивенцем. Однако при всем том в восемнадцатый век явился гордо. Словно зрячий в страну слепых.

Катились минуты, он сидел, вспоминая. Много, много их было — моментов, когда небрежно, свысока третирует тех, кто на двести пятьдесят лет младше. И когда из острога бежал, и с разбойниками, со Смаиловым, Аудерским. Как ведь распетушался, какого Зевса-Громовержца играл, характер показывал. Или здесь, в имении. Разве он не высший авторитет — незаслуженно? Свою силу и знания едва не начал ставить себе в заслугу. (Но какие знания, если отнять, что из будущего принес?) Спасибо, что еще не присвоил стихов Пушкина. Пожалуй, эффектно было б — на приеме у матушки-государыни отставить этак ножку, руку вперед и «Навис покров угрюмой ночи...».

Вот за это — за равнодушие там, в Мегаполисе, за комедиантство тут, в эпоху «Екатерин Великия».

Поднял голову.

Да, мой милый, умнее надо быть, скромней.

Итак, снова без любимой, без семьи. Одно лишь остается — исполнение долга. В этом, правда, тоже величие. Причем странно доступное всем на земле.

Всплыла луна. Будто голубым, светящимся пеплом засыпалось широкое поле. Невдалеке брошенный конь встряхивался, звякал уздечкой. На усадьбе, погруженной в сон, тишина.

Вздохнул глубоко.

Но ведь в прежней холодной пустой жизни не было у него мучений отвергнутой любви.

И, может быть, эта режущая боль — тоже счастье?

Лето-зима, лето-зима. Еще прибавила блеску северная столица Санкт-Петербург. Входили в моду у дам короткая талия и тюрбан. Посланник Франции маркиз де ла Шетарди с дипломатическим багажом привез шестнадцать тысяч бутылок шампанского, оно понравилось при дворе. Привыкали также пить кофе, конфетами угощаться. По небедным домам на столах новинка — самовар. Генерал-фельдмаршал Григорий Александрович Потемкин обдумывал вселенского размаху план — Оттоманскую империю уничтожить (турков во все из Европы долой), создать Греческую с великим князем Константином на престоле. Потемкин же в качестве «главного командира Новороссии», кто «степи населил, устроил», распорядился художникам ставить на юге декорации городов и деревень — чтоб издали будто настоящие. Матушка-царица, желая Дашкову успокоить, предложила ревливой к славе подруге юности председательствовать Академией наук и искусств, в ответ получивши досадливое: «Назовите меня председательницей ваших прачек!» Ходили гнусные наветы на государыню, будто она — сама чужой, нерусской крови — убила ради власти двух законных императоров: мужа

и молодого Иоанна Антоновича. Тут уж приходилось Шешковскому, старичку, в подвалах Тайной канцелярии с помощью дыбы и раскаленных клещей усовещивать клевветников.

Бухнуло над империей, словно в колокол, еще два года. Подходил к зениту золотой екатерининский век.

Нехороший день. Нет у него теперь любви к воскресеньям.

Плотной набитая делами неделя проскакивает мгновенно, едва успеваешь вдохнуть. А воскресное время — обуза. Тщишься избыть, а все далеко и далеко до вечера.

Неожиданно оно получилось. Ребята стали девушки и юноши. Влюбляются, ссорятся, дружат. Их тянет к самостоятельности, уже не осаждают учителя со всех сторон. Читки пришлось отменить, плохо слушают, записочки из одного конца зала в другой. Больше у них интереса стало самим жить, чем про иную жизнь. А в праздники компаниями в лес, парочками в саду по аллеям.

Вот и непонятно, куда себя девать.

Уход Лизы пережилась. Боль усохла. Уже не половодьем бурным взад-вперед по всему пространству души, а железочкой затаилась. Не трогать — не откликнется. Сразу после свадьбы Лизавета отпросилась с Алексеем в деревню, на рядовой надел. Крестьяне — пахут и сеют. Ему как-то легче оттого, что любимая пошла на простую жизнь: огород, скотина, поле. Когда вспоминаются первые счастливые ночи, захватывает страсть, старается перевести мысль на общее. Жалеет, что у молодой семьи тоже нет детей, что не повторятся, навечно потеряны для мира удивительный Лизин магнетизм, гордые, строгие повороты головы.

Но пусто без боли.

На усадьбе новый этап. Производство — лаборато-

рии постепенно превращаются в цеха. Всюду технические сложности, заедает недостаток знаний у него самого. Увы, не все обо всем вложили там раньше, в школе! Воспитанники — личности. Кто-то определился в качестве практика, другой — мыслитель, с которого не спросишь прибора, приспособления. К каждому и к каждой особый подход. Иногда охватывают сомнения — не слишком ли много захотел поднять.

А вчерашний случай?

Поздним вечером Федор сообщил, что возле стены видели незнакомца. Мужики возвращались от травяной ямы (силосной) мимо усадьбы. На закате в леске напротив стены фигура. Ближе подошли, она — в кусты и пропала.

Слежка?.. Долго его, охраняемого милостивым расположением царицы, не трогали, но, видно, кто-то из помещиков и про стену, и про дым зеленый, и про все его поведение в Петербург донес. На самый верх не дошло, а где-то пониже решили проверить.

Значит, опять дополнительные хлопоты. Оправдываться, объяснять, если уж очень прижмут, а пока что усилить охрану, по стене провести сигнализацию.

Но как-то энергии нет. Упадок. Будто гнетет что-то, и душа ожидает нехорошего.

Особенно по воскресеньям.

С утра слонялся по опустевшему зданию, ни к чему руки не прикладываются. Отпер химический кабинет. На полу валяется кислородный баллон, на столе кучка термитной смеси, горелка. Вчера, как закрывали, ничего такого не было. Выходит, сделали ключ, ночью кто-то работал. Зачем?.. Ага, маленькие рубины. Вот, оказывается, откуда у девчонок сережки с красным камнем.

Вошел в соседнюю комнату анфилады, где на большом тяжелом столе сегодняшняя общая и его личная гордость — двигатель Бурро для будущей повозки качения. Трудов было заложено неопишимо: для обмоток



стартера всеми наличными силами неделю вручную изолировали проволоку особо изготовленной смолой, для сердечника учились прокатывать стальные листы толщиной в волос, специальный фарфор пошел на основу.

Тут же рядом на столе метановый резачок. Автоматически взял изящный пистолет, включил. Голубоватый бесшумный огонек выткнулся из дула. Резаком этим кто-то тут резал звенья для цепи главной передачи.

Рука вдруг сама потянулась к двигателю. Огонек пошел по рубашке охлаждения, стали сгибаться, слипаясь, ее трубочки. Выше, к распределительной крышке. Она сразу осела, расплавляясь, провода подгорали, распадались.

«Что я делаю?.. Что?!»

А рука шла дальше.

Запахло горелой смолой и резиной.

Опомнившись, отбросил резак, недоуменно уставился на двигатель. Канавка-след тянулась от рубашки через стартер к шарам балансира — перечеркнула. А ведь по точности, по тонкости работы двигатель знаменует собой новый уровень для его воспитанников.

Хорошо еще, что не сжег обмотки.

Вздохнул, покачал головой. Что-то с ним происходит, надо успокоиться.

Сунулся было в библиотеку. Возле окна двое отпрянули друг от друга.

— Доброе утро, Степан Петрович!

Глаза нахально врут, что, мол, очень довольны его видеть.

Притворился, будто и не собирался здесь читать, что только за книгой.

Из большого зала негромко клавесин. Войди, радостно поздороваются, а потом неловкое молчание, оживление.

Уходят, уходят от него мальчишки и девчонки. Теперь удержишь только важным, огромным делом, для

которого еще не пришел срок, ибо пока не все подготовлено.

На конюшне жеребец коротко проржал, тыкаясь в руки мягкими ноздрями. Вот кто ему по-настоящему рад.

Через поле наперерез, тропинкой сквозь кустарники. Ольха, лещина, низкий березняк, шелестя, задевают ветками об ноги. Вздываются поднятые копытом облачка луговой травяной пыли, бабочки завязывают над цветами свой трепещущий танец, в голубизне неба щебетание ласточек, синими парчовыми уступами опрокинулся под солнцем дальний лес.

А он ни разумом, ни телом не наслаждается этой красотой, этой прелестью.

Что за странность эта сегодняшняя тоска! Почему неуютно стало в собственной (условно, формально собственной) усадьбе?

Может быть, не только в усадьбе, во времени? Может быть, он и этому веку не пришелся?

Страшная мысль.

Неужто человек так накрепко прикован... нет, внечен в свою эпоху, что ему в любой другой не выжить?..

Ровным галопом конь вынес на белый шлях.

И тут неожиданная встреча.

Вдали телега. Два верховых по бокам — как бы охрана.

Съехались. На соломе трое связанных. Побитые — в синяках и царапинах. А с вожжами и верхом свои, со Смаиловки. Одного не раз видел на пахоте, на сенокосе. Второй известен даже по имени — Прохор. И еще хилый, подслеповатый мужичок из тех говорливых, кто во всякую бутылку затычкой.

Дружно скинули шапки. Подслеповатый соскочил с передка.

— Куда?

— В уезд, батюшка. В присутствие некрутов везем. Тихон Павлович там, ожидают.

— Вот эти, что ли, рекруты? Наши разве?

— Оборони господь! Купленные. Миром собрали тысячу рублей. — Это Прохор.

Подслеповатый вперед.

— Вот маемся с имя. Все силы-меры, чтоб не сбежали. Потому как бегать им теперь не придежит.

Один из связанных попытался сесть. Таращит глаза.

— Кто их бил?

— Сами, государь, сами. Пьянь... Передрались, гуляючи.

Связанный что-то промышал. По шее засохшая кровь от надорванного уха.

— Развязать, вернуть в деревню. Ты (кивнул Прохору) скажи в уезд. Управителю скажешь, вечером его жду.

Повернул коня, шагом, не торопясь, обратно.

Вот это номер! Слышал, конечно, о такой практике. Отыскивают бродяг помоложе. Дают денег, чтобы погуляли. В воинское присутствие крупную взятку, и под конвоем в город на четверть века армейской кабалы.

Странно все это. В высоком небе хор жаворонков, из-под снежных сугробов звенящие ручейки, воздух — хоть пей его. И в эту светлую весеннюю пору едут на каторгу трое связанных, побитых, которые за вольное вино, возможность неделю сытно поест, покуражиться, ото всего человеческого отказались.

Поехал по деревне. Мужики там и здесь кучками. Завидев его, поярковую шляпу проворно в руки, низкий поклон. А попробуй узнать, о чем же только что толковали, принять участие в беседе. Ни за что!

Возле распахнутых ворот большого овина детвора. Изнутри хор женских голосов:

Кому вынется, тому сбудется,  
Тому сбудется, не минуется...

Подъехал, соскочил с коня. Ребятишки врассыпную. А ведь, кажется, не жесток.

Просторное помещение полно принаряженной моло-

дежи. Парни в распахнутых тулупах вокруг Федора. К нему мелким шагом в такт песне девушка. Под ладно сшитой шубкой атласом отделанный сарафан, черные кожаные коты на ногах. Коса во всю спину.

Его не сразу узнали против света. Хор вразнобой умолк.

Федор бегом.

— Слушаю, Степан Петрович.

— Вы продолжайте. Я так, посмотреть.

— Да на что смотреть, Степан Петрович. Глупостями занимаемся.

Красавица в шубке скорее к другим девкам. И все жмутся подальше от барина к прошлогодним снопам у стены.

Постоял несколько секунд.

— Приедешь на закате. Староста пусть тоже.

Снова раскинулись пустые луга.

Эх, жизни! В прежнем, первом бытии так мечталось сделаться умнее всех, сильнее, знаменитым. Чтобы умолкали, и внезапная тишина, когда входит. Вот сбылось, а он теперь хочет считаться за своего, равного.

Дурное настроение.

Пообедали вдвоем с «физиком» Сережей. Тоже не компания. Еще год назад не отбиться было от его вопросов. А тут отстраненные глаза, бледен, молчит, весь в себе. Влюбился, бедняга, а девушка сохнет по красавцу Григорию.

Прогулялся в парке. Все не кончается и не кончается воскресенье.

Сел на скамью в заросшей плющом беседке возле пруда — почистить бы его, показать ребятам настоящее спортивное плавание. Да где там, не дойдут руки...

Сзади на аллее голос:

— Неужели тебя не мучает? Откуда учитель знает все?

Сжалось все тело. Мучительно захотел стать маленьким, влететь в щелочку, скрыться.

— Он знает, Гриша. Чувствованием проник в природу больше всякого.

— Не только чувствует — в том-то и дело! Пусть испытание натуры — еще можно понять. Но он-то сразу готов на техническое решение. Видит процесс с такой точностью, что лишь в ходе выскочит. Что зависит от свойств естества, людям еще не известных. Мы прежде мнили, будто своим умом постигаем устройство мира. Но то был обман. Он все знал загодя. Потому я и мыслю, что он бог.

— Не горячись! Ну что ты так зычно, Гриша?

— А ежели бог, это подло. Богу не место среди людей. Коли у него безграничное знание, на что он с нами, со смертными, соревнует? Когда все наши открытия — подсказка, мы, выходит, куклы.

Ушли.

Выпрямился на скамье, огляделся.

Обваливается высокая башня его трудов. С грохотом, звоном, рассыпаясь в падении на куски, рушится великий план.

Слишком, значит, легко все давалось — быть сильным, умным, щедрым. И за эту легкость всему чужой. Для крестьян небывало добрый, но все равно барин, враг. А воспитанники — вот этот разговор.

Поднялся со скамьи, вдруг шатнуло. Плечом на выходе из беседки задел косяк, так что доска, наполовину оторвавшись, повисла.

И сразу взрыв. С неожиданной злобой схватил, оторвал, кинул на траву. Вцепился в другую, верхнюю, тоже оторвал и бросил. Стал отдирать плющ от деревянной решетки, вывернул ее всю из рамы, ударил об землю, развалил.

Сердце вдруг судорожно забилося в груди. Замер, прислушиваясь. Потом встряхнул головой.

Почему он так вот с беседкой? Перед этим в доме двигатель разрезал, и здесь как прорвалось что-то, давно копившееся. Неужели возненавидел все, созданное

за эти годы? Вернее, не сейчас возненавидел, а всегда. Всегда подспудно. Неужели это так? Что-то делал — хотя бы разбойников, на него напавших, раскидал, связал, а потом развязывал — и гордился этим. Сам внешне гордился, а внутри, в самой глубине жило ощущение, что все лживо.

Но почему лживо? Разве не он, а кто-то другой за него месяц плыл океаном, не зная, не представляя себе, есть ли земля там, дальше.

А здесь, в восемнадцатом веке, во зло, что ли, употребил силу и проворство?

Может быть, раздвоение началось, когда стал учить детей, взялся выполнять задуманную программу? Но, положив руку на сердце, не было тогда раздвоения! Наоборот, был безоглядно счастлив, и ничего не таилось в самых глубинных слоях сознания, в самых укромных уголках.

Да и с другой стороны, чем же ему было заняться, раз уж сюда попал — в карты играть, гарем завести, как Смаилов?

Все вопросы, вопросы. И нет ответов.

Рывком поднялся со скамьи, сердце сразу вскачь, и полная обессиленность тела. Руки-ноги ватные — как никогда.

Постоял, утишая стук в груди. Побрел, едва переставляя ноги, к главной, парадной части парка, к фонтану, заброшенному, давно не действующему. На открытом месте солнце уже пекло, желтизной сияли вазоны, статуи нимф. Обветшалым, как на полотнах Борисова-Мусатова, стоял родовой дворец Смаиловых. Однако только снаружи. Стены крепки, и долго ему еще стоять.

Выходит, восемнадцатый век оказался сильнее того запала, той груды знаний, что он, Стван, принес сюда из Мегаполиса. Получается, напрасны шесть лет бессонных ночей, выдуманная им система учебы, вечерние читки, седина в волосах.

Куда же теперь деваться? Опять никому не нужен.

Кольнуло сердце — неожиданное ощущение, какого прежде не испытывал. Дернуло ветром — или ему почудилось? Сдвинулась голубая декоративная елочка у мраморной террасы — или сознание мутится?

Помотал головой, строго глядя на елку. Стала на место.

Прошелся вокруг фонтана.

Эх, очутиться бы сейчас на отмелях кембрия! Одному, загорелому. Без ответственности, без проблем. Чистая глубина неба, в теплой воде радужная медуза поднимает свой парус, перламутром блещут россыпи раковин. Шагал бы и шагал, вольный, к уходящему горизонту...

Звук-удар донесся слева. Приглушенный, как бы изпод земли.

— Неужели?!

Замер, прислушиваясь.

Еще хлестануло ударом. И тут же целая серия их.

— Сделали!

Свежестью обдало лицо и шею. Расправил плечи.

Значит, добились белокрысые мальчишки-механики. У него не получалось, сам стал в тупик. А они смогли. Ну, молодцы, золотые руки! Он-то думал, все гуляют по воскресеньям.

Снова серия. Длинная.

Усмехнулся. К черту печаль! Ничего страшного не происходит. Да, кое-кто из ребят сомневается. Но переломный возраст. Первое закономерное разочарование во взрослых, свидетельство собственного возмужания.

Напрасно он так ошеломился в беседке. Просто сам не в форме, да еще праздничный пустой день. Но дело идет, выполняется то, что задумано.

Сразу энергичный, крепкий, гибкий, скорым шагом к левому флигелю, чтобы обогнуть его и с той стороны в подвал, где стрельбище.

И остановился, будто сзади веревкой дернуло.





Но ведь руки-то просятся ломать, жечь.

Необъяснимо! Разум говорит одно, а интуиция наоборот. Зовет уничтожать, что ребята сделали. И требует, чтобы скорее. Не медлить. Как на пожар.

Вдруг снова в сердце. Даже не укол — кинжалом.

Неожиданный ветер дернул, вверх, столбом закрутил с аллеи черные прошлогодние листья.

И этот столб идет к нему.

Справа налево понеслись мраморные нимфы, позелевший купидон в центре фонтана, лестница на террасу. Помчались в быстром вращении. Глянешь на купидона — остановится. Чуть отпустил взглядом — снова понесся. В воздухе вдруг возникло узкое, белой пылью лунного света присыпанное лицо с темными провалами глаз — серебряный человек. Галлюцинация, конечно!

Мир мчался вокруг него все быстрее — уже не останавливать. Стван чувствовал, что и его сейчас понесет. Грудь, живот, плечи стали легкими, несуществующими.

Спросил себя — может быть, так умирают?

## СУДЬИ

— Где я?.. Вернее, когда?

— Никогда.

— Вы, наверное, сами думали о том, что напоминаете бегуна, большую часть пути тайно от других составителей проехавшего на машине. У вас невероятный гандикап. В вашей власти знания двухсот лет развития человечества. Обладать таким сокровищем — само по себе злоупотребление.

Стван только кивал.

— Вам нет равных. Ваше присутствие унижает каждого. Посмотрите, когда вас нет, Федор герой среди деревенских. Вы пришли, он становится маленьким.

— Я это понимал. Я старался...

— Мы знаем. Собственно, вас никто не обвиняет. Мы просто обсуждаем положение... Вероятно, по-друго-

му и не могло быть. Сама ситуация ненормальна. Наш промах, не были взвешены последствия. Вы хотели в прошлое, суд пошел навстречу. А позже некоторые стали рассматривать это как эксперимент.

— При вас люди умолкают. Вы замечали?

— Ну да, — Стван опять кивнул. При нем и раньше, в той прежней жизни, умолкали. Впрочем, сейчас упреки не трогали его. Оравнодушел к собственной судьбе. И как будто знал в себе присутствие чего-то такого, чего не отнять никаким новым приговором.

— Мы отдаем вам должное. Вы не распускались.

Судьи сидели за длинным столом, и Стван тут же вместе с ними. Напротив председательствующего.

Разговор продолжался. Вне времени. Не идущий в зачет веков. Было очень спокойно, обыденно. Похоже на рядовое совещание где-нибудь в институте, когда не слишком дают насущные проблемы, и можно спокойно побеседовать.

А кругом сложнейшая громоздкая аппаратура Защиты от Времени, из-за которой огромный зал казался тесным. За трубчатыми стенами ничего — период до рождения Вселенной.

Судьи были те же, кто тогда участвовал. Стван помнил их. В отличие от него самого их вовсе не составило за минувшие десять лет. Такие же, как были.

Все непрофессионалы. Только на председательском месте Юрист.

Сейчас вступил Инженер — узкое лицо, большие глаза.

— Подождите! Давайте установим, что именно мы будем рассматривать — судьбу вот... осужденного?

— Вы следили? — спросил Стван.

Инженер с некоторой неловкостью улыбнулся, пожав плечами.

— Приглядывал.

— А почему этот костюм — серебряная обтяжка?

— Защита, больше ничего. Я совсем ненадолго к вам

спускался, всего лишь на часы и только два раза. Костюм, чтобы не набраться микробов холеры, оспы, не перенести сюда. — Повернулся к председателю. — Так что предмет обсуждения — Стван или судьба России, даже человечества?

— В известном смысле, — сказал Социолог, — это одно и то же. На прошлом заседании подсудимый жаловался на отсутствие борьбы в нашей современности. Действительно, есть целые слои граждан, которым вообще не приходится бороться, и с этим явлением надо развернуть борьбу.

— Отвлекаемся. — Председатель остро посмотрел на Ствана. — У вас в подвалах усадьбы испытывается автоматическое оружие. Предупреждаем, что это очень серьезно.

— Позвольте мне закончить, — вмешался Социолог. — Мы сейчас вернемся к тому, о чем вы говорите. — Повернулся к Ствану. — Но дело-то в том, что вы своей школой и мастерскими как раз уничтожаете возможность борьбы и деяния для целых поколений. Фарадей, Баббидж, Менделеев — им уже нечем будет заняться. Придавлено вдохновение гениев, а заодно и тех миллионов, кто добавлял, совершенствовал. Тесла не станет ломать голову над своим трансформатором. Человечество получает все даром...

— А Пушкин?! — перебил Филолог. — Не будет Пушкина, вы представляете себе! Ни Пушкина, ни декабристов, ни Герцена... Кошунственно! Люди оказываются обворованными на самые прекрасные страсти и жертвы. Вы берете себе все, что за два века создано напором мысли, страданиями сердца, подвигом.

— Не себе.

— Хорошо. Для других. Мы знаем. Но через себя. А в результате то же, что было. Только хуже, потому что вы все огрубляете, примитивизируете — как пересказ классического романа в учебнике.

— Более того, — поднял руку Философ, — задуман-

ное вмешательство в историю, в характер и порядок движения материи так велико, что неизвестно, возникнете ли вы лично при новом ходе истории. Нет наконец уверенности, что против такого посягательства не восстанет само Время. Только теперь нам становится понятно, насколько тонок его феномен. Вдруг черный взрыв, и нет ничего.

Стван встал.

— Но крепостное право. Кто не жил в екатерининскую эпоху...

— Позвольте, позвольте! — Тонколиций Инженер радостно заулыбался. — Восемнадцатый век не так уж обделен. С юной энергией Россия выходит на мировую арену, фрегаты поднимают паруса, при громе пушек идут полки. Полтава, Кунерсдорф, Чесма, Кагул... А искусство! А русские женщины! Вспомните, как Виже Лебрен описывает русских женщин той эпохи.

Что-то детское было в этих судьях — теперь после промежутка в десять лет Стван почувствовал. Люди, которые не переживали голода, боли, страха смерти, разочарований.

— Я не об этом, — сказал он. — Да, великие достижения в мире за двести пятьдесят лет. Но колонизация Азии, Африки, мировые войны. Неужели все эти муки не перевешивают поэмы «Мертвые души»? Собственно, Гоголь и писал затем, чтобы все, изображенное там, исчезло. Мне удивительно, что человечество, имея наконец возможность влиять на прошлое, не воспользуется ею. Разве мало давила тяжесть зла, павшая на прежние поколения?

— Это обсуждается, — сказал Историк. (Он был повзрослее других.) — Вопрос сложен. Отвращая, например, две уже случившиеся мировые войны, мы можем породить три новые.

— А диктат материи? Жуткий первобытный эгоизм живой клетки, который уже при новом строе противостоял всем усилиям государства, рождая ложь, карье-

ризм, воровство. Или сама природа, космос, Вселенная? Их непредсказуемый и вовсе не спровоцированный человечеством бунт. Катастрофическая передвижка земной коры, кометы, массами бомбардирующие Землю, Звезда, наконец, опасность Звезды! Ведь это уже террор со стороны материи — взрыв сверхновой вблизи Солнечной системы... Я хотел приблизить контроль.

— Вы его отдадите. — Историк повернулся вместе с креслом к большому экрану за своей спиной. — Нами просчитано несколько вариантов развития после того, как вы объявите отмену крепостного права. — Он защелкал клавишами и кнопками.

На экране мелькали сцены одна за другой. Слишком быстро, чтобы понять.

— Подождите... Это что?

Высветился парк возле здания, где Стван когда-то смотрел, взобравшись на дерево, в окно бальной залы. Поваленная статуя, зарево пожара на дальнем плане. Два лакея обшаривали лежащего на аллее человека в камзоле — Стван узнал владельца усадьбы, полного краснолицего брюнета. Один из лакеев на что-то оглянулся позади себя, поспешно выпрямился, отскочил в сторону.

— Кто?.. Соколов-Щербатов, князь?

— Не помню. — Историк перебирал клавиши. — Да, кажется... Дворянство будет практически истреблено.

Возникло поле сжатой ржи, все усеянное трупами людей, коней. Высокие гренадерские шапки, драгунские ружья. Был вечер, в небе с криками кружилось воронье.

Историк задержал кадр.

— Первая большая битва. Здесь вы расстреляли драгунский и кирасирский полки. И три батальона гренадер.

— Много таких битв?

— Много. Екатерина догадалась объявить вас Анти-

христом. Техника, которой вы владели, доказывала народу справедливость этого утверждения.

— И кто побеждает в конце концов?.. Мы вошли в Петербург?

— Империя, во всяком случае, рухнула. Екатерина со двором бежала в Пруссию, но умерла по дороге.

Историк быстро менял картины. Мелькнули объятые пожаром деревни, большое поле, где рожь вперемешку с молодым кустарником, горящий Невский проспект.

— Вот это важная сцена.

Стван шагнул ближе к экрану.

Незнакомая площадь перед храмом, вся забитая народом. Помост, устланный коврами. Красного бархата кресло, в котором мужчина. Колокольный звон и дым пожарищ. (Стван заметил, что толпу на площади удерживают, теснят ближе к помосту вооруженные.)

— Сделайте крупнее.

Теперь помост был виден вблизи. Худой изможденный человек с короной на седых, растрепанных ветром волосах что-то злобно говорил стоящим тут же людям с автоматами — каждая фраза подчеркнута резким движением руки. Взгляд подозрительный, злой, на щеках красные пятна. От носа глубокие морщины к тонким губам.

Историк подрегулировал звук. Резко ударило слитным гулом толпы, топотом, даже как будто запахом гари. Донесся обрывок фразы:

«...угольных пригонят, не сплющать...»

Затем на все звуки наплыл всеобнимающий медный вал колокола.

— Узнаете? — спросил Филолог.

— Я?.. — Стван отшатнулся — Неужели я?

— После сражения с поляками под Тулой вы решите принять царскую корону.

— С поляками?

— Польша отделилась в девяносто четвертом. И сразу начала интервенцию. Турки тоже хлынули на Украину. Остановились перед Царством Войска Донского — дальше казаки не пустили.

— Ваших сподвижников, — сказал Юрист, — остается все меньше и меньше. Несколько человек были убиты в разных губерниях, когда развозили манифест. Ну а некоторые будут казнены вами же.

— ?

— Хаос в стране. Два десятка учеников оказались каплей в море, тысячи нужны были, десятки тысяч. В результате повсюду новые вожди, борьба за власть, грабежи, поджоги, а потом голод, эпидемии, иностранные войска, религиозные течения и секты одни против других. Заросли поля, население за два года сокращается почти наполовину. Перед этим обвалом проблем начинается раскол в среде ваших учеников, кто-то отпадает.

Историк пустил следующую серию кадров.

— А дальше? После Тулы.

На экране мелькнуло что-то яркое.

— Что это?

— Один из вариантов. Перед битвой за Киев, чтобы не губить людей, вы решаете устроить демонстрацию — на Русановских болотах взорвать атомную квант-бомбу. Потом приказ отменяется, но Григорий, давно задумавший отделиться от вас, поднимает бомбу и взрывает на большой высоте. Людьми было воспринято в качестве конца света. Массовые самоубийства, десятки тысяч бросали хозяйство, шли в леса.

Он поднял руки.

— Хватит! Мне все понятно.

Историк выключил экран.

— Да вы успокойтесь, — сказал Философ. — Этого же ничего не происходило. Расчет машины, видение, мираж. А на усадьбе у вас все пока тихо... Вот выпейте воды.

— Да... А вот как мне теперь — просто жить? Существовать в прошлом, как трава, как улитка, ни во что не вмешиваясь?

— Решайте. Мы полностью полагаемся на вас.

## ПРОЩАНИЕ

Какой же то был вечер!

В двусветном зале бронзовые грифоны держали в лапах восковые свечи. На столе фарфоровый сервиз, хрустальные бокалы, ножи и вилки золоченого серебра, бутылки из княжеского много лет не отпиравшегося погреба, ананасы, апельсины из оранжереи, срезанные цветы в вазах.

Двадцать восемь мальчишек с девочками и он сам.

Как хорошо знал каждого и каждую. Все в разное время болели, ранились, жглись во время опытов, со всеми были переживания. Теперь на лицах сменялись удивление, боль, задумчивость. Но отвращения не было.

— И вот он — я! Обыкновенный человек.

Долгое молчание. Они не переглядывались. Наконец Гриша сказал:

— Нет, Степан Петрович. Обыкновенных мы знаем — их тут много по усадьбам, про них известно. А вы делали нас.

Все глаза потеплели.

Стван вздохнул освобожденно. Далеко еще было, к счастью, до того помоста на площади, до атомного наводящего ужас просверка в небе.

Взял бокал. И они все тоже подняли, чтобы впервые в жизни коснуться губами вина.

Лилась через усилитель мажорная соната Генделя — специально этой зимой приглашали из Петербурга немцев да итальянцев-музыкантов, записывали целыми концертами.

Танцевали полонез, гавот, девушки под песню водили хоровод. Снова садились за столы. Решено было в



последний раз вольно говорить о том, что было, что знали, чего добились.

— А помните, Степан Петрович...

— А помнишь, Таня...

Вышли в сад. Рассвет отбросил туманные тени. Опять музыка. (Пусть уж слышат за стеной, кому доведется.) Смотрели друг на друга, равные, красивые, озабоченные высоким, — как в те новые века, которые еще грядут.

Всю следующую неделю разбирали станки, устройства, агрегаты. Днем, ночью дымила плавильная печь, туда целиком бросали инструменты, приборы, машинные блоки, схемы. Потом в пруду топили слитки ноздреватого хрупкого сплава. По всему дому битое лабораторное стекло хрустело под ногами. Бумагу и химикалии жгли, кое-что взрывали в парке. Здание внутри постепенно приобретало прежний контур. Но облик разоренности — полы в покоях испорчены, мебель поломана, стены в дырках. Всю работу рассчитали по дням, спланировали сами ребята. Но делалось дело почти молча, с малым, только необходимым разговором. Не острили.

Стван же отключил многолетнее напряжение, отпустил себя. Бродил по парку, по опустевшим залам дома. В одиночестве, без спешного труда восемнадцатое столетие открывалось ему иным, существующим для себя, не для сравнения с будущим. Ум и талант смотрели с портрета в золоченой раме, нагая мраморная богиня над запущенной куртиной вдруг вызывала сладкие слезы. Задумывался: время-то страшное, но, пожалуй, еще сквозь многие века будет оно светиться горностаевыми мантиями, шеренгами румянцевских, суворовских полков, пышностью балов, туниками прелестных женщин, которые так рано умирали, чтоб вечно молодыми оставаться на полотнах русских художников, в камне надгробий.

Запускал музыкальную шкатулку с чуть дребезжа-

щей мелодией беззаботного барокко. С кабинетного столика брал покрытый пылью томик стихотворного альманаха, открывал шершавую страницу.

Лишь другу Лиза дух вручает,  
Возмогшему ее трогнуть..

Мечтание о другой, не рабской системе отношений.  
(Но ему-то не вручила свой дух Лизавета.)

Федор и Тихон Павлович спрашивать ни о чем не осмеливались — привычно было, что бариновы решения через срок показывают свою умную, важную суть. Только кивнул управитель, и когда Колымский приказал приготовить вольно-отпускные на всех крепостных.

В ветреный вечер — по бледному небу быстро бегущие разорванные тучи — от усадьбы двинулся кортеж. Баронская карета, за ней дормез и кибитки, где ученики. Остались в Смаиловке Федор, недавно женившийся, и Тихон Павлович с семейством. Договорено было, что через пять лет сдадут имение в казну как выморочное.

Из-за того, что так негаданно оборвалось начатое здесь, из-за ветра отъезжали холодно, неудобно. Федор с управителем чувствовали, барина уже не увидят. Обнялись, кучер щелкнул длинным бичом.

Один в карете, Стван часами глядел в окошки. Те же черные деревни, изредка на холме за липами крыша дворца, на поле пьяная помещичья толпа верхами за лисицей. Не вышло, не получилось! Слишком тяжек бульдозерный, чугунный накат прошлого — не строишь лихим наскоком. Застыла, остановилась российская история.

Но в Петербурге это ощущение стало пропадать. Не узнаешь столицы через годы. Фонтанка, каналы оделись гранитом, обставились вельможными палатами, каменными купеческими дачами. Достроены Гостиный двор, Академия наук, Академия художеств. Убрали на-

сыпной бульвар вдоль Невской перспективы, на булыжник положены ровные тротуары. И людей на них, людей! С краю Карусельной площади поднялся пышный, на века строенный театр. (Вот здесь и выпорхнет на сцену Истомина — «душой исполненный полет».)

Прошлой бытностью в городе, зимой, за картами, он плохо рассмотрел Петербург, не почувствовал характера. Теперь поразили движение, энергия. Чуть ли не морским народом стали жители. На реках, бесчисленных каналах ялики, шлюпки, баржи, галеры, плоты, яхты. Веревок, канатов навито, парусины наткано, лесу, кирпича навезено — глаза разбегаются. Всюду роют, несут, толкают, тащат, поднимаются стены, возникает то, чему стать колыбелью революции. Да, конечно, в Зимнем дворце императрица, шестидесятилетняя накрашенная старуха, юный ее любовник, тоже накрашенный, весь в бриллиантах. Но время не стоит, уже явились на свет прадеды народовольцев.

Еще до Петербурга убыло спутников-учеников. Прельстившись красотой Волги, две парочки остались у Белого Яра, в Нижнем Новгороде отпросились трое. На Киев пошел Сережа, на Москву, чтобы в актерки там, три девушки-подружки.

Двое остались в столице, с другими Стван отплыл из Кронштадта на голландском судне. В Антверпене прощание еще с тремя — отправились за океан. Те, кто предпочел Европу, по одному, по двое двинули в разные города: Париж, где скоро падет Бастилия, прославленный искусством древний Рим.

И это было все. Конец великой затеи.

Но Стван успокоился в ходе путешествия. Воспитанники счастливо шли навстречу самостоятельной судьбе. И хоть единогласно было решено никогда не вспоминать, что взяли из будущего, Стван знал, что выучил своих ребят человечности. Даже падением своим, крахом идеи.

С последними прощался в Лондоне. Стало пусто, но

при том освобожденно. С рассвета до темноты слонялся по верфям и пристаням Темзы. Отрекшемся от своих планов, ему стала вдруг захватывающе интересна обыкновенная жизнь, которой прежде старался не замечать. Вот матросы грузят корабль — рис и кофе на Каир, вот женщина с узелком пришла к мужу проститься, некрасивая, скромная. Здесь не только обыденное дело, эти люди создают то будущее, в котором ему родиться. И от женщины тоже в него, в Ствана, войдут какие-то капельки, она тоже в нем — ее смущенный, косящий взгляд. Уметь бы ему в той первой жизни так видеть своих современников.

Подумывал, не отправиться ли ему в Египет с этими матросами или с переселенцами в американские прерии, где бродят стада бизонов. Но вспоминал, что уже недолго до дня, когда Наполеон вступит с войском в Каир, а от бизоньих полчищ через несколько десятилетий не останется ничего.

Потом сказал себе: ладно, буду любоваться тем, чему не суждено погибнуть. Деньги есть, здоровье — слава богу. Начну с Австралии, пройду сквозь пустыню к красной горе Ольге, оттуда в Новую Зеландию к гейзерам. Если майори пощадят, после них отправлюсь в Юго-Восточную Азию отыскивать затерянные в джунглях древние дворцы. Интересно бы понять, в каком краю сам я был, когда в кембрии.

И опомнился. Где они — Австралия, Новая Зеландия?! Туда не доберешься, еще нет рейсов. Только Кук, единственный побывал.

Взял каюту на пятимачтовой шхуне, следующей в Бенгалию с серебром. Штормило в Бискайском заливе. От островов Зеленого Мыса пошли вдоль побережья Гвинеи, после круто на запад старинным, еще с Васко да Гамы путем. Разговаривать на судне было не с кем. Капитану с матросами хватало дел, пассажиры — две семейные пары служащих. Ост-Индской компании — держались замкнуто.

Но не скучал. День за днем не менялась прекрасная погода. Стван со шканцев замороженно смотрел на океан. Почти пьянел от неописуемой синевы, мерные удары волн о деревянный борт слушались как симфония. Шхуна приближалась к центру Атлантики, чтобы отсюда взять курс на мыс Доброй Надежды. Сверкали на солнце летучие рыбы, высоко парил альбатрос. Ночами безмерность вод светилась, за кормой сияющий след.

Теперь он считал, что ему около сорока трех. Выходило, что жизнь уже как-то сотворилась, все большое, сильное позади.

После заката, один на палубе, снял камзол, туфли, аккуратно положил. В рубашке, в кюлотах сел на фальшборт, слушая скрип снастей. И мачты, и небо казались живыми, с ними можно было говорить. Оттолкнулся руками, переворачиваясь в воздухе, мягко прыгнул вниз.

Сразу вынырнул. Шхуна проплыла над ним, громадная, загораживающая парусами широкое пространство звездного свода. Уходила быстро, уменьшалась. Неподалеку буревестник сел на волну — чтобы спать. Подкативший вал поднял и словно с горки опустил — чуть замерло сердце от полузабытого ощущения.

Течение и ветер несли. Утром из синей бездны прямо под ногами Ствана медленно поднялось длинное голубоватое тело акулы.

## МЕГАПОЛИС

Сквозь ресницы брезжили сиреневые прямоугольники, за спиной что-то твердое. Плеск воды... В раю он, что ли?

Открыл глаза. Сидит на жесткой скамье, прямо перед ним по каменным ступенькам струится вода. В одних местах одевает камень тонкой прозрачной пленкой, в других — собирается в маленькие белые водопады.

А дальше невысокие кубические здания. Ранний утренний свет. Из-за него все сиреневое.

Опять куда-то перекинули. В будущее, что ли, в отдаленное?

Если так, то зря. Даже в самый настоящий рай он не хочет. Довольно с него. Ни силы, ни желания опять приспособливаться, строить судьбу. Смерти он просит. Темноты, которой не видишь, что она темнота, покоя, о котором не знаешь, что он покой.

Повернулся туда-сюда. Место казалось знакомым.

Неясный гул доносился откуда-то снизу и справа.

Черт возьми, да ведь это же Водяной Сад! Возле Клон-Института. Сам тут когда-то работал.

Вот в чем дело — его вернули назад. В Мегаполис. Поднялся.

Ну, конечно же, Водяной Сад. Здесь между разбросанными корпусами что-то вроде арыков в камне. Мелкие, где можно шлепать босиком, и крупные, в которых плыть. Так уж выдумали архитекторы. Ни деревьев, ни единого клочка травы на всей территории. Только камень и вода.

Усмехнулся, присвистнув. Снова в своем времени. Ничего себе — дела. Прокатился по эпохам, периодам, вскам и опять туда, откуда начинал. Снова, значит, одиночество, ощущение неполноценности. Как прежде, завидовать тем, кто умнее, талантливее, известен. Или нет?.. Пожалуй, именно зависти не будет. Хоть из этого он вырос. Бог с ними, с теми, кто в первых рядах, кто на Марс, на Венеру, в библиотеки со спецбонемотами, в музеи без очереди. Сам и не в таких музеях бывал.

Опустив глаза, посмотрел на свои руки — большие, шершавые, в шрамах. Все оставило след — и пирамида, которую на отмели строил, и скалы, и Бойня, где со всех сторон кусали и грызли. А больше всего — приборы, машины, что строил для ребят, опыты, что показывал.

Неторопливо стал подниматься из главной чаши Сада по журчащим водопадами ступеням. Было рано. В институте еще не начиналась работа, но вдали, у центрального канала Стван видел нечеткие фигурки — какие-то уж очень ревностные спешили в свои лаборатории.

Вдруг стало жутковато — еще попадешь на кого-нибудь из прежних коллег. Расспросы, разговоры и (хуже того) умолчания. Станут показывать, что все забыли, что, несмотря на случившееся тогда, готовы нормально к нему относиться.

Повернул в глубь территории, мимо стадиона. (Здесь даже теннисный корт сплошь каменный.) Не было понятно, куда, собственно, теперь. Как-то разыскать судей, явиться... Или нет. Будь он нужен, пробудили бы прямо в Башне. Вероятнее всего, он уже отбыл наказание, может просто жить. Получить в Административном адрес на комнату (теперь по возрасту и на квартиру), ходить в домовую столовую, благо на это не надо денег. Когда давно еще Всемирный Совет принял закон о бесплатном питании по месту жительства, Стван не очень взволновался. Тем более что речь шла не о деликатесах, а так, о простом. Но теперь, без работы, оценит. Надо как-то доживать оставшееся.

Дошагал до высокой стены, ограничивающей владения Клон-Института, отворил железную дверцу.

Сразу шагнул в осень. Здесь в зоне отдыха какого-то бытового комбината пейзажный стиль. Он его тоже прекрасно помнил, и тут ничего не изменилось. Яркие кроны осин среди желтеющих берез. Тропинки, пруд, где на черной, уже отцветшей воде пятнышки поздних лилий.

Точно такой же осенней порой было совершено его преступление. Вернулся из неудачно проведенного отпуска, взвинченный, обозленный на весь мир. И на Итальянской Террасе оскорбил, даже ударил человека. Оказалось, на Земле этого не было уже пятьдесят пять

лет. Сел, сам заговорил — хотелось излиться — и сразу стал ненавидеть собеседника, спокойного и старавшегося его успокоить...

Гул со стороны становился все сильнее, но исчезал, когда Стван опускался в ложбинки.

Прошел дворами мимо детских площадок, вертолетных стоянок и через высокую подворотню на Итальянскую улицу.

Она кишела народом.

Тогда, десятилетие назад, спешили в основном на белковые поля. На всех площадях Мегаполиса сияли слова: «СПАСИБО, ЗВЕРИ!» С завершением пищевых комплексов стало возможным освободить животных от вечной дани человеку. Объявлен был конец охоте и животноводству, свинью планировали преобразовать обратно в кабана, быка — в буйвола.

А сейчас куда торопятся?

Чрево воздушки извергало толпу. Включены все конвейеры — четыре медленных, два быстрых. По среднему большинство бегом — для спорта или потому что опаздывают.

Резко пахло электричеством, сухим маслом. (Правда, чтобы почувствовать, надо было как следует надышаться в восемнадцатом веке.) Ну, понятно — греется смазка в малых и мельчайших подшипниках, которых миллионы по всему устройству улицы.

Переключки световых сигналов. Стрелы, круги, треугольники, показывающие, куда правильно. Очень тонкий, специально повышенный, чтобы пронзать обволакивающий гул, голос ближнего регулировщика: «Тридцать секунд на левых свободно...» Быстро бегущие строки световой газеты. Пониженный голос дальнего регулировщика. Глухой рокот конвейеров.

Стван по неподвижному тротуару шел к площади. Но в этот час и здесь тесно.

На него, с сединой в волосах, со шрамами на лице, оглядывались. Однако теперь уже не раздражали мгно-



венные оценки на ходу. Почему-то чувствовал себя крупным физически, почти громоздким, что, наверное, и соответствовало. Каким-то неуязвимым. Были большие надежды, большие потери, уже не участник полусекундных дуэлей взглядами. Знает про себя, успокоился.

Фонтаны, деревья, два розовых фламинго летят над фронтоном библиотеки. И тогда тоже здесь на улице подкармливали фламинго. Но в той, прежней жизни, неудовлетворенным одиночкой в Мегаполисе, он как-то не замечал мягкого очарования этого района. Магазины — у каждого свой стиль, крошечные кафе на три-четыре столика.

Рекламный плакат тео-фильма «Друг из субкультуры». Что-то такое видел очень давно... Возобновили.

Витрина инструментов. Скромный блеск темного металла, микронная точность сочленений — не те неуклюжие, что он с ребятами мастерил. Раньше тоже не обращал внимания на инструменты, а теперь технология стала родной. Так хочется взять в руку настоящий резак, взвесить в ладони холодноватую, полированную умную тяжесть. Но у него в кармане пусто, и неизвестно, когда что появится...

Со стороны воздушки приближалась женщина.

Шла, как праздник.

Круг внимания двигался с ней. Встречные мужчины провожали поворотом головы, женщины скашивали взгляд. А кто обгонял, тоже не мог не глянуть.

— Лизавета!

Не отдавая себе отчета, бросился к ней.

Она чуть задержалась, гордо-снисходительная.

— ?..

Сам сразу опомнился. Откуда? Ерунда!.. Не очень даже похожа. Только если чем-то общим. Неуловимым.

— Извините.

— Нет-нет, ничего.

Хотел отойти, но она остановила его нестеснитель-

ным рассматривающим взглядом. Уверенная в себе, со-  
знающая, что и стоять-то с ней рядом — отличие.

— Простите, ошибся. — Стван совсем смешался, от-  
ступая.

Их обходили, оглядываясь.

— Вы Стван, — сказала она. — Вы из прошлого.

— Я?.. Да... То есть... ну да.

— Торопитесь?.. Проводите меня.

Пошел в обратном направлении, напряженный.  
С чувством, будто несет большую, очень хрупкую чашу.  
(О господи, откуда она-то знает!)

— Утром по радио сказали, вы, возможно, выступи-  
те в дискуссии.

— Я?!

— Ну-да. «Одиночество — благодеяния и пытки».  
Вас упоминали даже в двух программах. Сначала в  
Мировой — что вы вернулись после десяти лет в про-  
шлом. Потом Город про дискуссию, и что вас пригла-  
шают в экспедицию в меловой период.

Окончательно потерялся и стал.

— Меня?.. Упоминали?

Она улыбнулась.

— Пойдемте. — Взяла под руку. — Вас, естествен-  
но. Не меня же.

У него в голове сумятица. Значит, полноправный  
гражданин. Так сказать, реабилитирован.

Встроились в поток. Осмелился глянуть на нее краем  
глаза.

Возле пышного с десятком стекол-названий подъез-  
да она остановилась. Вдруг сказала:

— Ни разу не была в Доме Дискуссий. Если б вы  
пригласили...

— Я?.. В Дом Дискуссий?.. А меня-то кто при-  
гласит?

— Вас же и придут слушать.

— А-а... Да-да, тогда, конечно. Но удобно ли вам  
со мной. Преступник.

— Кто преступник?.. Как интересно!

— Разве об этом не говорили?

— Кто?

Он сообразил, что не все обязаны помнить то, давнее.

Обтекая их, в подъезд шли люди. Потом вдруг стало пусто.

— Видите ли... В общем, случилось, когда пустили белковые.

Она посмотрела на часики.

— Сегодня пустили белковые.

— Да нет! Около десяти лет назад... Двадцать восьмого мая утром. Потом был процесс.

— Сегодня двадцать восьмое мая. — Подала ему руку. И наверх по ступенькам. Обернулась. — Оставьте на контроле приглашение для женщины, которую вы проводили на работу.

Автоматически повернулся, пошагал, ничего не понимая.

Открылась Итальянская площадь. На все здание Административного Центра спроецированы слова:

СПАСИБО, ЗВЕРИ!

Лихорадочно глянул на часы.

Шесть! Двадцать восьмого мая. А тогда двадцать восьмого он пришел на Итальянскую Террасу в семь. Значит, его вернули в собственное время, но до пункта.

Вдруг полная тишина. И в ней откуда-то издалека, но чисто запели фанфары — вступление к симфонии.

Или послышалось?

Словно туман сдернулся с окружающего. Отчетливо, как сегодня еще не было, отчеканились на ярком фоне неба в цвете, в объеме сиреневые башни, никелевый и бронзовый блеск балконных обрамлений; цветы на площади, деревья. Опять ударил гул толпы, но звонкий — будто из мутной воды наружу.

Кружилась голова. Шатнулся, стал.

Тотчас рядом мужчина, затем другой и женщина. Взяли под руки, отвели к стене.

— Вы нездоровы?

— Нет-нет, спасибо. Все в порядке. — Неожиданная слабость уходила.

— Может быть, все-таки вызвать помощь?

— Давайте, я провожу.

— Уверяю вас, все в порядке.

Вдвоем с первым мужчиной они вышли из образовавшегося кружка.

— Вы Стван, да?.. О вас сегодня говорили по Мировому... Это честно, что помощь не нужна? Тогда... желаю удачи.

Стван опять на тротуаре.

Реабилитировали. Но как могло получиться, что он вообще чист? Судьи отодвинули время назад, это понятно. Однако, раз не было преступления, значит, и суд не заседал. Даже самих судей не существует... Вернее, они есть, но не являются судьями и представления не имеют о том, что позже придется наказывать его, посылать в прошлое. А если он теперь не сделает того, что совершил тогда, полной тайной для всех останется то, что произошло в отмененном варианте развития событий... Допустим, что так. Но откуда тогда люди вообще о нем знают? Ведь чтобы вернуться с такой, можно сказать, помпой, он должен сначала стать сосланным преступником... Или знают, но не все? Возможно, при отодвижениях времени, когда для мира ничего не меняется, остаются все же немногие, знающие — кто был в Башне.

Да, не разобраться. Впрочем, что он — десятки институтов работают, исследуя парадоксы Времени.

Утренний поток пассажиров из воздушки уже истончился, местами вовсе пересох. Со смехом бежали две девушки, обогнали его, смех оборвался.

— Смотри-ка, Стван!

Улыбнулся. Раньше готов был в лепешку разбиться, чтобы так, и уж тем более, чтобы побывать в Доме Дискуссий. А теперь что-то другое народилось.

Странно, как его ни за что ни про что сделали известным. Или заплачено — тоскою, страхом, отчаянием там, в прошлом?.. Нет, пожалуй. Не эти печальные эмоции. Решения — вот. Самые ценные мгновения его жизни. Когда, например, далеко ушагал в море, и пирамида золотым пятнышком на горизонте. То, что пытался спасти эдафозавра, что в России сколько сил хватало трудился. Десять лет, седые волосы, шрамы.

Эх, годы прошли, как вихрь света!

Где лучше?.. Где лучше мы сами.

На площади из шести движущихся дорог четыре переключили на главный ствол. Толпы уже в центре Мегаполиса и рассеиваются по сотне его уровней. Еще двадцать-тридцать минут, и улицы станут свободными, пустоватыми, откроются кафе.

В Административный потом. Вот сюда через олеандровый парк, той дорогой, что шел тогда.

Последние куртины. Стван вышел к Итальянской Террасе, где за низенькой, по колено, балюстрадой крутой травяной откос, решетка и обрыв — километровая пропасть.

Тишина. Цветущий жасмин. Скамьи. И та скамья тоже.

Итак, вернулся, откуда начал. Чем же были эти скитания, что получено на жарких отмелях Пангеи, в душном хмызнике, на воощеном паркете санкт-петербургских особняков?

Солнце поднялось из тумана, озаряя панораму этой части Земли. Степь с рощами, леса на горизонте. Заметный с высоты след старого города. Не все сумели убрать, но природа постепенно возвращала себе это место — рисунок зелени намекал на исчезнувшие улицы, площади. У речной излучины паслось стадо диких лошадей, крошечных с высоты. Еще дальше несколько

светлых точек у роши — может быть, олени. Только к северу слева человек не уступил обширный многоугольник, куда живому нельзя. За каменными литыми стенами, за рвом, глубоким, как ущелье, особо изолированный район, где воздух так насыщен электричеством, что молнии сразу сжигают залетевшую незнающую птицу. Там приемные микроволновые устройства сосут энергию от плывущих на высоте солнечных батарей — питание Мегалополиса. В вечном взрыве рождается сила, ломкими лучами несется сквозь черную бездну космоса и приходит, усмиренная, сюда, где неподалеку кони встряхивают гривой, цветет тихая лесная фиалка. Удивительно это соседство изощреннейшей технологии с такими непритязательными, незащищенными существами.

Присел на балюстраду.

Куда мы идем, люди? Как все это началось?

Теплый океан при каменной пустой суше — благодать только неба и только воды. А под мягкими волнами живое кишит, рвется наверх, на воздух, на твердь. Выбралась и Бойня, век динозавров. Но в непрерывном поедании, в яростной борьбе растет, усложняется разум. Протянулись сотни миллионов лет, на африканскую равнину выходят австралопитеки. Темные, тугодумные, он сам в бреду видел австралопитека, — однако каждый за всех, и все за каждого. Потом Земля еще пять-шесть миллионов раз обогнет Солнце, и в конце ледника по лесам, прериям пойдут охотники. Свободные, равные. Но опять страшное контрнаступление материи, первобытного клеточного эгоизма. Минует всего несколько тысячелетий, и в Египте старику фараону приготовят ванну из теплой крови ста новорожденных младенцев. Дворцы и лачуги, обжорство и голод, бичи, кандалы, колючая проволока — природа не знает такого. Но снова борьба, рушатся тюрьмы.

А дальше?.. Что теперь будет, когда всем безвозмездно пища, одежда, кров?

От австралопитека к неандертальцу в холодной Ев-

ропе, от первых земледельцев до городов-гигантов большинство решений для большинства людей было вынужденным. Но кончается миллионолетний период, впервые образован неистребимый ресурс — вещный, духовный. Придет время, когда главное дело человек станет иметь не с цифрой, машиной, а с братом своим.

Мегаполис шумит. Нас так много, идем под перекрестным огнем взглядов. Бывает, в толпе встретится знакомый, о котором вы прежде были не лучшего мнения. Теперь он поражает вас — внезапно повзрослел на годы, сделавшись спокойным, странно красивым. В глазах ум, независтливая заинтересованность в людях. Глядя на него, вы убеждаетесь, что он уже не принадлежит к тем, кому лишь бы выдвинуться, выскочить, схватить.

Кто не ошибается? Вера — дитя сомнений. Не исключено, что он, как и Стван, до горьких пределов дошел в своих заблуждениях, туда вперед неправильно прожил большой кусок жизни. Но судьбы (в недостигнутом еще нами будущем) повернули время назад. Может быть, этим вашим знакомым совершены походы в иные края, он едва избежал сумасшествия и гибели. Но к нам, своим современникам, вернулся более близким ко в муках, тяжких опытах и трудах дающемуся званию — Человек.

---

## СОДЕРЖАНИЕ

Инстинкт? . . . . .	5
Побег . . . . .	182



**Гансовский С. Ф.**

**Г 19** Инстинкт? — М.: Мол. гвардия, 1988. — 350[2] с., ил. — (Б-ка сов. фантастики).

**ISBN 5-235-00307-1**

Сборник повестей советского фантаста, посвященных проблеме раскрытия творческих возможностей и социально-психологическим аспектам.

**Г** 4702010200—241  
078(02)—88 **145—88**

**ББК 84Р7**

**ИБ № 5444**

**Гансовский Север Фелинсович**

**ИНСТИНКТ?**

**Заведующий редакцией В. Щербанов**

**Редактор Л. Дорогова**

**Обложки и рисунки автора**

**Художественный редактор Б. Федотов**

**Технический редактор Н. Теплякова**

**Корректоры В. Назарова, Т. Песнова**

Сдано в набор 26.02.88. Подписано в печать 19.07.88. А01099. Формат 70×108<sup>1/32</sup>. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Условн. печ. л. 15,4. Условн. кр.-отт. 15,75. Учетно-изд. л. 16,3. Тираж 100 000 экз. Цена 2 руб. Заказ 3229.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030, Москва, Сушевская, 21.

**ISBN 5-235-00307-1**

2 руб.

МОЛОДОЯ ГВОРДИЯ

